

ISSN 0130-7673

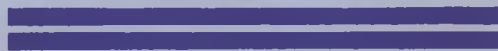
Ж О В Ы И
М И Р

Ж О В Ы И

Ж О В Ы И
М И Р

1988

1



1988



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ — Лицо твое, стихи	3
БОРИС ПАСТЕРНАК — Доктор Живаго, роман. Публикация, подготовка текста и комментарии Е. Б. Пастернака и В. М. Борисова. Вступительная статья Д. С. Лихачева	5
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Луг осенний, стихи	113
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ — Свой круг	116
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Подарок памяти, стихи	131
Б. В. ШЕРГИН — Из дневников. Публикация, подготовка текста и вступление Ларисы Шульман	134
ЮРИЙ КОВАЛЬ — Веселье сердечное	152
АЛЕКСАНДР ЛАВРИН — Ночные встречи, стихотворение	173
В МИРЕ НАУКИ	
МОРИС МАРУА, ИВАН ФРОЛОВ — Инстигут жизни. Вступительное слово Н. Моисеева	178
ПУБЛИЦИСТИКА	
АНДРЕЙ НУЙКИН — Идеалы или интересы? По страницам газет и журналов	190
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ВИТАЛИЙ СЕМИН — Страницы из переписки последних лет. Публикация В. Н. Семиной-Кононыхиной	212

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СТ. РАССАДИН — Расплюев	231
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
И. Грекова. Расточительность таланта. Д. Самойлов. О «Творениях» Велимира Хлебникова. Андрей Василевский. В защиту чуда.	252
<i>Политика и наука</i>	
П. Гайденко. Сквозь призму техники.	262
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	268
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Ходоров.— Леонид Ермолинский. Костер на вершине. Повести. ◆	
В. Кантор.— Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. ◆	
Светлана Овчинникова.— Лариса. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. Книга о Ларисе Шепитько.	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ГЕРМАН ПЛИСЕЦКИЙ



ЛИЦО ТВОЕ

* * *

О Север высокий! Гудки пароходов — Дудинка.
Озера, озера в осоке... Забвения легкая дымка.

Всплеснула крылами гусиная стая. Над юностью всею
вознесся, блистая, серебряный ствол Енисея.

Как сотни ячеек яичных на мятом картоне долины,
Таймыр — инкубатор и птичник — лежит под крылом «каталины».

От любвеобильного юга, от почвы его плодovitой
сквозь обруч Полярного круга тянись в океан Ледовитый.

Тебе я откроюсь, что истина стала простою,
что цель моя — полюс с недвижной Полярной звездой.

В арктический трест нанимаюсь, на Север плыву по теченью,
всю жизнь поднимаюсь к его неземному свеченью!

* * *

Уйти в разряд небритых лиц
от розовых передовиц,
от голубых перворазрядниц.

С утра. В одну из черных пятниц.
Уйти — не оправдать надежд
и у пивных ларьков промеж
на пену дующих сограждан
лет двадцать или двадцать пять
величественно простоять,
неспешно утоляя жажду.

Ведь мы не юноши уже,
Пора подумать о душе.
Не все же о насущном хлебе.
Не все же нам считать рубли,
не лучше ль в небе журавли,
как парусные корабли,
в огромном ледовитом небе?..

* * *

Я всю жизнь как будто на отшибе,
будто сносит ветром парашют...
И не то чтобы меня отшили —
к делу все никак не подошьют.

Кажется: вот-вот, почти что рядом —
что-то проясняется, сквозит...
Не скольжу по жизни верхоглядом —
это жизнь мимо меня скользит.

Невесомость это или вескость?
Это полнота иль пустота?
Видно, с самого начала резкость
у фотографа была не та.

Видел ты меня или не видел?
Может быть, и видел, да забыл...
Слишком мало доказательств выдал
я того, что между вами был.

Замыкание

Свет погас внезапно в доме.
На столе остался в томе
фантастический рассказ.
Враз погасли все программы,
все комедии и драмы,
и хоккейный матч погас.

Как бездомно стало в доме!
Словно на ракетодроме:
дует ветер, зуб болит...
Долото весенних капель
где-то продолбило кабель
и броню бетонных плит.

Свет погас — и оказалось,
что лицо твоё осталось,
негасимое во тьме.
Так беспомощно и мертво,
словно фосфором натерто,
обращенное ко мне.



БОРИС ПАСТЕРНАК

★

ДОКТОР ЖИВАГО*

Роман

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД РОМАНОМ Б. А. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

Не перестаю удивляться, читая и перечитывая «Доктора Живаго». Если бы роман был написан в совершенно иной, новаторской манере, он был бы более понятен. Но роман Пастернака, его форма, его язык кажутся привычными, устоявшимися, принадлежащими к традициям русской романной прозы XIX века. Эта близость «Доктора Живаго» в каких-то своих элементах классической форме романа заставляет нас постоянно сбиваться на проторенную колею, искать в нем то, чего нет, а то, что есть, толковать традиционно: искать прямых оценок событий, видеть прозаическое, а не поэтическое отношение к действительности, находить за описаниями бедствий осуждение чего-то, их породившего.

А между тем «Доктор Живаго» даже не роман. Перед нами род автобиографии — автобиографии, в которой удивительным образом отсутствуют внешние факты, совпадающие с реальной жизнью автора. Центральный образ романа — доктор Юрий Андреевич Живаго, воспринимаемый в привычных требованиях, предъявляемых к романам, кажется бледным, невыразительным, а его стихотворения, приложенные к произведению, — неоправданным довеском, как бы не по делу и искусственным. И тем не менее автор (Пастернак) пишет о самом себе, но пишет как о постороннем, он придумывает себе судьбу, в которой можно было бы наиболее полно раскрыть перед читателем свою внутреннюю жизнь. Реальная биография Бориса Леонидовича не давала ему возможности высказать до конца всю тяжесть своего положения между двумя лагерями в революции, что так замечательно показано им в сцене сражения между партизанами и белыми, в свое время опубликованной в советской печати (см. «Новый мир», 1958, № 11). И ведь все-таки он, то есть герой произведения, доктор Живаго, — лицо юридически нейтральное, тем не менее вовлеченное в сражение на стороне красных. Он ранит и даже, кажется ему, убивает одного из юнцов гимназистов, а затем находит и у этого юнца и у убитого партизана один и тот же псалом, зашитый в ладанках, — 90-й, по представлениям того времени оберегавший от гибели.

Почему же все-таки понадобились Пастернаку «другой» человек, чтобы выразить самого себя, вымышленные обстоятельства, в которые сам он не попадал? А если бы он писал о себе и от своего имени — разве все-таки не стал бы он «другим»? Разве Ж.-Ж. Руссо в своей «Исповеди» — произведении, написанном с предельной откровенностью, — тот самый, реальный Ж.-Ж. Руссо? Разве не произошла у Руссо подмена самого себя выдуманным (невольным выдуманным) персонажем при всей правдивости поведенных фактов? Руссо заслонился в своей «Исповеди» подлинными фактами, которые стали у него как бы выдуманными, ибо так возросли в объеме, что нарушили соотношение чем-то важным и тем пустым, мимолетным, чисто личным и поверхностным, которое Руссо в порыве отчаянной откровенности сделал самым значительным, полностью или наполовину закрыв свою настоящую душевную и духовную жизнь.

Наибольшей точностью самовыражения обладает лирическая поэзия Лирический герой, выдуманный и отстраненный, на самом деле оказывается самым адекватным, са-

© 1957 Издательство Giangiacomo Feltrinelli, кроме территории СССР, на языках народов СССР

© «Новый мир», окончательный авторский текст романа.

* Публикация, подготовка текста и комментарии Е. Б. ПАСТЕРНАКА и В. М. БОРИСОВА.

мым ясным самовыражением поэта. Поэт пишет как бы не о себе и в то же время — именно о себе. Он может поставить своего лирического героя в вымышленные обстоятельства, прибавить или убавить возраст, в котором существует реально, может, наконец, наделить его не испытанными им лично чувствами, но это будет все-таки он сам через кого-то другого. И напрасно думают, что поэт, если пишет от первого лица, всегда имеет в виду одного лишь себя. Да, поэт пишет и о себе, но раскрывает свое духовное, свое поэтическое «я» обязательно через реальные события и обстоятельства, в которых находится сам. Так же точно поэт может писать в третьем лице, но именно о себе. Человек наделен поразительной способностью к перевоплощению, но это перевоплощение одновременно есть способность к воплощению своих дум и чувств, своего отношения к окружающему через другого. И поразительно, что человек, воспринимающий лирику, очень часто именно через нее воспринимает и самого себя, в той или иной мере отождествляя свое «я» с «я» лирического героя. Этого не могло бы произойти, если бы поэт писал строго документально о себе, претендовал бы на фактографичность всего им сказанного.

Юрий Андреевич Живаго — это и есть лирический герой Пастернака, который и в прозе остается лириком.

Ручательством правильности моего взгляда на роман «Доктор Живаго» как на лирическую исповедь самого Бориса Леонидовича служит то, что Ю. А. Живаго — поэт, как и сам Пастернак, его стихи приложены к произведению. Это не случайно. Стихи Живаго — это стихи Пастернака. И эти стихи написаны от одного лица — у стихов один автор и один общий лирический герой.

Многие страницы «Доктора Живаго», особенно те, что посвящены поэтическому творчеству, строго автобиографичны. Вот как Борис Леонидович описывает поэтическое творчество Живаго — и в этом описании проступает важнейшая черта творчества самого Пастернака:

«После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких его самого поразивших сравнений работа завладела им, и он испытывал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управлявших творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которым он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешнего слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер, и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор не узанных, не учтенных, не названных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственноручного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался и озирался кругом».

Дальше Пастернак пишет, как мир сливается «в одну равнозначительную, сквозь сердце доктора пропущенную волну», которая «заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования». И это ликование тем значительнее в романе, что чистое существование это тотчас же слилось для него с «утробно-скулящим завыванием» подступивших к усадьбе волков.

Примечательно, что между поэтической образностью языка автора и поэтической образностью речей и мыслей главного героя также нет различий. Автор и герой — это один и тот же человек, с одними и теми же думами, с тем же ходом рассуждений и отношением к миру. Живаго — выразитель сокровенного Пастернака. В этом нетрудно убедиться. В свое время во вступительной статье к лирической прозе Пастернака, а затем и к двухтомнику, где представлена и его поэзия и его проза, я писал, что образ у Пастернака иногда пересиливает реальность, послужившую рождению образа, получает собственное развитие, автономное движение как бы из себя — совсем в духе гуссерлианского феноменологизма марбургской философской школы, у которой учился Пастернак философии в Германии перед первой мировой войной. И разве не то же

самое происходит в самом крупном из произведений Пастернака — «Докторе Живаго»? Образ Живаго — эманация самого Бориса Леонидовича — становится чем-то большим, чем сам Борис Леонидович: он развивает самого себя, творит из Юрия Андреевича Живаго представителя русской интеллигенции, не без колебаний и не без духовных потерь принявшей революцию. Живаго-Пастернак приемлет мир, каким бы он ни был жестоким в данный момент...

И еще одно обстоятельство чрезвычайной важности. Раскрывая себя через дру-гого с иной жизненной судьбой, Пастернак не стремится убедить читателя в правильности своих суждений, своих колебаний. Живаго совершенно нейтрален по отношению к читателю и его убеждениям. Но этого не произошло бы, повестуй Пастернак о себе в открытую. Читателю казалось бы, что его убеждают, уговаривают, требуют разделить взгляды, — ведь это же взгляды самого автора, реального человека!

А что, в сущности, разделять? У Живаго больше колебаний и сомнений, больше лирического, поэтического отношения к событиям (настаиваю на этом выражении «поэтическое отношение»), чем ясных ответов и окончательных выводов. В этих колебаниях не слабость Живаго, а его интеллектуальная и моральная сила. У него нет воли, если под волей подразумевать способность без колебаний принимать однозначные решения, но в нем есть решимость духа не поддаваться соблазну однозначных решений, избавляющих от сомнений.

Живаго — это личность, как бы созданная для того, чтобы воспринимать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь. В романе главная действующая сила — стихия революции. Сам же главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не вмешивается в ход событий, он служит тем, к кому попадает, — однажды, в бою с белыми, он даже берет винтовку и против собственной воли стреляет в атакующих, восхищающих его своею безрассудною храбростью юношей.

Тоня, любящая Юрия Андреевича, угадывает в нем — лучше, чем кто-либо иной, — это отсутствие воли. Она пишет ему в своем прощальном письме: «А я люблю тебя. Ах, как я люблю тебя, если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли».

Воля в какой-то мере — это заслон от мира. Раз нет однозначных решений, значит, не может быть и однозначного взгляда на самого себя, невозможна откровенная автобиография, а должен быть подставной герой, в которого можно вложить все, что необходимо, и в кого читатель поверит быстрее, чем в автора, особенно потому, что в нем нет никакого принуждения и есть не «заслон воли», а «открытость безволия».

И здесь обозначается межа между автором и его героем. Конечно, сам Пастернак далеко не безволен, ибо творчество требует громадных усилий воли. И он не нейтрален, поскольку создание образа эпохи уже есть вмешательство в жизнь. Может быть, и сам доктор Живаго безволен далеко не во всех смыслах, а только в одном — в своем ощущении громадности совершающихся помимо его воли событий, в которых его носит и метет по всей земле.

Образ Ю. А. Живаго, которого как бы пронизывает собой вся окружающая природа, который реагирует на все глубоко и благодарно (ведь он интеллигент!), чрезвычайно важен, ибо через него, через его отношение к окружающему, передается отношение к действительности самого автора.

«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу».

События Октябрьской революции, как мы увидим, входят в Ю. А. Живаго так же, как входит в него и сама природа...

Для Пастернака природа — живое чудо, отношение к ней автора помогает понять отношение к России и его самого и его героя.

Что такое Россия для Живаго? Это весь окружающий его мир. Россия тоже создана из противоречий, полна двойственности. Живаго воспринимает ее с любовью, которая вызывает в нем высшее страдание. В одиночестве Живаго оказывается в Юрия. И вот его чрезвычайно важные размышления-чувства (чувств больше, чем размышлений): «...весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играю-

них детей разбросаны в местах разной дальности как бы в знак того, что пространство насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашушевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямец, сумасбродка, шалай, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть! О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!» То ли это слова Б. Л. Пастернака, то ли Ю. А. Живаго, но они слиты с образом последнего и как бы подводят итог всем его блужданиям между двумя лагерями. Итог этих блужданий и заблуждений (безвольных и невольных) — любовь к России, любовь к жизни, очистительное сознание неизбежности совершающегося.

Вдумывается ли Пастернак в смысл исторических событий, которым он является свидетелем и описателем в романе? Что они означают, чем вызваны? Безусловно. И в то же время он воспринимает их как нечто независимое от воли человека, подобно явлениям природы. Чувствует, слышит, но не осмысливает логически, не хочет осмыслить, они для него как природная данность. Ведь никто и никогда не стремится этически оценить явления природы — дождь, грозу, метель, весенний лес, — никто и никогда не стремится повернуть по-своему эти явления, личными усилиями отворотить их от нас. Во всяком случае, без участия воли и техники мы не можем вмешаться в дела природы, как не можем просто стать на сторону некоей «контрприроды». Но исторические события традиционно всегда требовали оценки.

В этом отношении очень важно следующее рассуждение о сознании: «...что такое сознание? Рассмотрим Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа».

В другом месте Пастернак устами Лары (это второй персонаж, лишенный характерности, а поэтому также схожий с автором) высказывает свою нелюбовь к голым объяснениям: «Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен».

Пастернак строго следует этому правилу: в своем романе он не объясняет, а только показывает, и объяснения событий в устах Живаго-Пастернака действительно только «приправа». В целом же Пастернак принимает жизнь и историю такими, какие они есть.

Чтобы понять такое отношение Пастернака к событиям, надо привести одну сцену из романа. Купив у мальчишки-газетчика экстренный выпуск с правительственным сообщением из Петрограда «об образовании Совета Народных Комиссаров, установлении в России советской власти и введении в ней диктатуры пролетариата» (дело происходит в самый момент победы в Москве Октябрьской революции), Юрий Андреевич Живаго возвращается домой и, греясь у печурки, протягивает газету тестю: «Видали? Полюбуйтесь. Прочтите» Не вставая с корточек, вороша угли маленькой кочережкой, Юрий Андреевич громко разговаривает с собой:

«Какая великолепная хирургия! (Надо помнить, что доктор Живаго хирург и для него это высшая похвала.— Д. Л.) Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы! Простой без обиняков, триговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись расшаркивались перед ней и приседали.

В том что это так без страха доведено до конца, есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то от безоговорочной светоносности Пушкина, от не вяляющей верности фактам Толстого. Главное, что гениально! Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летосчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подвернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое».

Эти слова в романе едва ли не самые важные для понимания Пастернаком революции. Во-первых, они принадлежат Живаго, им произносятся, а следовательно, выражают мысль и самого Пастернака. Во-вторых, они прямо посвящены только что совершившимся и еще не вполне закончившимся событиям Октябрьской революции. И в-третьих, объясняют отношение передовой интеллигенции к революции: «...откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины...»

Революция — это и есть откровение («ахнутое», данное), и она, как всякая данность, не подлежит обычной оценке, оценке с точки зрения сиюминутных человеческих интересов. Революции нельзя избежать. В ее события нельзя вмешаться. То есть вмешаться можно, но нельзя поворотить. Неизбежность их, неотвратимость делает каждого человека, вовлеченного в их водоворот, как бы безвольным. И в этом случае откровенно безвольный человек, однако обладающий умом и сложно развитым чувством, — лучший герой романа! Он видит, он воспринимает, он даже участвует в революционных событиях, но участвует только лишь как песчинка, захваченная бурей, вихрем, метелью. Примечательно, что у Пастернака, как и у Блока в «Двенадцати», основным образом-символом революционной стихии является метель. Не просто ветер и вихрь, а именно метель с ее бесчисленными снежинками и пронизывающим холодом как бы из межзвездного пространства.

Нейтральность Ю. А. Живаго в гражданской войне декларирована его профессией: он военврач, то есть лицо официально нейтральное по международным конвенциям.

Прямая противоположность Ю. А. Живаго — жестокий Антипов-Стрельников, активно вмешавшийся в революцию на стороне красных. Стрельников — воплощение воли, воплощение стремления активно действовать. Его бронепоезд движется со всей доступной ему скоростью, беспощадно подавляя всякое сопротивление революции. Но и он также бессилён ускорить или замедлить торжество событий. В этом смысле Стрельников безволен так же, как и Живаго. Однако Живаго и Стрельников не только противопоставлены, но и сопоставлены, они, как говорится в романе, «в книге рока на одной строке» (это слова из «Ромео и Джульетты» Шекспира, величайшего драматурга-историка). И то, что оба они связаны с Ларой, тоже отнюдь не случайно.

А что такое сама Лара, стоящая между ними и одинаково любящая обоих? В традициях русского классического романа есть несколько образов женщин, как бы олицетворяющих собой Россию. Это олицетворение в разной степени полно или, вернее, в разной степени неполно, но намек на связь женского образа с образом России все же существует, как бы брезжит сквозь ткань повествования и сквозь ткань самого образа у разных авторов. Татьяна Ларина у Пушкина, бабушка в «Обрыве» Гончарова, я бы не побоялся сказать — Катерина в «Грозе» Островского, мать в одноименном произведении Горького (хотя, буду откровенен, этот образ мне не совсем по душе своей назидательностью). Лара — это тоже Россия, сама жизнь. Лара на время исчезает из судьбы Живаго, чтобы явиться затем после его кончины и благословить его тело.

Ближе всего в своем понимании хода истории Пастернак к Льву Толстому. Я не соизмеряю их, я только сравниваю их историософию. У Толстого в его исторических отступлениях она откровеннее, у Пастернака же скрыта лирической взволнованностью. Но я думаю, что в художественном воспроизведении событий у каждого из них есть своя логика. Не будь у Толстого его исторического мировоззрения, исповедуй он взгляд на личность как на главный двигатель истории, народной эпопеи у него не получилось бы. Была бы трагедия лиц. Кутузов легко отошел бы в тень перед Наполеоном, и народ, нация оказались бы где-то внизу событий. Это Пастернак понимал.

Здесь я снова позволю себе привести цитату из романа:

«За этим плачем по Ларе он (доктор Живаго.— Д. Л.) также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налегло на него за этой работой одновременно и попутно.

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преобразуется, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за

переменю места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действительные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевероты длятся недели, много — годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевероту, как святыне».

Я прошу извинения у читателей, что привел такую большую выдержку из романа, но она крайне важна не только для понимания исторических взглядов Пастернака, но и его отношения к революции, к ее событиям как к некоторой абсолютной данности, правомерности появления которой не подлежит обсуждению.

Перед нами философия истории, помогающая не только осмыслить события (вернее, отказаться от их оценки), но и построить живую ткань романа: романа-эпопеи, романа — лирического стихотворения, показывающего все, что происходит вокруг, через призму высокой интеллектуальности.

Действительность отражена здесь не сама по себе, а пропущена через личные впечатления, всегда обостренные... Таковы и его «исторические поэмы» «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Б. А. Пастернак всегда был чужд чистоплюйству в поэзии. Он был чужд чистоплюйству и в изображении истории. Революционные события предстали перед ним во всей их обнаженной сложности. Они не укладывались в голые хрестоматийные схемы принятых описаний, принадлежащих иногда людям, не видевшим и не пережившим самих событий. Противоречия могли быть в их эмоциональном понимании, ибо Пастернак не истолковывал событий.

О книге лирики «Сестра моя жизнь» поэт писал: «Мне было совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали». Эти же слова Пастернак мог бы отнести и к роману «Доктор Живаго». Они свидетельствуют о его величайшей скромности и осознании своего положения как бытописателя событий.

Д. С. Лихачев.

ПЕРВАЯ КНИГА

Часть первая

ПЯТИЧАСОВОЙ СКОРЫЙ

1

ШШШ ли и шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, казалось, что ее по залаженному¹ продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». «Вот оно что. Тогда понятно». — «Да не его. Ее». — «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестьящим движением бросил горсть земли на Марию Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взмошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно

¹ В настоящей публикации сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации.

наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось, Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоюет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетями холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откапаят, то что в поле заметет маму, и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые

все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладницы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дом Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридешатое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, сидели вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебежали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская. разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полубритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

— А эти,— спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув нога за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию,— а это как же, помещиковы или крестьянские?

— Энти господсти,— отвечал Павел и закурился,— а вот эфти,— отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону,— эфти свои. Ай заснули? — то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямою бесхитростной натуры, а пристыжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под бреление бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

— Шалит народ в уезде,— говорил Николай Николаевич. — В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

— Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужуку дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса,

Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная Кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмысливаются.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который наверное презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

— Жизненным нервом проблемы пауперизма,— читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

— Я думаю, лучше сказать — существом,— говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

— Между тем статистика смертей и рождений показывает,— диктовал Николай Николаевич.

— Надо вставить. за отчетный год,— говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка просквашивало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

— Гроза надвигается. Надо собираться.

— И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.

— Мне к вечеру надо обязательно в город.

— Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ват-

рушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покоряться.

— Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю,— предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с прилегающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

— Попадаются люди с талантом,— говорил Николай Николаевич. — Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

— Мда,— мычал Иван Иванович, тонкий белокурый выюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). — Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете — я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

— Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные **составные** части

современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

— Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

— Ну да Бог с вами. Бросим. Счастливец! Вид-то от вас какой — не налобуешься! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, втибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

— Подумайте, только шестой час,— сказал Иван Иванович. — Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

— Странно,— сказал Воскобойников.— Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними, и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволог, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

— Ангеле Божий, хранителю мой святой,— молился Юра,— утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка! — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как

новопричтенную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

— Подождет. Потерпит,— как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади подымают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связи человеческого существования, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной остороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они

не в силах расхлебать. Он был уверен, что когда он вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие, что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина наверное уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирною косметикой. Когда они проходили мимо Гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластывем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано,— как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивали около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянно возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шелапут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться.

К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

— Ну что ж делать,— сказал Веденяпин,— пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унизительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и земля в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурачающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете!» — подумал он. — «Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей», — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), — «вот я прикажу ей» — и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эрстовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся — бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу,— несколько раз повторил он про себя.— Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напро-

сто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех пережитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервушийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреня лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

— Надоело учиться,— сказал Ника. — Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

— А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

— Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

— О, это еще так далеко. Вероятно ни за кого. Я пока не думала.

— Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

— Тогда зачем ты спрашиваешь?

— Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

— Попробуй,— сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший!» — и он также по-взрослому сказал: «Прости меня».

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, недалеко от того места, где Ника утром увидал медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал

природой. Что приказать ей сейчас? — подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

Часть вторая

ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОГО КРУГА

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в которых училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Ларю в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые

дни уходил в Большой театр или Консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые, крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шуточки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабыя порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

— Я его смертью изведу, нечистую силу, — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

— Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

— Тише, ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комодке...

— Ну да, мраморные, хрустальные.

— Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в са-ле, сало пристанет, наглотается он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и — шабаш! Кверху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек — откуда что берется? «За что же мне такая участь, — думала Лара, — что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама — как это называется... Ведь он — мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминим поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос были под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинув руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было открыто. Лара слышала, как гроыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сарай экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, в мыслях рисовала себе Лара, — учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты нянек с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной оgrade. А еще ниже, думала Лара, — Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь именинница. По этому случаю веселились взрослые — танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: «Амалия, берегите Лару». Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали не одетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умиляничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столкнуться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалованье. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы полomoйки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и уходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер при вокзального участка Павел Ферাপонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферাপонтовича. Кто-то нагрел себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путевым каңтиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно

ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка,— нетерпеливо прерывал он Антипова,— но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае — сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссезная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев,— лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

— Ну, брат, как-нибудь в другой раз,— сказал начальник дистанции и махнул рукой — не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

— Пойдем скорее,— сказал Тиверзин.— Я не шпиков остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волянка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

— У моей Дары тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не сvezу, ничего в голову не лезет.

— Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей управой положил бы конец гомозне.

— Это, позвольте спросить, каким же способом?

— Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла Фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дождалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд вверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы

пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

— Тиверзин! Куприк! — окликнуло его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. — Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, — сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буяннить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогрело в Худолееве неприязнь к нему.

— Как ты напалок держишь, азиат, — орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и косяляя по шее. — Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста, алла мулла косые глаза?

— Ай не буду, дянька, ай не буду, не буду, ай больно!

— Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

— Я шпиндил не трогал, дянька, ей-Богу, не трогал.

— За что ты мальчика тиранить? — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

— Свои собаки грызутся, чужая не подходит, — отрезал Худолеев.

— Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранить?

— А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пуцай мне руки целует, что жив остался, косой чорт, — уши я ему только надрал да за волосы поучил.

— А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

— Проходи, проходи, говорю, покуда цел. Дух из тебя я вышибу учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрехвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держа-

ли, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одежде пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал.

— Зубило! Зубило у него отыми — проломит башку.— Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! — Это всё так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок — и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулось было ловить, но увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед, не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

— Ты им стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро,— ворчал он и не сознавал, куда и зачем он идет.

Этот мир подлости и подлога, где разъяевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное,— все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути.

Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна Тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по Тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали: — Куда народ свищут? — Из темноты отвечали: — Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога. Пожар тушить.— А где горит? — Стало быть горит, коли свищут.

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса. — Толкуй тоже — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабасили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята.

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

— Спасибо, господин Тиверзин,— зарядил он.— Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

— Что ты очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь мороз какой.

— Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

— Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

— Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постовой спрашивал, околадочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю никто не ходит. Помощник, говорю, ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой, ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью причта, двумя артелями фруктошников и мясников, торювавших в городе с лотков вразнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельевич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка.

— Не иначе — Пров,— подумал Тиверзин, усмехнувшись.— Пьет, не напьется, прорва, огненное нутро.

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны.

Киприян Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу.

— Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове подождал и мягко отстранил.

— Смелость города берет, маменька,— тихо сказал он,— стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы.

— Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь подальше.

— Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

— Грех над ним смеяться, Купринька. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая душа.

— Забрали Антипова Пашку. Павла Ферাপонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка малый,— в реальном учится,— один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем Пров заходил?

— Почему ты знаешь?

— Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду хлобыстал.

— Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забежал попросить дров взаймы — я дала. Да что я дура, — дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запомнявала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Феропонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «у семи нянек дитя без глазу». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серою пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой.

Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефоновали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадет на дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие в Высшее техническое, третьи в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не чуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовЫй зал, в актовЫй зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть, и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча, и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронесли лошадиные морды и гривы и машущие пашками всадники.

Полуэвзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбежались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехало несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны.

В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватой шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии,

возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она по счастью увидела мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных ротозеев.

Туда загал на крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

— Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас, это всё штуки Купринькиных путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой помру, ой помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру ру-ру-ру. Ах ты зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинулась с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по заду.

— Да что вы, ей-Богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

9

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался вдаль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивается, где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разностильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину — убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулочек и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так без цели на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов, и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственник круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михаелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовавал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находится.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

— У них там такой триумвират,— думал Николай Николаевич: Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия.

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудачки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» — это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве,— думал Николай Николаевич,— я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах...

— А, Нил Феоктистович! Милости просим,— воскликнул он и пошел навстречу гостю.

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

— Э-мм,— растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

— Кладите где хотите,— сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

— Я уже раз читал там.

— В пользу политических?

— Да.

— Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился.

Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феокистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро. На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

— Декадентствуете? Вдались в мистику?

— То есть это почему же?

— Пропал человек. Земство помните?

— А как же. Вместе по выборам работали.

— За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

— Как же. Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравью подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

— Некоторое время.

— Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста... Или, может быть, я вторгаюсь... Что-нибудь сокровенное?

— Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

— России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.

— Никто не спорит.

— Мужик раздет и пухнет от голода...

Такими скачками подвигался разговор. Сознывая наперед никчемность этих попыток. Николай Николаевич стал объяснять, что его сблизает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

— До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.

— А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное, Розанов и Достоевский?

— Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, все равно, катажалки или загробного воздаяния, высшей эмблемой человечества были бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

— Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматши. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного человека. Когда его одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно — ему в загромождение, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнута человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном — газовые фонари в крутых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь

жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостецкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет — кастаньяна его тихого уединения, вела его хозяйство, несльшимая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с ее безмятежным стародавическим миром. У них царил покой монашеской обители — шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием, лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап» долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла, как неменяемая, и только по приходе домой поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрепленные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше.

Теперь она, — как это называется, — теперь она — падшая. Она — женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

13

— Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, неважно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался, как зверь, по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях но-

мера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пядьцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадам, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», — шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниды, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

— Что за наваждение! — думал он. — Что все это значит? Что это — проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это — беспокойство? Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомнись! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый, слюнявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

— Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему — Сатаниды, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

О какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто.

Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, седеющий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще невзрослою гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной, школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней. И все

время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымывает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней всё подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул — и нет ее, а попробуй выбраться из сети — только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе: — А если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить ее под длинную вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку.

— Пров Афанасьевич, — шепнула ей Оля на ухо.

— Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

— Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

— А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня. Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко на всю церковь, не обращая внимания на службу, вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств, как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и жаждущие правды...

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десятка — прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставлял ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время с чистою травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телячий восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечатак сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчики. И главное, главное — револьверным выстрелам, все время щелкавшим оттуда. «Маль-

чки стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие, оттого и стреляют».

19

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимание чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унять страсти вышла Фаина Силантьевна.

— Сюда, девоньки! — вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждою отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шальями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек.

— Что случилось? — спросила подоспевшая Амалия Карловна.

— Нас сымают, мадам. Мы забастовали.

— Разве я... Что я вам сделала плохого? — Мадам Гишар расплакалась.

— Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина Силантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась.

— Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

— Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, — утешала ее Лара. — Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

— Вот так всегда, — говорила она, всхлипывая. — Когда мысли и без того пугаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылушишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвещенная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

— Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

— Филат, Филат! — позвали они дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в «Черногорию».

— Слушаюсь, барыня.

— Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожа-луйста, пока суд да дело. И зернá и воду не забывай Кириллу Модес-товичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, наведывайся к нам.

— Слушаюсь, барыня.

— Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на проща-ние, и с Богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой бо-лезни. Морозное, как под орех разделанное пространство, легко пере-катывало во все стороны круглые, словно на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расширяя дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна счита-ли эти выстрелы холостыми.

— Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, святой дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! — думала Лара. Она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не принимайте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, Боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Гос-поди, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страш-ная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза». И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

— Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, — плакала сзади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О как задорно щелкают выстрелы, — думала она. — Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!».

20

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переуллка. Александр и Николай Александровичи Громеко были про-фессора химии, первый — в Петровской Академии, а второй — в уни-верситете. Николай Александрович был холост, а Александр Алек-сандрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фаб-риканта-железодельца и владельца заброшенных бездоходных руд-ников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Иванов-ны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похо-жим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали ве-

чера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождала зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пивьки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повахдах сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже *toute transportée*², в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим» — все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, Бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботинках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложные пирамидками салфетки, стойком увенчавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного

² В восторге. (*Здесь и далее с французского.*)

мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.

Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.

Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.

Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.

Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.

— Вам Егоровна знаки делает, — шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.

На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.

Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.

Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.

— Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?

Егоровна что-то зашептала ему.

— Из какой Черногории?

— Номера.

— Ну так что же?

— Безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются.

— Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.

— Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.

— Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.

Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, смурясь и растирая переносицу.

После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:

— Господа. Трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу, у него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди. голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.

Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.

Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабра все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.

Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать — Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобцал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже Бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль.

Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.

В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывал и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гуденьем топящейся печки и свистом кипящего самовара.

Налево в вестибюле перед зеркалом стояла покрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.

В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.

— Скоро ли они там, мамзель, — спросил он даму у зеркала. — С вашим братом свяжешься, только лошадь студить.

Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.

Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народу, затрудняя движение.

Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысой в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поланос, пролил суп и разбил посуду, три глубоких тарелки и одну мелкую.

Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро раскодиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.

— Руки-ноги дрожат, только и забот день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой, нос себе налакал инда как селезень, а потом зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косой чорт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?

— Я вам сказывал, Матрена Степановна, — придерживайтесь вы-раженев.

— Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших делов мышьяку хватила, отставная невинность. В Черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе — виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.

Мальчики топтались в коридоре.

— Вы войдите к тетеньке, молодые господа,— во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный.— Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нечего стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите — обслуживаем, бегаем, теснота. Вы войдите.

Мальчики послушались.

В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.

Там был спальный закулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.

Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка. В номере стоял терпкий, вяжущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой коже, чернеющей от прикосновения.

За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжения и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.

Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.

— Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку,— давась от слез и тошноты, говорила женщина.— Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович... Мне вообразилось... Но по счастью оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... И вот... И вот я жива.

— Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово. неудобно.

— Сейчас поедем домой,— буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.

Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.

Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь — неприличием.

— Сейчас поедем,— еще раз повторил Александр Александрович.— Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прощусь с ним.

Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.

При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.

— Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? — останавливал его Юра и не желал слушать.

Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебным, словно он был кукольником, а она послушною движением его руки марионеткой.

Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.

Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.

Это было то самое, о чем они так горячо год продолжали с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная и сняющаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?

— Знаешь, кто этот человек? — спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал.

— Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне,— я тебе рассказывал.

Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.

— Замерз, Семен? — спросил Александр Александрович.

Они поехали.

Часть третья

ЕЛКА У СВЕТИЦКИХ

1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного са-

хара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.

Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распущенный узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшись на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

— Эх, матушка-барыня,— приговаривал кинувшийся к ней Маркел,— и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело najивное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод,— напускался он на плакавшую Маринку.— Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимоии не обосновал? Вот вы верно думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша статья столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

— Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он подходил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдовой могилы». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.

2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепольным. Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились вздохмаченные сту-

денты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепанные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бежавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизной трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь в подвале как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделялся вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера.

Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу — сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиних увлечений играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделался судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, пошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекаладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Большая плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз.

— Не ошибка ли в диагнозе? — подумал он. — Все признаки кризиса. Кажется, это кризис. Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

— Вот, исповедывать хотели... Смерть нависла... Может каждую минуту... Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься... А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь... хруп, и вон, как щипцами... А что это такое?.. Никто не знает... И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

— Ты талантливый... А талант, это... не как у всех... Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.

— Ну что же мне сказать, — ответил Юра, беспокояно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. — Во-первых, завтра вам станет лучше — есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем — смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскресите ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание яд, средство самоотравления для субъекта. применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставляли себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь

ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это. «Усните»,— сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. — Чорт знает что,— думал он,— я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук.

На другой день Анне Ивановне стало лучше.

4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тоней и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варыкине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья, Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

— Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка, Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.

— Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о Живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба — дутая, и

чем во всем этом копать, лучше было отступить от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некоей Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографии особняка. Красивый пятиконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрый взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

— И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. — Знаете, зачем я вас звала, — снова повторила она и тут же продолжала: — Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и — Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбил. И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! — Анна Ивановна закашлялась.

— Перестань, мама, тебе вредно так, — предостерегла Тоня. Юра поддержал ее.

— Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? Итак, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла продышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

— Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и сговорила вас, — прибавила она и заплакала.

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее

подавленностью, и когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смеха, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участвятся эти представления летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и расколосось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. Две школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынула грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помогите мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью: баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников.

Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную.

На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он

рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Родю и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал.

Лара похолодела, когда это услышала. Всклипывая, Родя продолжал:

— Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала... Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика... Ларочка... Достаточно одного твоего слова... Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира?.. Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его... Ведь ты не допустишь, чтобы я смысл эту растрату своей кровью.

— Смысл кровью... Честь юнкерского мундира,— с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате.— А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, недосыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится вдребезги! Да ну тебя к чорту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

— Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем для ровного счета семьсот,— немного замявшись, сказал Родя.

— Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек, вроде меня, может честным трудом выколлотить такую сумму?

После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчужденно:

— Хорошо. Я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни.

Эти деньги она достала у Кологривова.

7

Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем тысяча девятьсот двенадцатом году.

Весной одиннадцатого кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданк, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами.

В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для Родю, и о нем не напоминали.

Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала.

Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату.

Паша бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государствен-

ные, обвенчаться с Пашею и уехать, он — учителем мужской, а она — учительницей женской гимназии на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала.

Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому, близ Художественного театра.

Летом одиннадцатого года Лара в последний раз побывала с Кологривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписанный уговор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше, и среди воцарявшейся безбрежно-обладелой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости истекшего сезона.

Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ведущую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путанопахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее.

В это лето Лара приехала переутомленною от чрезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развилась мнительность, ранее ей не свойственная. Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличала широта и отсутствие щепетильности.

Кологривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежнему лаской. Но с тех пор как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнею. Она отказывалась от жалованья. Ей его навязывали. Вместе с тем деньги требовались ей, а заниматься на звании гостя самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо.

Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготятся ею и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать куда глаза глядят от себя самой и Кологривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Кологривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения.

Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Кологривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной «воспитаннице» и легкой добыче. А когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают.

Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселения многочисленного общества, гостившего в Дуплянке. Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий Родин револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина и ей закрыт путь дуэлянта-бретера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет.

Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям примешались легкие размолвки с Пашею (серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому что считала его своею последнею защитой). У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешали и огорчали Лару.

Паша, Липа, Кологривовы, деньги — все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивела Ларе. Она стала сходить с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве девятьсот одиннадцатого года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Кологривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоеванной свободы он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи.

С этой целью она двадцать седьмого декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный Родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит.

Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе стрелковою мишенью.

8

— Не трогайте муфты,— сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться.

Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку.

— Я не могу. Я тороплюсь. Где он?

Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке. С адресом в руках Лара сбегала по мрачной, живо ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в Мучной городок к Свентицким.

Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима. Был город. Был вечер.

Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные доньшки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воздух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалывает свою косматую щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымнились двери чайных и харчевен. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманных картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем постынях.

В Камергерском Лара остановилась.— Я больше не могу, я не выдержу,— почти вслух вырвалось у ней.— Я подымусь и все расскажу ему,— овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда.

Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его вброд.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу.

— Сядь рядом. Садись такой, как ты есть. Не принаряжайся. Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Не трогай муфты. Погоди. Отвернись на минуту.

Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала:

— Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество.

Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок.

— Слушай, Патуля, — сказала Лара. — У меня затруднения. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы, как все. Не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать, давай обвенчаемся скорее.

— Но это мое постоянное желание, — перебил он ее. — Скорее назначай день, я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой, не мучай меня загадками.

Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали.

Этой зимой Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста.

В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы — его творческие задатки и его размышления о существовании художественного образа и строении логической идеи.

Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свентицким. Оба прожили шесть лет бок о бок начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем.

Юра вспомнил, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавшейся на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие.

На гордоновском факультете издавали студенческий гектографированный журнал, Гордон был его редактором. Юра давно обещал

им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишею больше других.

Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании. Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились.

Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами.

Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недостижимым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной.

И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня (она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой). И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти.

То же самое, с соответствующими изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней.

Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому. Как бы чего-нибудь не случилось в их отсутствие. И он вспомнил. Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнящая ткань несколько шагов проволоклась за Тоню, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство.

Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах. Светящиеся изнутри и заиндевелые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы, горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые.

Вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение вохвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом.

Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

«Свеча горела на столе. Свеча горела...» — шептал Юра про себя начало чего-то смутного неоформившегося. в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.

С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю

ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелой плотной занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом.

— Почему вы так поздно? — на бегу спросил их племянник Свентицких Жорж, пробегая через переднюю внутрь квартиры к дяде и тете. Юра и Тоня тоже решили пройти туда поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал.

Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающих и разговаривающих, не занятых танцами.

Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой: «Grand rond! Chaine chinoise!»³ — и все делалось по его слову. «Une valse s'il vous plait!»⁴ — горланил он таперу и в голове первого тура вел свою даму à trois temps, à deux temps⁵, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и галдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удештеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава.

Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры.

12

Внутренние комнаты Свентицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора. Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги и были груды наставлены коробки с котильонными звездами и запасными елочными свечами.

Старики Свентицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетки к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свентицкие страшно обрадовались Юре и Тоне. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу.

— Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты Параскевапутаница, что ты, Жорж, опять натворил с номерами! Уговор был бонбоньерки с драже на стол, а пустые — на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот-навыворот.

— Я очень рада, что Анете лучше. Мы с Пьером так за нее беспокоились.

— Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь, а у тебя всегда все devant-derrière⁶.

Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами.

³ Большой круг! Китайская цепочка!

⁴ Вальс, пожалуйста!

⁵ На три счета, на два счета.

⁶ Шиворот-навыворот.

Все то время, что они сидели со Свентицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то, как в воду опущенная, без дела слонялась кругом по залу.

Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной, в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва»,— подумала она. Лара увидела как в зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал.

С Комаровским за одним столом играло еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец щеголя лицеиста, пригласившего Лару на вальс. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, кружась с ним по залу. А высокая брюнетка в черном с шальями горящими глазами и неприятно по-змеиному напряженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным Лариным чувствованиям, сестра Коки, и Ларины сближения не имели под собой никакой почвы.

— Корнаков,— представился Кока Ларе в самом начале. Но тогда она не разобрала.— Корнаков,— повторил он на последнем скользком кругу, подведя ее к креслу, и откланялся.

На этот раз Лара расслышала.— Корнаков, Корнаков,— призадумалась она.— Что-то знакомое. Что-то неприятное. Потом она вспомнила. Корнаков — товарищ прокурора московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не улomал.— Так вот оно что! Так, так, так. Любопытно. Корнаков. Корнаков.

Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах. После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с пфифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял.

Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих.

Она была очень разгорячена. В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей легко отделяющейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батиновый платок, крошечный как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь

и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа.

Теперь, танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая за сторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шопотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел.

Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга.

— Что она наделала, что она наделала,— в отчаянии повторял Комаровский.

— Боря, ты жив? Боря, ты жив,— истерически выкрикивала госпожа Корнакова.— Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же он, где он? Ах, оставьте, пожалуйста! Для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О мой бедный мученик, отличитель всех этих преступников! Вот она, вот она дрянь, я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну теперь ей не уйти! Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский, опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока, Кокачка, ну что ты скажешь! На отца твоего... Да... Но десница Божья... Кока! Кока!

Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистою салфеткой кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе несколько в стороне и позади вели за руки Лару.

Юра обомлел, увидав ее.— Та самая! И опять при каких необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться, Юра и он делают вид, что незнакомы. А она... Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку.

Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула.

Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал:

— Здесь просили врачебной помощи. Я могу подать ее. Покажите мне вашу руку... Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее.

На Свентицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться, за ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться.

Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом слоя голову вбежали в дом. Смерть наступила за десять минут до их приезда. Ее причиной был долгий припадок удушья вследствие острого, вовремя не распознанного отека легких.

Первые часы Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать только кивками, потому что, едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежнею силой и крики сами собой начинали вырываться из нее как из одержимой.

Она часами распластывалась на коленях возле покойницы, в промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала. Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыданье, стремительно избегала по лесенке к себе наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы бушевавшего в ней отчаяния.

От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения, и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная.

Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном. Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески, и шары на пожарных каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосыгаемо высокое ночное небо со звездами, боженькой и святыми.

Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, испулавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька — батюшкой и все размещались на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых и город, который подобно лесу темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего.

Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и законом Божиим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти, всё на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме. Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал зауспокойную службу как со-

общение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам.

16

«Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас». Что это? Где он? Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. Наверное у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, что он в библиотеке спит — не проснется в дальнем углу, за высокими книжными полками, доходящими до потолка.

«Юра, Юра!» — зовет его где-то рядом дворник Маркел. Начался вынос, Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться Юры, да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гардероба и не дает Маркелу выйти.

— Маркел! Маркел! Юра! — зовут их снизу.

Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице.

«Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный» — тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху, и все качается: венки и встречные, головы лошадей с султанами, отлетающее кадило на цепочке в руке священника, белая земля под ногами.

— Юра! Боже, наконец-то. Проснись, пожалуйста, — трясет его за плечо отскакивающая его Шура Шлезингер. — Что с тобой? Выносят. Ты с нами?

— Ну конечно.

17

Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Кольхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги, одноколка с венками, карета Крюгеров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв отсыревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу.

— Вот и Анни-Иваннина очередь. Приказала кланяться, вынула, бедняжка, далекий билет.

— Да, отпрыгалась, бедная. Поехала, стрекоза, отдыхать.

— У вас извозчик или вы на одиннадцатом номере?

— Застоялись ноги. Чутьочку пройдемся и поедем.

— Заметили, как Фуфков расстроен? На новопредставленную смотрел, слезы градом, сморкается, так бы и съел. А рядом муж.

— Он всю жизнь на нее запускать глазенапа.

С такими разговорами тащились на другой конец города на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни, день, самой природой как бы созданный для погребения. Погрязневший снег словно просвечивал сквозь заброшенный креп, из-за оград смотрели темные, как серебро с чернью, мокрые елки и ходили на траур.

Это было то самое, памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую

могилу. «Мамочка»,— посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет.

Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам, уклончивые извивы которых плохо согласовались со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали Крюгеры. Тоне очень шел траур.

На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородастый, как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешенным для сушки стираным бельем — рубашки с тяжелыми, набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра взгляделся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененное новыми постройками.

Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает.

Юра с вожделием предвкушал, как он на день-на два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь: две-три лучших отличительных черты покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища; стираное белье на том месте, где давно когда-то ночью завывала вьюга и он плакал маленьким.

Часть четвертая

НАЗРЕВШИЕ НЕИЗБЕЖНОСТИ

1

Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны. Вокруг нее шептались Свентицкие, доктор Дроков, прислуга.

Пустой дом Свентицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат, в маленькой гостиной, горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного, в одну линию вытянутого ряда.

По этому пролету не как в гостях, а словно у себя дома злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Ипполитович. Он то заглядывал в спальню, осведомляясь, что там делается, то направлялся в противоположный конец дома и мимо елки с серебряными бусами доходил до столовой, где стол ломился под нетронутым угощением и зеленые винные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок.

Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразима эта отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она

не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь! Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова.

Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени, а то вот ведь она какая, еще что-нибудь выкинет, чего доброго!

А сколько еще хлопот впереди! Ведь за это по головке не погладят. Закон не дремлет. Еще ночь и не прошло двух часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения с околоточным и все улаживал.

А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуется доказательство, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть.

Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует, а если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела.

За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики.

Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свентицких поехал к своей знакомой, юристке и жене политического эмигранта Руфине Онисимовне Войт-Войтковской. Квартира в восемь комнат была теперь выше ее потребностей и ей не по средствам. Она сдавала внаймы две комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полубморочном состоянии. У нее была нервная горячка.

2

Руфина Онисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, «положительного и жизнеспособного».

У нее на комод лежал экземпляр Эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, ее муж, «мой добрый Войт», был снят на народном гулянии в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панاماх.

Руфина Онисимовна с первого взгляда невзлюбила свою большую квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Онисимовне сплошным притворством. Руфина Онисимовна готова была побойться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице.

Руфина Онисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала, вихрем носясь по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты.

Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползими квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями.

В форточки дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям.

Очень часто ей вспоминался первый вечер их приезда в Москву с Урала, лет семь-восемь тому назад, в незабвенном детстве.

Они ехали в пролетке полутемными переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горящегося извозчика на стены зданий. Тень росла, росла, достигала неестественных размеров, накрывала мостовую и крыши и обрывалась. И все начиналось сначала.

В темноте над головой трезвонили московские сорок сороков, по земле со звоном разъезжали конки, но кричащие витрины и огни тоже оглушали Лару, как будто и они издавали какой-то свой звук, как колокола и колеса.

На столе в номере ее ошеломил неимоверной величины арбуз, хлеб-соль Комаровского им на новоселье. Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскрыл надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое, круглое диво с ледяной, сахаристой сердцевиной, у Лары захватило дух от страха, но она не посмела отказаться. Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее поперек горла.

И ведь эта робость перед дорогим кушаньем и ночью столицей потом так повторилась в ее робости перед Комаровским — главная разгадка всего происшедшего. Но теперь он был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И постоянно, держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь.

Совсем другое дело было посещение Кологривова. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому чтобы он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту гость занял собою, своим искрящимся взглядом и своей умною усмешкою полкомнаты. В ней стало теснее.

Он сидел, потирая руки, перед Лариной кроватью. Когда его вызывали в Петербург в Совет министров, он разговаривал с сановными старцами так, словно это были шалуны приготовишки. А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага, что-то вроде его родной дочери, с которой, как со всеми домашними, он перекидывался взглядами и замечаниями только на ходу и мельком (это составляло отличительную прелесть их сжатого, выразительного общения, обе стороны это знали). Он не мог относиться к Ларе тяжело и безразлично, как ко взрослой. Он не знал, как с ней говорить, чтобы не обидеть ее, и сказал, усмехнувшись ей, как ребенку:

— Что же вы это, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы? — Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. Потом, укоризненно покачав головой, продолжал: — В Дюссельдорфе выставка открывается международная — живописи, скульптуры, садоводства. Собираюсь. Сыровато у вас. И долго это вы намерены болтаться между небом и землею? Здесь ведь не Бог весть какое раздолье. Эта Вайтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я ее знаю. Переезжайте. Довольно вам валяться. Поболели и ладно. Пора подыматься. Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня один художник знакомый. Он уезжает на два года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать ее вместе с обстановкой в хорошие руки. Хотите, устрою? И затем вот что. Позвольте уж я по-деловому. Я давно хотел эта моя священная обязанность... С тех пор как Липа... Вот тут небольшая сумма, наградные за ее окончание... Нет, позвольте, позвольте... Нет, прошу вас, не упирайтесь... Нет, извините, пожалуйста.

И, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на десять тысяч.

Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Кологривовым. Место было совсем поблизости у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа, старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору, воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше Лариного окна, когда по каменному сточному жолобу двора табунком пробегали крысы.

3

Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека, по Пашиным понятиям, безразличного ей, а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественскою ночью, при горящей свече! Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал.

Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала: — Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но брось, забудь меня, я тебя не стою.

Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой. Войтковская, — потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, — Войтковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой не могу, ой не могу! Вот это можно сказать действительно... Ха-ха-ха! Богатырь! Ха-ха-ха! Еруслан Лазаревич!»

Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать ее с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что наотрез отказывается от него, потому что не любит его. но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить. Паша подозревал ее во всех смертных грехах, не верил ни одному ее слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил ее дьявольски, и ревновал ее к ее собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, надо было действовать решительнее и скорее. Они решили пожениться, не откладывая, еще до окончания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную горку. Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили.

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распорядилась Людмила Капитоновна Чепурко мать Туси Чепурко, Лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитоновна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным приметам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных.

Была ужасная жара в городе, когда Лару «повезли под злат-венец», как цыганским Панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желты золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний Запылившаяся зелень березок наувлеченных накануне к Троицыну дню, понуро висла по оградам храмов свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб сплавляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты, и все моло-

дые люди, по случаю праздника, напомажены и в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко.

Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик, к будущему богатству, а Людмила Капитоновна с тою же целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, креститься не голой, высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и всё понапрасну, потому что сколько она ни старалась, все выходило, что ее свеча выше Пашиной.

Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали: «горько, не пьется»,— а с другого конца согласным ревом ответствовали: «надо подсластить»,— и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся трубчатая коса, рассыпайтесь русы волоса».

Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней.

За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, «Степанида» и «Красная Девица», как звали его товарищи, побывал на вершине блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями.

Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему.

4

Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложения в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром.

Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших.

За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудой. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малою скоростью. Всё почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, не доложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности.

Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клады. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецелова-

лась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодевая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям, множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, крикали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть.

— Я смертельно устала,— сказала Лара, сидевшая рядом с мужем.— А ты все успел, что хотел сделать?

— Да.

— И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?

— Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор.

На вечеринку с молодой компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и навеститься к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки.

— Это совершенно лишнее,— громко и невнимательно отозвалась Лара.— И вообще все это ни к чему — переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст без нас уцелеете, не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена.

И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распахивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку отщепившейся от края острою лучиной.

За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее.

В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу.

По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованое переступание.

С лестницы позвонили. Лара наострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была Надя! Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга.

Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье.

Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал:

— Розовый гиацинт. Да, да, розовый, вы что думаете. Камень не ниже алмаза.

Но Надя спорила, что это желтые сапфиры.

Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда.

Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили.

Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам впопалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшею Ирой Лагодиной.

Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшею лошадыю. Лара открыла глаза и удивилась: «Какой этот Паша, в самом деле, неугомонный, стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит». В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидала, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол.

Ожерелье лежало на месте среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с украденным и опрорхнувшись кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, насилиу уяснив себе, в чем дело, бросились вдогонку, но грабителя и след простыл.

Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло. Неумолимая к их упрощениям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда.

Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственною ей быстротой носилась от портплекда к портплекду, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей.

Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали (вероятно, «ура»), поезд пошел быстрее.

Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, заняту в первые месяцы военных действий.

Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали всё чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники, против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его, в случае надобности, и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья.

Ему было некогда. он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глаза в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле.

Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов.

Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострившиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище.

Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых.

В московских госпиталях, забытых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений.

Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинокок печени. Все с ним спорили. Сегодня ее вскрыют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы — запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется.

Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Слово мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество.

От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения, мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как ни велики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует.

Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную.

Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости полная ему противоположность.

— На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее болей и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее.

На другой день в ответ на его телефонный звонок подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его минут десять и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения: «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно». Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. — «Симптомы обманчивы, — сказала ему сестра, — пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки-другие».

На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки.

Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона.

Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера.

Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного.

— Спасена, спасена, — радостно повторял про себя Юрий Андреевич.

— Сынок. Мальчик. С благополучным разрешением от бремени, — нараспев говорила сиделка. — Сейчас нельзя. Придет время — покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу. Намучилась. С первым. С первым завсегда мука.

— Спасена, спасена, — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем как при чем он тут? Отец, сын — он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня, Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая.

У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери, из коридора в тамбур и дальше, из тамбура в палату, были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур.

Растопырив руки, перед ним как из-под земли вырос мастодонт-гинеколог в белом халате.

— Куда? — задыхающимся шопотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. — Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорошо! А еще врач.

— Да разве я... Я только одним глазком. Отсюда. Сквозь щелку.

— А, это другое дело. Так и быть. Но чтобы мне!.. Смотрите! Если заметит, убью, живого места не оставлю!

В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посередине палаты на хирургической койке с подъемной доскою. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который все преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя.

Полная к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре,

отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила.

И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней.

На службе все наперерыв поздравляли его. — Как быстро они узнали! — удивлялся Юрий Андреевич.

Он прошел в ординаторскую, которую называли кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой.

У окна ординаторской стоял обрюзгший прозектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке.

— Поздравляю,— сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом.

— Спасибо. Я тронут.

— Не стоит благодарности. Я тут ни при чем. Вскрывал Пичужкин. Но все поражены. Эхинокок. Вот это, говорят, диагност! Только и разговору.

В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал:

— Чорт знает что. Проходной двор, а не ординаторская, что за безобразие! Да, Живаго, представьте — эхинокок! Мы были не правы. Поздравляю. И затем — неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху.

6

Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте.

Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала не покладая рук и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала.

Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог.

Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег.

Такая лодка, под которою Катенька играла как под выпуклою крышею садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми.

Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, их наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу.

По странности как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем.

Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество.

Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начатность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов.

Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглушенная было страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьею в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница.

С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек, в том, например, что она белой, а он — черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо-обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагогородничать друг друга и этим всё усложняли.

У Антиповых были гости, несколько педагогов — товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей.

Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем с естественностью ребенка, взятого в постель к матери.

Но Антипов притворялся, что спит, — он не спал. У него был припадок обычной за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа три-четыре. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихоенько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу.

Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи.

Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города, противоположной пристани. Дом был последним на улице. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд.

Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожною силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня.

Так дальше не может продолжаться, — думал он. — Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что

хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежнею силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотой и великодушием? Фу ты, разберись-ка в этом! Тут сам черт ногу сломит.

Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? — Фу, какая гадость, — возмутился он. — Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях?

Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счета проходили тут днем и ночью начиная с прошлого года.

Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся.

7

Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. — Бессмыслица. Очередная причуда, — подумала она. — Не обращать внимания, и сам обо всем забудет.

Но выяснилось, что приготовлениям мужа уже две недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда.

Лара завывала, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах.

— Паша, Пашенька, — кричала она, — на кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай! Ничего не поздно. Я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем. Стыдно? А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой пошляком и вдруг завидно стало! Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать. Паша, что с тобой, я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли, или ты белены объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?

Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской.

Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу.

Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня», — безуспешно окликала ее Марфутка. «Мама, мамочка», — без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьез-

нейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули.

По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и так же неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятин и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться.

Стали приходиться его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах.

Осенью движение армии приостановилось. Войска окапывались. Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки, сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по-прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа.

Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице.

Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия.

В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь у Липочки, муж которой, германский подданный Фризенданк, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе.

Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, управлявшийся через город Лиски в Мезо-Лаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

8

На фронт в штаб дивизии пришел поезд-баня, оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым. В красивом вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы, с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон. Он узнал, что дивизионный лазарет, в котором, по его сведениям, работал друг его детства Живаго, размещен в близлежащей деревне.

Гордон достал разрешение, необходимое для движения по прифронтовой зоне, и с пропуском в руках поехал навестить приятеля на отправлявшейся в ту сторону фурманке.

Возчик, белорус или литовец, плохо говорил по-русски. Страх шпионмании сводил все слова к одному казенному, наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущий и возница молчали.

В штабе, где привыкли передвигать целые армии и меряли расстояния стоверстными переходами, уверяли, будто деревня где-то рядом, верстах в двадцати или двадцати пяти. На самом деле до нее оказалось больше восьмидесяти.

Всю дорогу в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивало. Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения. Но он правильно рассудил, что угрюмое и за отдаленностью еле различимое брызжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения. Когда за вечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра.

Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других — люди ютились в погребах глубоко под землю. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сторовенные селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности копошились старухи погорелки, каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в золе и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнятся на свете и вернутся в жизни покой и порядок.

Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места кружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали без толку. Перед рассветом путник с возницею приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слышали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименных деревни, эта и разыскиваемая. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававшей запах аптекарской ромашки и иодоформа, он думал, что не будет заночевывать у Живаго, а, проведя день в его обществе, вечером выедет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели.

9

В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врзалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.

О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиуллина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку.

Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом попеременно вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь, до ушей разодранный рот «ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слышали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали

дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше не вставали.

— Перелеты. Телефонуйте на батарею,— сказал встревоженный Галиуллин стоявшему рядом артиллерийскому офицеру.— Да нет. Они правильно делают, что перенесли огонь поглубже.

В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем. Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова и, как он, подводя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких шестнадцатидюймовых снаряда. Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее.

— Йэ алла! Готово! Кончал базар! — побледневшими губами прошептал Галиуллин, считая прапорщика и солдат погибшими.

Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, все поспешили убраться с него подальше.

Галиуллин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиуллину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова.

Недавний прапорщик из вольноопределяющихся, механик Галиуллин, сын дворника Гимазетдина с тиверзинского двора и в далеком прошлом — слесарский ученик, которого избивал мастер Худолеев, своим возвышением обязан был своему бывшему истязателю.

Выйдя в прапорщики, Галиуллин неизвестно как и помимо своей воли попал на теплое и укромное место в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй. Кроме того, Галиуллин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье — больше ничего от него не требовалось. Как вдруг вместе с пополнением, состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худолеев.

— А, старые знакомые! — проговорил, хмуро усмехаясь, Галиуллин.

— Так точно, ваше благородие,— ответил Худолеев, стал во фронт и откозырял.

Так просто это не могло кончиться. При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хрюнул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и на воду на гауптвахту.

Теперь каждое движение Галиуллина пахло отместкою за старое. А сводить счеты таким способом в условиях палочной субординации было игрой слишком беспроигрышной и неблагородной. Что было делать? Оставаться обоим в одном месте было дальше невозможно. Но под каким предлогом и куда мог офицер переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его в дисциплинарную? С другой стороны, какие основания мог придумать Галиуллин для просьбы о собственном переводе? Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиуллин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны, а когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщиков в подпоручики.

Галиуллин знал Антипова с тиверзинских времен. В девятьсот пятом году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тиверзинных,

Юсупка ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слышал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиуллин поражен был происшедшею со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюли-шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив. Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался закодванным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках у Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова и тайна его превращения.

Рано или поздно до Галиуллина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей. Но было горячее время. Ответить настоящему он был не в силах. А ему хотелось подготовить ее к ожидавшему ее удару. Так он все откладывал большое обстоятельное письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте, сестрою. И было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо.

10

— Ну как? Будут сегодня лошади? — спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицийскую избу, в которой они стояли.

— Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед ни назад. Кругом страшная путаница. Никто ничего не понимает. На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших расплывенных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли Свенту, считавшуюся в этом месте непроходимой. Это кавалерия, численностью до корпуса. Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина. А ты говоришь — лошади. Ну, живее, Карпенко, накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? А, телячьи ножки. Великолепно.

Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела. Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатými окнами во всю стену, были до последнего сохранны.

Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух, черными роями ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков, и, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем, а ночью садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески.

Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое, от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено. Они открыли в окне две крайних оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла.

По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи. Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигавшие почву чуть-чуть в сторону Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил: — Это Берта, не-

мецкое шестнадцатидюймовое, в шестьдесят пудов весом штучка,— и потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор.

— Чем это так все время пахнет в деревне? — спрашивал Гордон.— Я с первого дня заметил. Так слащаво-приторно и противно. Как мышами.

— А, я знаю, о чем ты. Это — конопля. Тут много конопляников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали. Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно. Опять Берта. Ты слышишь?

В течение этих дней они переговорили обо всем на свете. Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимострелбания, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнею техникой боя в куски обезображенного мяса.

Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго, и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал всю безнравственность праздного разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению, в которое ставит тебя жизнь, честно и естественно.

Что от вида раненых можно упасть в обморок, он проверил на себе при поездке в летучий отряд Красного Креста, который работал к западу от них, на полевом перевязочном пункте почти у самых позиций.

Они приехали на опушку большого леса, наполовину срезанного артиллерийским огнем. В поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покарженные орудийные передки. К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества, посреди леса.

— Напрасно я взял тебя сюда,— сказал Живаго.— Окопы совсем рядом, верстах в полутора или двух, а наши батареи вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя — не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды.

На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках — остаток сильно поредевшего отделения. Их вывели из продолжающегося четвертые сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, у них не было сил улыбаться и сквернословить, и никто не повернул головы, когда в глубине леса на дороге загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысках, в безрессорных тачанках, которые подсакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых, особо экстренных, случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания.

Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая ее полости снизу рукою, выглянула сестра милосердия. Это

была не ее смена. Она была свободна. В лесу за палатками громко бранились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячащийся офицерик кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский парк. Врач ничего не знал, это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых и у него есть дело, а офицерик не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство и всех на свете. К врачу подошел Живаго. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер с чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела.

Вдруг лицо ее исказилось от ужаса.

— Что вы делаете? Вы с ума сошли, — крикнула она двум легко раненным, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку, и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу.

На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченный испускал короткие, обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немислимо затянувшиеся мучения.

Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легко раненные собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу.

— Что вы, разве можно так? Это хирург сделает, особыми инструментами. Если только придется. (Боже, Боже, побереги его, не заставляй меня сомневаться в твоём существовании!)

В следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух.

Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи.

11

В этой полосе чудесным образом сохранились деревни. Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живаго возвращались вечером домой. Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его жалко растопыренных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медяком, казак шлепал его при этом по заду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота. Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки.

Ездовой, которому все это показалось чрезвычайно умиротворяющим, повел лошадей шагом, чтобы дать время господам позабавиться.

Но Живаго, подозвав казака, выругал его и велел прекратить глумление.

— Слушаюсь, ваше благородие,— с готовностью ответил тот.— Мы ведь не знавши, только так, для смеха.

Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали.

— Это ужасно.— начал в виду их собственной деревни Юрий Андреевич.— Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведенное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое.

Гордон ничего не отвечал ему.

12

И вот опять они лежали по обе стороны длинного узкого окна, была ночь, и они разговаривали.

Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя. Он хорошо рассказывал.

Это было в его первую весну на фронте. Штаб части, к которой он был прикомандирован, стоял в Карпатах, в котловине, вход в которую со стороны Венгерской долины запирала эта войсковая часть.

На дне котловины была железнодорожная станция. Живаго описывал Гордону внешний вид местности, горы, поросшие могучими елями и соснами, с белыми клоками зацепившихся за них облаков и каменными отвесами серого шифера и графита, которые проступали среди лесов, как голые проплешины, вытертые в густой шкуре. Было сырое, серое, как этот шифер, темное апрельское утро, отовсюду спертые высоты и оттого неподвижное и душное. Парило. Пар стоял над котловиной, и все курилось, все струями дыма тянулось вверх — паровозный дым со станции, серая испарина лугов, серые горы, темные леса, темные облака.

В те дни государь объезжал Галицию. Вдруг стало известно, что он посетит часть, расположенную тут, шефом которой он состоял.

Он мог прибыть с минуты на минуту. На перроне выставили почетный караул для его встречи. Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поездов. Спустя немного подошел царский.

В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплывшаяся вода в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывавшегося ура.

Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекавшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча выводил его из затруднения.

Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.

— Он должен был произнести что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немислима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ.

Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами. Записывают «наблюдения», изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недерзания. Это один тип. А есть еще другой. Отрывистая речь, «штрихи и сценки», скептицизм, мизантропия. К примеру, у одного (я сам читал) такие сентенции: «Серый день, как вчера. С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу. По ней бесконечной вереницей гянутся пленные. Везут раненых. Стреляет пушка. Снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, и так каждый день и каждый час...» Ты подумай только, как пронизательно и остроумно! Однако почему он обижается на пушку? Какая странная претензия требовать от пушки разнообразия! Отчего вместо пушки лучше не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему перечислениями, запятыми и фразами, отчего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи? Как он не понимает, что это он, а не пушка, должен быть новым и не повторяться, что из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничавшего человеческого гения какой-то сказки.

— Поразительно верно,— прервал его Гордон.— Теперь я тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали. Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это конечно, примеры простейшей низости. по поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно. Но к вопросу о еврейях в целом философия приложима, и тогда она оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу тебе ничего нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от твоего дяди.

Что такое народ? — спрашиваешь ты. Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самую красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает? Ну конечно, конечно. Да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы, и все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия.

Когда оно говорило, в царстве Божием нет эллина и иудея, только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого завета. Но оно говорило: в том сердце задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, ест-личности.

Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство, мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека.

И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего власти дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменности своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

13

На другой день, придя к обеду, Живаго сказал:

— Вот тебе не терпится уехать, вот ты и накликал. Не могу сказать «твое счастье», ибо какое же это счастье, что нас опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с запада нас жмут. Приказ всем военно-санитарным учреждениям сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда — неизвестно. А белье Михаила Григорьевича, Карпенко, конечно, не стираю. Вечная история. Кума, кума, а спроси его толком, какая это кума, так он сам не знает, болван.

Он не слушал, что плел в свое оправдание денщик-санитар, и не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он заносил живагоское белье и уезжает в его рубашке. Живаго продолжал:

— Эх, походное наше житье, цыганское кочевье. Когда сюда въезжали, все было не по мне — и печь не тут, и низкий потолок, и грязь, и духота. А теперь, хоть убей, не могу вспомнить, где мы до этого стояли. И, кажется, век бы тут прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и движущейся по ней тенью придорожного дерева.

Они стали, не торопясь, укладываться.

Ночью их разбудили шум и крики, стрельба и беготня. Деревня была зловеще озарена. Мимо окна мелькали тени. За стеной проснулись и задвигались хозяева.

— Сбегай на улицу, Карпенко, спроси, по какому случаю содом, — сказал Юрий Андреевич.

Скоро все стало известно. Сам Живаго, наскоро одевшись, ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление. Линия обороны передвинулась ближе к деревне и все приближалась. Деревня была под обстрелом. Лазарет и учреждения спешно вывозили, не дожи-

даясь приказа об эвакуации. Всё предполагали закончить до рассвета.

— Ты поедешь с первым эшелонам, линейка сейчас отходит, но я сказал, чтобы тебя подождали. Ну прощай. Я провожу тебя и посмотрю, как тебя усадят.

Они бежали на другой конец деревни, где снаряжали отряд. Пробегаючи мимо домов, они нагибались и прятались за их выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков, пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами пламени раскидывались разрывы шрапнели.

— А ты как же?— на бегу спрашивал Гордон.

— Я потом. Надо будет еще вернуться домой, за вещами. Я со второй партией.

Они простились у околицы. Несколько телег и линейка, из которых состоял обоз, двинулись, наезжая друг на друга и постепенно выравниваясь. Юрий Андреевич помахал рукой уезжающему товарищу. Их освещал огонь загоревшегося сарая.

Так же стараясь идти вдоль изб, под прикрытием их углов, Юрий Андреевич быстро направился к себе назад. За два дома до его крыльца его свалила с ног воздушная волна разрыва и ранила шрапнельная пуля. Юрий Андреевич упал посреди дороги, обливаясь кровью, и потерял сознание.

14

Эвакуационный госпиталь был затерян в одном из городков Западного края у железной дороги, по соседству со ставкою. Стояли теплые дни конца февраля. В офицерской палате для выздоравливающих по просьбе Юрия Андреевича, находившегося тут на излечении, было отворено окно близ его койки.

Приближался час обеда. Больные коротали оставшееся до него время кто чем мог. Им сказали, что в госпиталь поступила новая сестра и сегодня в первый раз будет их обходить. Лежавший против Юрия Андреевича Галиуллин просматривал только что полученные «Речь» и «Русское слово» и возмущался пробелами, оставленными в печати цензурой. Юрий Андреевич читал письма от Тони, доставленные полевой почтой сразу в том количестве, в каком они там накопились. Ветер шевелил страницами писем и листами газеты. Послышались легкие шаги. Юрий Андреевич поднял от письма глаза. В палату вошла Лара.

Юрий Андреевич и подпоручик каждый порознь, не зная этого друг о друге, ее узнали. Она не знала никого из них. Она сказала:

— Здравствуйте. Зачем окно открыто? Вам не холодно? — и подошла к Галиуллину.

На что жалуетесь?—спросила она и взяла его за руку, чтобы сосчитать пульс, но в ту же минуту выпустила ее и села на стул у его койки, озадаченная.

— Какая неожиданность, Лариса Федоровна,— сказал Галиуллин.— Я служил в одном полку с вашим мужем и знал Павла Павловича. У меня для вас собраны его вещи.

— Не может быть, не может быть,— повторяла она.— Какая поразительная случайность. Так вы его знали? Расскажите же скорее, как все было? Ведь он погиб, засыпан землей? Ничего не скрывайте, не бойтесь. Ведь я все знаю.

У Галиуллина не хватило духу подтвердить ее сведения, почерпнутые из слухов. Он решил соврать ей, чтобы ее успокоить.

— Антипов в плену,— сказал он.— Он забрался слишком далеко вперед со своей частью во время наступления и очутился в одиночестве. Его окружили. Он был вынужден сдаться.

Но Лара не поверила Галиуллину. Ошеломляющая внезапность разговора взволновала ее. Она не могла справиться с нахлынувшими слезами и не хотела плакать при посторонних. Она быстро встала и вышла из палаты, чтобы овладеть собою в коридоре.

Через минуту она вернулась внешне спокойная. Она нарочно не глядела в угол на Галиулина, чтобы снова не расплакаться. Подойдя прямо к койке Юрия Андреевича, она сказала рассеянно и заученно:

— Здравствуйте. На что жалуетесь?

Юрий Андреевич наблюдал ее волнение и слезы, хотел спросить ее, что с ней, хотел рассказать ей, как дважды в жизни видел ее, гимназистом и студентом, но он подумал, что это выйдет фамильярно и она поймет его неправильно. Потом он вдруг вспомнил мертвую Анну Ивановну в гробу и Тонины крики тогда в Сивцевом, и сдержался, и вместо всего этого сказал:

— Благодарю вас. Я сам врач и лечу себя собственными силами. Я ни в чем не нуждаюсь.

— За что он на меня обиделся? — подумала Лара и удивленно посмотрела на этого курносого, ничем не замечательного незнакомца.

Несколько дней была переменная, неустойчивая погода, теплый, заговаривающийся ветер ночами, которые пахли мокрой землей.

И все эти дни поступали странные сведения из ставки, приходили тревожные слухи из дому, изнутри страны. Прерывалась телеграфная связь с Петербургом. Всюду, на всех углах заводили политические разговоры.

В каждое дежурство сестра Антипова производила два обхода, утром и вечером, и перекидывалась ничего не значащими замечаниями с больными из других палат, с Галиулиным, с Юрием Андреевичем. — Странный любопытный человек, — думала она. — Молодой и нелюбезный. Курносый и нельзя сказать, чтобы очень красивый. Но умный в лучшем смысле слова, с живым, подкупающим умом. Но дело не в этом. А дело в том, что надо поскорее заканчивать свои обязанности здесь и переводиться в Москву, поближе к Катеньке. А в Москве надо подавать на увольнение из сестер милосердия и возвращаться к себе в Юрятин на службу в гимназии. Ведь про бедного Патулечку все ясно, никакой надежды, тогда больше не к чему и оставаться в полевых героинях, ради его розысков только и было это нагорожено.

Что теперь там с Катенькой? Бедная сиротка (тут она принималась плакать). Замечаются очень резкие перемены в последнее время. Недавно были святы долг перед родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства. Но война проиграна, это — главное бедствие, и от этого всё остальное, все развенчано, ничто не свято.

Вдруг все переменялось, тон, воздух, неизвестно как думать и кого слушаться. Словно водили всю жизнь за руку, как маленькую, и вдруг выпустили, учись ходить сама. И никого кругом, ни близких, ни авторитетов. Тогда хочется довериться самому главному, силе жизни или красоте или правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие установления управляли тобой, полно и без сожаления, полнее, чем бывало в мирной привычной жизни, закатившейся и упраздненной. Но в ее случае, — вовремя спохватилась Лара, — такой целью и безусловностью будет Катенька. Теперь, без Патулечки, Лара только мать и отдаст все силы Катеньке, бедной сиротке.

Юрию Андреевичу писали, что Гордон и Дудоров без его разрешения выпустили его книжку, что ее хвалят и пророчат ему большую литературную будущность, и что в Москве сейчас очень интересно и тревожно, нарастает глухое раздражение низов, мы накануне чего-то важного, близятся серьезные политические события.

Была поздняя ночь. Юрия Андреевича одолевала страшная сонливость. Он дремал с перерывами и воображал, что, наволновавшись за день, он не может уснуть, что он не спит. За окном позывал и ворочался сонный, сонно дышащий ветер. Ветер плакал и лепетал: «Тоня, Шурочка, как я по вас соскучился, как мне хочется до-

мой, за работу!» И под бормотание ветра Юрий Андреевич спал, просыпался и засыпал в быстрой смене счастья и страдания, стремительной и тревожной, как эта переменная погода, как эта неустойчивая ночь.

Лара подумала: «Он проявил столько заботливости, сохранив эту память, эти бедные Патулечкины вещи, а я, такая свинья, даже не спросила, кто он и откуда».

В следующий же утренний обход, восполняя упущенное и заглаживая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этом Галиуллина и заохала и заохала.

«Господи, святая твоя воля! Брестская двадцать восемь, Тиверзины, революционная зима тысяча девятьсот пятого года! Юсупка? Нет. Юсупки не знала или не помню, простите. Но год-то, год-то и двор! Ведь это правда, ведь действительно были такой двор и такой год! О как живо она вдруг все это опять ощутила! И стрельбу тогда, и (как это, дай Бог памяти) «Христово мнение»! О с какой силой, как пронизательно чувствуют в детстве, впервые! Простите, простите, как вас, подпоручик? Да, да, вы мне раз уже сказали. Спасибо, о какое спасибо вам, Осип Гимазетдинович, какие воспоминания, какие мысли вы во мне пробудили!»

Весь день она ходила с «тем двором» в душе и все охала и почти вслух размышляла.

Подумать только, Брестская двадцать восемь! И вот опять стрельба, но во сколько раз страшней! Это тебе не «мальчики стреляют». А мальчики выросли и все — тут, в солдатах, весь простой народ с тех дворов и из таких же деревень. Поразительно! Поразительно!

В помещении, стуча палками и костылями, вошли, вбежали и приковыляли инвалиды и не носилочные больные из соседних палат, и наперебой закричали:

— События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспорядки. Войска петербургского гарнизона перешли на сторону восставших. Революция.

Часть пятая

ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМ

1

Городок назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе. Тучей саранчи висела над его крышами черная пыль, которую поднимали валившие через него войска и обозы. Они двигались с утра до вечера в обоих направлениях, с войны и на войну, и нельзя было толком сказать, продолжается ли она, или уже кончилась.

Каждый день без конца, как грибы, вырастали новые должности. И на все их выбирали. Его самого, поручика Галиуллина, и сестру Антипову, и еще несколько человек из их компании, наперечет жителей больших городов, людей сведущих и видавших виды.

Они замещали посты в городском самоуправлении, служили комиссарами на мелких местах в армии и по санитарной части и относились к чередованию этих занятий, как к развлечению на открытом воздухе, как к игре в горелки. Но все чаще им хотелось с этих горелок домой, к своим постоянным занятиям.

Работа часто и живо сталкивала Живаго с Антиповой.

2

В дожди черная пыль в городе превращалась в темно-коричневую слякоть кофейного цвета, покрывавшую его улицы, в большинстве немощные.

Городок был невелик. С любого места в нем тут же за поворотом открывалась хмурая степь, темное небо, просторы войны, просторы революции.

Юрий Андреевич писал жене:

«Развал и анархия в армии продолжают. Предпринимают меры к поднятию у солдат дисциплины и боевого духа. Объезжал расположенные поблизости части.

Наконец вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы написать тебе гораздо раньше,— работаю я тут рука об руку с некоей Антиповой, сестрой милосердия из Москвы, уроженкой Урала.

Помнишь, на елке в страшную ночь кончины твоей мамы девушка стреляла в прокурора? Ее, кажется, потом судили. Помнится, я тогда же сказал тебе, что эту курсистку, когда она еще была гимназисткою, мы с Мишей видели в одних дрянных номерах, куда ездили с твоим папой, не помню с какою целью, ночью в трескучий мороз, как мне теперь кажется, во время вооруженного восстания на Пресне. Это и есть Антипова.

Несколько раз порывался домой. Но это не так просто. Задерживают главным образом не дела, которые мы без ущерба могли бы передать другим. Трудности заключаются в самой поездке. Поезда то не ходят совсем, то проходят до такой степени переполненные, что сесть на них нет возможности.

Однако, разумеется, так не может продолжаться до бесконечности, и потому несколько человек вылечившихся, ушедших со службы и освобожденных, в том числе я, Галиуллин и Антипова, решили во что бы то ни стало разъезжаться с будущей недели, а для удобства посадки отправляться в разные дни поодиночке.

В любой день могу нагрнуть как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму».

Но еще до отъезда Юрий Андреевич успел получить ответное письмо Антонины Александровны.

В этом письме, в котором рыдания нарушали построения периодов, а точками служили следы слез и кляксы, Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств, с которыми не сравнятся ее, Тониному, скромному жизненному пути.

«О Сашеньке и его будущем не беспокойся,— писала она.— Тебе не придется за него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребенку видел в нашем доме».

«Ты с ума сошла, Тоня,— бросился отвечать Юрий Андреевич,— какие подозрения! Разве ты не знаешь, или знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому спасали меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны, страшных и уничтожающих? Впрочем, к чему слова. Скоро мы увидимся, начнется прежняя жизнь, все объяснится».

Но то, что ты мне могла ответить так, пугает меня совсем по-другому. Если я подал повод для такого ответа, может быть, я веду себя действительно двусмысленно, и тогда виноват также перед этой женщиной, которую вожу в заблуждение и перед которой должен буду извиниться. Я это сделаю, как только она вернется из объезда нескольких близлежащих деревень. Земство, прежде существовавшее только в губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в волостях. Антипова уехала помогать своей знакомой, которая работает инструкторшей как раз по этим законодательным нововведениям.

Замечательно, что живя с Антиповой в одном доме, я до сих пор не знаю, где ее комната, и никогда этим не интересовался».

3

Из Мелюзеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушино, административно подчиненное Мелюзееву, но во всех отношениях его обогнавшее. Другая, насыпная из щебня, была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Бирючам, узловой станции двух, скрещивавшихся недалеко от Мелюзеева, железных дорог.

В июне в Зыбушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашенная зыбушинским мукомолом Блажейко.

Республика опиралась на дезертиров из двести двенадцатого пехотного полка, с оружием в руках покинувших позиции и через Бирючи пришедших в Зыбушино к моменту переворота.

Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее зыбушинское царство, общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат.

Зыбушино всегда было источником легенд и преувеличений. Оно стояло в дремучих лесах, упоминалось в документах Смутного времени, и его окрестности кишели разбойниками в более позднюю пору. Притчей во языцех были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. Некоторые поверья, обычаи и особенности говора, отличавшие эту, западную, часть прифронтовой полосы, шли именно из Зыбушина.

Теперь такие же небылицы рассказывали про главного помощника Блажейко. Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влиянием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения его снова теряющий.

В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная Временному правительству часть. Дезертиров выбили из Зыбушина, и они отошли к Бирючам.

Там за путями на несколько верст кругом тянулись лесные вырубki, на которых торчали заросшие земляникою пни, стояли наполовину растащенные штабеля старых невывезенных дров и разрушались землянки работавших тут когда-то сезонников лесорубов. Здесь и засели дезертиры.

4

Госпиталь, в котором лежал, а потом служил, и который собирался теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабринской, с начала войны пожертвованном владелицей в пользу раненых.

Двухэтажный особняк занимал одно из лучших мест в Мелюзееве. Он стоял на скрещении главной улицы с центральной площадью города, так называемым плацем, на котором раньше производили учение солдат, а теперь вечерами происходили митинги.

Положение на перекрестке с нескольких сторон открывало из особняка хорошие виды. Кроме главной улицы и площади, из него был виден двор соседей, к которому он примыкал, — бедное провинциальное хозяйство, ничем не отличавшееся от деревенского. Открывался также из него старый графинин сад, куда дом выходил заднею стеной.

Особняк никогда не представлял для Жабринской самостоятельной ценности. Ей принадлежало в уезде большое имение «Раздольное», и дом в городе служил только опорным пунктом для деловых наездов в город, а также сборным местом для гостей, съезжавшихся летом со всех сторон в имение.

Теперь в доме был госпиталь, а владелица была арестована в Петербурге, месте своего постоянного жительства.

Из прежней челяди в особняке оставались две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини, Устинья.

Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, шаркая туфлями, в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как когда-то с семейством Жабринских, и ломаным языком что-нибудь рассказывала, проглатывая окончания русских слов на французский лад. Она становилась в позу, размахивала руками и к концу болтовни раздражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяжным, неудержимым кашлем.

Мадемуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанью, глубоко коренящейся в романской природе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе, многозначительно грозила им пальчиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась.

Еще более любопытную натуру представляла собою Устинья. Это была женщина с нескладно суживавшеюся кверху фигурой, которая придавала ей сходство с наседкой. Устинья была суха и трезва до ехидства, но с этой рассудительностью сочетала фантазию, необузданную по части суеверий.

Устинья знала множество народных заговоров и не ступала шагу, не зачуравшись от огня в печи и не зашептав замочной скважины от нечистой силы при уходе из дому. Она была родом зыбушинская. Говорили, будто она дочь сельского колдуна.

Устинья могла молчать годами, но до первого приступа, пока ее не прорывало. Тут уж нельзя было ее остановить. Ее страстью было вступаться за правду.

После падения Зыбушинской республики Мелюзеевский исполком стал проводить кампанию по борьбе с анархическими веяниями, шедшими из местечка. Каждый вечер на плацу сами собой возникали мирные и малолюдные митинги, на которые незанятые мелюзеевцы стекались, как в былое время летом на посиделки под открытым небом у ворот пожарной части. Мелюзеевский культпросвет поощрял эти собрания и посылал на них своих собственных или приезжих деятелей в качестве руководителей бесед. Те считали наиболее вопиющей нелепостью в рассказах о Зыбушине говорящего глухонемого, и особенно часто сводили на него речь в своих разоблачениях. Но мелкие мелюзеевские ремесленники, солдатки и бывшая барская прислуга были другого мнения. Говорящий глухонемой не казался им верхом бессмыслицы. За него вступались.

Среди разрозненных возгласов, раздававшихся из толпы в его защиту, часто слышался голос Устиньи. Сначала она не решалась вылезать наружу, бабий стыд удерживал ее. Но постепенно, набираясь храбрости, она начала все смелее наскакивать на ораторов с неугодными в Мелюзееве мнениями. Так незаметно стала она заправской говоруньей с трибуны.

Из особняка в открытые окна было слышно слитное гудение голосов на площади, а в особенно тихие вечера и обрывки отдельных выступлений. Часто, когда говорила Устинья, в комнату вбегала мадемуазель, уговаривала присутствующих прислушаться и, коверкая слова, добродушно передразнивала:

— Распу! Распу! Сарск бриян! Зыбуш! Глюконемой! Измен! Измен!

Втайне мадемуазель гордилась этой острой на язык бой-бабой. Женщины были нежно привязаны друг к другу и без конца друг на друга ворчали.

5

Постепенно Юрий Андреевич стал готовиться к отъезду, обходил дома и учреждения, где надо было с кем-нибудь проститься, и выправлял необходимые бумаги.

В это время проездом в армию в городе остановился новый комиссар этой части фронта. Про него рассказывали, будто он еще совершенный мальчик.

То были дни подготовки нового большого наступления. Старались добиться перелома в настроениях солдатских масс. Войска подтягивали. Были учреждены военно-революционные суды и восстановлена смертная казнь, недавно отмененная.

Перед отъездом доктору надо было отметить у коменданта, должность которого в Мелюзеев исполнял воинский начальник, «уездный», как его звали для краткости.

Обычно у него бывала страшная толчея. Столпотворение не умещалось в сенях и на дворе и занимало пол-улицы перед окнами присутствия. К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голов сов никто ничего не понимал.

В этот день не было приема. В пустой и тихой канцелярии писаря, недовольные все усложняющимся делопроизводством, молча писали, иронически переглядываясь. Из кабинета начальника доносились веселые голоса, точно там, расстегнув кителя, освежались чем-то прохладительным.

Оттуда на общую половину вышел Галиуллин, увидел Живаго и движением всего корпуса, словно собираясь разбежаться, поманил доктора разделить царившее там оживление.

Доктору все равно надо было в кабинет за подписью начальника. Там нашел он все в самом художественном беспорядке.

Сенсация городка и герой дня, новый комиссар, вместо следования к цели своего назначения находился тут, в кабинете, никакого отношения не имеющем к жизненным разделам штаба и вопросам оперативным, находился перед администраторами военно-бумажного царства, стоял перед ними и ораторствовал.

— А вот еще одна наша звезда, — сказал уездный, представляя доктора комиссару, который и не посмотрел на него, всецело поглощенный собою, а уездный, изменив позу только для того, чтобы подписать протянутую доктором бумагу, вновь ее принял и любезным движением руки показал Живаго на стоявший посередине комнаты низкий мягкий пуф.

Из присутствующих только один доктор расположился в кабинете по-человечески. Остальные сидели один другого чуднее и развязнее. Уездный, подперев рукой голову, по-печорински полулежал возле письменного стола, его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле, Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову, а молоденький комиссар то подтягивался на руках в проем подоконника, то с него соскакивал и, как запущенный волчок, ни на минуту не умолкая и все время двигаясь, маленькими частыми шагами расхаживал по кабинету. Он говорил не переставая. Речь шла о бирючевских дезертирах.

Слухи о комиссаре оправдались. Это был тоненький и стройный, совсем еще неоперившийся юноша, который, как свечечка, горел самыми высшими идеалами Говорили, будто он из хорошей семьи, чуть ли не сын сенатора, и в феврале один из первых повел свою роту в Государственную думу. Фамилия его была Гинце или Гинц, доктору его называли неясно, когда их знакомили. У комиссара был

правильный петербургский выговор, отчетливый-преотчетливый, чуть-чуть остзейский.

Он был в тесном френче. Наверное, ему было неловко, что он еще так молод, и, чтобы казаться старше, он брюзгливо кривил лицо и напускал на себя деланную сутулость. Для этого он запускал руки глубоко в карманы галифе и подымал углами плечи в новых, негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно по-кавалерийски упрощенной, так что от плеч к ногам ее можно было вычертить с помощью двух книзу сходящихся линий.

— На железной дороге, в нескольких перегонах отсюда стоит казачий полк. Красный, преданный. Их вызовут, бунтовщиков окружат и дело с концом. Командир корпуса настаивает на их скорейшем разоружении,— осведомлял уездный комиссара.

— Казаки? Ни в коем случае!— вспыхивал комиссар.— Какой-то девятьсот пятый год, дореволюционная реминисценция! Тут мы на разных полкосах с вами, тут ваши генералы перемудрили.

— Ничего еще не сделано. Все еще только в плане, в предположении.

— Имеется соглашение с военным командованием не вмешиваться в оперативные распоряжения. Я казаков не отменяю. Допустим. Но я со своей стороны предприиму шаги, подсказанные благоразумием. У них там бивак?

— Как сказать. Во всяком случае, лагерь. Укрепленный.

— Прекрасно. Я хочу к ним поехать. Покажите мне эту грозу, этих лесных разбойников. Пусть бунтовщики, пусть даже дезертиры, но это народ, господа, вот что вы забываете. А народ ребенок, надо его знать, надо знать его психику, тут требуется особый подход. Надо уметь задеть за его лучшие, чувствительнейшие струны так, чтобы они зазвенели. Я к ним поеду на вырубке и по душам с ними потолкую. Вы увидите, в каком образцовом порядке они вернутся на брошенные позиции. Хотите пари? Вы не верите?

— Сомнительно. Но дай Бог!

— Я скажу им: «Братцы, поглядите на меня. Вот я, единственный сын, надежда семьи, ничего не пожалел, пожертвовал именем, положением, любовью родителей, чтобы завоевать вам свободу, равной которой не пользуется ни один народ в мире. Это сделал я и множество таких же молодых людей, не говоря уж о старой гвардии славных предшественников, о каторжанах-народниках и народовольцах-шлиссельбуржцах. Для себя ли мы старались? Нам ли это было нужно? Теперь вы больше не рядовые, как были раньше, а воины первой в мире революционной армии. Спросите себя честно, оправдали ли вы это высокое звание? В то время как родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить с себя гидрою обвившегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайке безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым, что ни дай, им все мало, вот уж подлинно, пусти свинью за стол, а она и ноги на стол» — о, я пройму, я пристыжу их!

— Нет, нет, это рискованно, — пробовал возразить уездный, урядкой многозначительно переглядываясь с помощником.

Галиуллин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорви-голов из двести двенадцатого по дивизии, куда полк входил, и где он раньше служил. Но комиссар его не слушал.

Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая искушенность уездного и его помощника, двух насмешливых и скрытых прониры. Эта глупость и эта хитрость друг друга стоили. И все это извергалось потоком слов, лишнее, несуществующее, неяркое, без чего сама жизнь так жаждет обойтись.

О как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого словоговения в кажущееся безмолвие природы; в каторжное беззвучие долгого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от полноты души тихого сердечного прикосновения!

Доктор вспомнил, что ему предстоит объяснение с Антиповой, как бы то ни было, неприятное. Он был рад необходимости ее увидеть, пусть и такой ценой. Но едва ли она уже приехала. Воспользовавшись первою удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета.

6

Оказалось, что она уже дома. О ее приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталую, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить.

— Впрочем, постучитесь к ней,— посоветовала мадемуазель.— Она, наверно, еще не спит.

— А как к ней пройти?— спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель.

Выяснилось, что Антипова помещается в конце коридора наверху, рядом с комнатами, куда под ключом был сдвинут весь здешний инвентарь Жабринской, и куда доктор никогда не заглядывал.

Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Деревья подошли из глубины дворов к окнам, под огонь горящих ламп. Была жаркая и душная ночь. От каждого движения бросало в пот. Полосы керосинового света, падавшие во двор, струями грязной испарины стекали по стволам деревьев.

На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше разговор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей передуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него.

Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода из рукомойника, мерно, с отяжкой. Где-то за окном шептались. Где-то, где начинались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и гремели цепью, набирая ее из колодца.

Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без памяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графинино сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыльное благоуханье старой зацветающей липы.

Справа из-за забора с улицы неслись крики. Там буянил отпущенной, хлопали дверью, бились крыльями обрывки какой-то песни.

За вороньими гнездами графинино сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка.

А внизу под окном во дворе к запаху ночной красавицы примешивался душистый, как чай с цветком, запах свежего сена. Сюда недавно привели корову, купленную в дальней деревне. Ее вели весь день, она устала, тосковала по оставленному стаду и не брала корма из рук новой хозяйки, к которой еще не привыкла.

— Но-но, не балуй, тпрусеня, я те дам, дьявол, бодаться,— шопотом уламывала ее хозяйка, но корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то, вытянув шею, мычала надрывно и жалобно, а за черными мелюзеевскими сараями мерцали звезды, и от них

к корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели.

Всё кругом бродило, росло и всходило на волшебных дрожжах существования. Восхищение жизнью, как тихий ветер, широкой волной шло не разбирая куда по земле и городу, через стены и заборы, через древесину и тело, охватывая трепетом все по дороге. Чтобы заглушить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разговоры на митинге.

7

Луна стояла уже высоко на небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом.

У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени.

Митинг происходил на противоположной стороне площади. При желании, вслушавшись, можно было различить через плац все, что там говорилось. Но великолепия зрелища захватило доктора. Он присел на лавочку у ворот пожарной части без внимания к голосам, слышавшимся через дорогу, и стал смотреть по сторонам.

С боков площади на нее вливались маленькие глухие улочки. В глубине их виднелись ветхие, покосившиеся домишки. На этих улицах была непролазная грязь, как в деревне. Из грязи торчали длинные, плетенные из ивовых прутьев изгороди, словно то были закинутые в пруд верши, или затонувшие корзины, которыми ловят раков.

В домишках подслеповато поблескивали стекла в рамках растворенных окошек. Внутри комнат из палисадников тянулась потная русоголовая кукуруза с блестящими, словно маслом смоченными метелками и кистями. Из-за провисающих плетней одиночками смотрели вдаль бледные, худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом.

Озаренная месяцем ночь была поразительна, как милосердие или дар ясновиденья, и вдруг в тишину этой светлой, мерцающей сказки стали падать мерные, рубленые звуки чьего-то знакомого, как будто только что слышанного голоса. Голос был красив, горяч и дышал убеждением. Доктор прислушался и сразу узнал, кто это. Это был комиссар Гинц. Он говорил на площади.

Власти, наверное, просили его поддержать их своим авторитетом, и он с большим чувством упрекал мелюзеевцев в дезорганизованности, в том, что они так легко поддаются растлевающему влиянию большевиков, истинных виновников, как уверял он, зыбушинских событий. В том же духе, как он говорил у воинского, он напоминал о жестоком и могущественном враге и пробившем для родины часе испытаний. С середины речи его начали перебивать.

Просьбы не прерывать оратора чередовались с выкриками несогласия. Протестующие заявления учащались и становились громче. Кто-то, сопровождавший Гинца и в эту минуту взявший на себя задачу председателя, кричал, что замечания с места не допускаются, и призывал к порядку. Одни требовали, чтобы гражданке из толпы дали слово, другие шикали и просили не мешать.

К перевернутому вверх дном ящику, служившему трибуной, через толпу пробиралась женщина. Она не имела намерения влезать на ящик, а, протиснувшись к нему, стала возле сбоку. Женщину знали. Наступила тишина. Женщина овладела вниманием толпившихся. Это была Устинья.

— Вот вы говорите Зыбушино, товарищ комиссар, и потом насчет глаз, глаза, говорите, надо иметь и не попадаться в обман, а между прочим сами, я вас послушала, только знаете большевиками-меньшевиками шпыняться, большевики и меньшевики, ничего дру-

гого от вас не услышишь. А чтобы больше не воевать и всё как между братьями, это называется по-божески, а не меньшевики, и чтобы фабрики и заводы бедным, это опять не большевики, а человеческая жалость. А глухонемым и без вас нам глаза кололи, надоело слушать. Дался он вам, право! И чем это он вам не угодил? Что ходил-ходил немой, да вдруг, не спросясь, и заговорил? Подумаешь, невидаль. То ли еще бывает! Ослица эта, например, известная. «Валаам, Валаам, говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь». Ну, известное дело, он не послушал, пошел. Вроде того как вы: «Глухонемой». Думает, что ее слушать — ослица, животное. Побрезговал скотиной. А как потом каялся. Небось сами знаете, чем кончилось.

— Чем? — полюбопытствовали из публики.

— Ладно, — огрызнулась Устинья. — Много будешь знать, скоро состаришься.

— Нет, так не годится. Ты скажи, чем, — не унимался тот же голос.

— Чем да чем, репей неотвязчивый! В соляной столб обратился.

— Шалишь, кума! Это Лот. Лотова жена, — раздались выкрики.

Все засмеялись. Председатель призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать.

8

На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федоровной лежала груда катаного белья. Она гладила.

Буфетная была одной из задних комнат верха и выходила в сад. В ней ставили самовары, раскладывали по тарелкам кушанья, поднятые из кухни на ручном подъемнике, спускали грязную посуду судомойке. В буфетной хранилась материальная отчетность госпиталя. В ней проверяли посуду и белье по спискам, отдыхали в часы досуга и назначали друг другу свидания.

Окна в сад были отворены. В буфетной пахло липовым цветом, тминной горечью сухих веток, как в старых парках, и легким угаром от двух духовых утюгов, которыми попеременно гладила Лариса Федоровна, ставя то один, то другой в вытяжную трубу, чтобы они разгорелись.

— Что же вы вчера не постучались? Мне мадемуазель рассказывала. Впрочем, вы поступили правильно. Я прилегла уже и не могла бы вас впустить. Ну, здравствуйте. Осторожно, не запачкайтесь. Тут уголь просыпан.

— Видно, вы на весь госпиталь белье гладите?

— Нет, тут много моего. Вот вы всё меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь. Уложусь — и айда. Я на Урал, вы в Москву. А потом спросят когда-нибудь Юрия Андреевича: «Вы про такой городишко Мелюзеев не слышали?» — «Что-то не помню». — «А кто такая Антипова?» — «Понятия не имею».

— Ну, это положим. — Как вам по волостям ездило? Хорошо в деревне?

— Так в двух словах не расскажешь. — Как быстро утюги стынут! Новый мне, пожалуйста, если вам нетрудно. Вон в вытяжной трубе торчит. А этот назад, в вытяжку. Так. Спасибо. — Разные деревни. Все зависит от жителей. В одних население трудолюбивое, работающее. Там ничего. А в некоторых, верно, одни пьяницы. Там запустение. На те страшно смотреть.

— Глупости. Какие пьяницы? Много вы понимаете. Просто нет никого, мужчины все забраны в солдаты. Ну хорошо. А земство как новое революционное?

— Насчет пьяниц вы не правы, я с вами поспорю. А земство? С земством долго будет мука. Инструкции неприменимы, в волости

не с кем работать. Крестьян в данную минуту интересует только вопрос о земле. Заезжала в Раздольное. Вот красота! Вы бы съездили. Весной немного пожгли, пограбили. Сгорел сарай, фруктовые деревья обуглены, часть фасада попорчена копотью. А в Зыбушино не попала, не удалось. Однако везде уверяют, будто глухонемой не выдумка. Описываю наружность. Говорят — молодой, образованный.

— Вчера за него на плацу Устинья распиналась.

— Только приехала, из Раздольного опять целый воз хламу. Сколько раз просила, чтобы оставили в покое. Мало у нас своего! А сегодня утром сторожа из комендантского с запиской от уездного. Чайное серебро и винный хрусталь графини им до зареза. Только на один вечер, с возвратом. Знаем мы этот возврат. Половины вещей не доищешься. Говорят, вечеринка. Какой-то приезжий.

— А, догадываюсь. Приехал новый комиссар фронта. Я его случайно видел. За дезертиров собирается взяться, оцепить и разрушить. Комиссар совсем еще зеленый, в делах младенец. Здешние предлагают казаков, а он думает взять слезой. Народ, говорит, это ребенок и так далее и думает, что все это детские игрушки. Галиулин упрасивает, не будите, говорит, задремавшего зверя, предоставьте это нам, но разве такого уговоришь, когда ему втемяшится. Слушайте. На минуту оставьте утюги и слушайте. Скоро тут произойдет невообразимая свалка. Предотвратить ее не в наших силах. Как бы я хотел, чтобы вы уехали до этой каши!

— Ничего не будет. Вы преувеличиваете. Да ведь я и уезжаю. Но нельзя же так: шик-брык — и будьте здоровы. Надо сдать инвентарь по описи, а то похоже будет, будто я что-то украла. А кому его сдать? Вот ведь вопрос. Сколько я настрадалась с этим инвентарем, а в награду одни попреки. Я записала имущество Жабринской на госпиталь, потому что таков был смысл декрета. А теперь выходит, будто я это сделала притворно, чтобы таким способом сбросить вещи владелице. Какая гадость!

— Ах, да плюньте вы на эти ковры и фарфор, пропади они пропадом. Есть из-за чего расстраиваться! Да, да, в высшей степени досадно, что мы вчера с вами не свиделись. Я в таком ударе был! Я бы вам всю небесную механику объяснил, на все проклятые вопросы ответил! Нет, не шутя, меня так и подмывало выговориться. Про жену свою рассказать, про сына, про свою жизнь. Чорт возьми, неужели нельзя взрослому мужчине заговорить со взрослой женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то «подкладку»? Брр! Чорт бы драл все эти материи и подкладки!

Вы гладьте, гладьте, пожалуйста, то есть белье гладьте, и не обращайте на меня внимания, а я буду говорить. Я буду говорить долго.

Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению.

И как все растерянно-огромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатством.

Да вы гладьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утюг сменяю.

Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь магушка, не стоит ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и беседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования».

— Про митингующие деревья и звезды мне понятно. Я знаю, что вы хотите сказать. У меня самой бывало.

— Половину сделала война, остальное довершила революция. Война была искусственным перерывом жизни, точно существование можно на время отсрочить (какая бессмыслица!). Революция вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился, у всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать: с каждым случилось по две революции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм — это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции, море жизни, море самобытности. Море жизни, сказал я, той жизни, которую можно видеть на картинах, жизни гениализированной, жизни, творчески обогащенной. Но теперь люди решили испытать ее не в книгах, а на себе, не в отвлечении, а на практике.

Неожиданное дрожание голоса выдало начинающееся волнение доктора. Прервав на минуту глаженье, Лариса Федоровна посмотрела на него серьезно и удивленно. Он смешался и забыл, о чем он говорил. После короткой паузы он заговорил снова. Очертя голову он понес Бог знает что. Он сказал:

— В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью общего одушевления! И вот среди охватившей всех радости я встречаю ваш загадочно невеселый взгляд, блуждающий неведомо где, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Что бы я дал за то, чтобы его не было, чтобы на вашем лице было написано, что вы довольны судьбой и вам ничего ни от кого не надо. Чтобы какой-нибудь близкий вам человек, ваш друг или муж (самое лучшее, если бы это был военный) взял меня за руку и попросил не беспокоиться о вашей участи и не утруждать вас своим вниманием. А я вырвал бы руку, размахнулся, и... Ах, я забылся! Простите, пожалуйста.

Голос опять изменил доктору. Он махнул рукой и с чувством непоправимой неловкости встал и отошел к окну. Он стал спиной к комнате, подпер щеку ладонью, облокотясь о подоконник, и устремил вглубь покрытого темнотою сада рассеянный, ищущий умиротворения, невидящий взгляд.

Обойдя гладильную доску, перекинутую со стола на край другого окна, Лариса Федоровна остановилась в нескольких шагах от доктора позади него, в середине комнаты.

— Ах, как я всегда этого боялась! — тихо, как бы про себя сказала она. — Какое роковое заблуждение! Перестаньте, Юрий Андреевич, не надо. Ах, смотрите, что я из-за вас наделала! — громко воскликнула она и подбежала к доске, где под забытым на белье утюгом тонкой струйкой едкого дыма курилась прожженная кофточка. — Юрий Андреевич, — продолжала она, с сердитым стуком опуская утюг на конфорку. — Юрий Андреевич, будьте умницей, выйдите на минуту к мадемуазель, вылейте воды, голубчик, и возвращайтесь сюда таким, каким я вас привыкла и хотела бы видеть. Слышите, Юрий Андреевич? Я знаю, это в ваших силах. Сделайте это, я прошу вас.

Больше таких объяснений между ними не повторялось. Через неделю Лариса Федоровна уехала.

9

Еще через некоторое время стал собираться в дорогу Живаго. Ночью перед его отъездом в Мелюзееве была страшная буря.

Шум урагана сливался с шумом ливня, который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменившегося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими хлещущими потоками.

Раскаты грома следовали один за другим без перерыва, переходя в одно ровное рокотание. При сверкании частых молний показывалась убегающая вглубь улица с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону деревьями.

Ночью мадемуазель Флери разбудил тревожный стук в парадное. Она в испуге присела на кровати и прислушалась. Стук не прекращался.

Неужели во всем госпитале не найдется ни души, чтобы выйти и отпереть, подумала она, и за всех должна отдуваться она одна, несчастная старуха, только потому, что природа сделала ее честной и наделила чувством долга?

Ну хорошо, Жабринские были богачи, аристократы. Но госпиталь, это ведь их собственное, народное. На кого же они его бросили? Например, куда, интересно знать, провалились санитары? Все разбежались, ни начальства, ни сестер, ни докторов. А в доме есть еще раненые, два безногих наверху в хирургической, где прежде была гостиная, да полная кладовая дизентериков внизу, рядом с прачешной. И чертовка Устинья ушла куда-то в гости. Видит, дура, что гроза собирается, нет, понесла нелегкая. Теперь хороший предлог ночевать у чужих.

Ну, слава Богу, перестали, уgomонились. Видят — не отпирают, и ушли, махнули рукой. Тоже носит чорт в такую погоду. А может быть, это Устинья? Нет, у той свой ключ. Боже мой, как страшно, опять стучат!

Но ведь все-таки какое свинство! Допустим, с Живаго нечего взять. Он завтра уезжает, и мыслями уже в Москве или в дороге. Но каков Галиуллин! Как может он дрыхнуть или спокойно лежать, слыша такой стук, в расчете, что в конце концов подыметсЯ она, слабая и беззащитная старуха, и пойдет отпирать неизвестно кому в эту страшную ночь в этой страшной стране.

Галиуллин! — вдруг спохватилась она. — Какой Галиуллин? Нет, такая нелепость могла прийти ей в голову только спросонья! Какой Галиуллин, когда его и след простыл? И не сама ли она вместе с Живаго прятала и переодевала его в штатское, а потом объясняла, какие дороги и деревни в округе, чтобы он знал, куда ему бежать, когда случился этот страшный самосуд на станции и убили комиссара Гинца, а за Галиуллиным гнались из Бирючей до самого Мелюзеева, стреляя вдогонку, и шарили по всему городу. Галиуллин!

Если бы тогда не эти самокатчики, камня на камне не осталось бы от города. Броневой дивизион проходил по случайности через город. Заступились за жителей, обуздали негодяев.

Гроза слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Дождь переставал временами, а вода с тихим плеском продолжала стекать вниз по листе и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату мадемуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно что-то разыскивая.

Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился. Кто-то нуждался в помощи и стучался в дом отчаянно и учащенно. Снова поднялся ветер. Опять хлынул дождь.

— Сейчас! — неизвестно кому крикнула мадемуазель и сама испугалась своего голоса.

Неожиданная догадка осенила ее. Спустив ноги с кровати и сунув их в туфли, она накинула халат и побежала будить Живаго, чтобы не было так страшно одной. Но он тоже слышал стук и сам спускался со свечью навстречу. У них были одинаковые предположения.

— Живаго, Живаго! Стучат в наружную дверь, я боюсь отпереть одна, — кричала она по-французски и по-русски прибавила: — Вы увийт, это Лав или поручик Гайуль.

Юрия Андреевича тоже разбудил этот стук, и он подумал, что

это непременно кто-то свой, либо остановленный каким-то препятствием Галиуллин, вернувшийся в убежище, где его спрячут, либо возвращенная какими-то трудностями из путешествия сестра Антипова.

В сенях доктор дал мадемуазель подержать свечу, а сам повернул ключ в двери и отодвинул засов. Порыв ветра вырвал дверь из его рук, задул свечу и обдал обоих с улицы холодными брызгами дожда.

— Кто там? Кто там? Есть ли тут кто-нибудь? — кричали наперерыв во тьму мадемуазель и доктор, но им никто не отвечал.

Вдруг они услышали прежний стук в другом месте, со стороны черного хода или, как им стало теперь казаться, в окно из сада.

— По-видимому, это ветер, — сказал доктор. — Но для очистки совести сходите все-таки на черный, удостоверьтесь, а я тут подожду, чтобы нам не разминуться, если это действительно кто-нибудь, а не какая-нибудь другая причина.

Мадемуазель удалилась вглубь дома, а доктор вышел наружу под навес подъезда. Глаза его, привыкнув к темноте, различили признаки занимающегося рассвета.

Над городом, как полоумные, быстро неслись тучи, словно спасаясь от погони. Их клочья пролетали так низко, что почти задевали за деревья, клонившиеся в ту же сторону, так что похоже было, будто ими, как гнущимися вениками, подметают небо. Дождь охлестывал деревянную стену дома, и она из серой становилась черною.

— Ну как? — спросил доктор вернувшуюся мадемуазель.

— Вы прав. Никого. — И она рассказала, что обошла весь дом. В буфетной выбито окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый океан.

— А тут ставня оторвалась и бьется о наличник. Видите? Вот и все объяснение.

Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись спать, оба сожалея, что тревога оказалась ложной.

Они были уверены, что отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная женщина, до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыпают расспросами, пока она будет отряхиваться. А потом она придет, переодевшись, сушиться у вчерашнего не остывшего жара в печи на кухне и будет им рассказывать о своих бесчисленных злоключениях, поправлять волосы и смеяться.

Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице, в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им мерещиться за поворотом.

10

Косвенным виновником солдатских волнений на станции считали бирючевского телеграфиста Колю Фроленко.

Коля был сыном известного мелюзеевского часовщика. В Мелюзее его знали с пеленок. Мальчиком он гостил у кого-то из раздольненской дворни и играл под наблюдением мадемуазель с двумя ее питомицами, дочерьми графини. Мадемуазель хорошо знала Колю. Тогда же он стал немного понимать по-французски.

В Мелюзее привыкли видеть Колю в любую погоду налегке, без шапки, в летних парусиновых туфлях, на велосипеде. Не держась за руль, откинувшись и скрестив на груди руки, он катил по шоссе и городу и поглядывал на столбы и провода, проверяя состояние сети.

Ответвлением железнодорожного телефона некоторые дома в городе были соединены со станцией. Управление веткой находилось в Колиных руках в аппаратной вокзала.

Там у него работы было по горло: железнодорожный телеграф, телефон, а иногда, в моменты недолгих отлучек начальника станции Поварихина, также и сигнализация и блокировка, приборы к которым тоже помещались в аппаратной.

Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи, темную, отрывистую и полную загадок, к которой Коля прибегал, когда не желал кому-нибудь отвечать или не хотел вступать с кем-нибудь в разговоры. Передавали, что он слишком широко пользовался этим правом в день беспорядков.

Своими умолчаниями он и правда лишил силы все добрые намерения Галиуллина, звонившего из города, и, может быть, против воли дал роковой ход последовавшим событиям.

Галиуллин просил позвать к аппарату комиссара, находившегося где-то на вокзале или поблизости, чтобы сказать ему, что он выезжает сейчас к нему на вырубку, и попросить, чтобы он подождал его и без него ничего не предпринимал. Коля отказал Галиуллину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов идущему к Бирючам поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Бирючи вызванных казаков.

Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствия.

Паровоз медленно подполз под темный навес дебаркадера и остановился как раз против огромного окна аппаратной. Коля широко отдернул тяжелую вокзальную занавеску из темно-синего сукна с вытканными по бортам инициалами железной дороги. На каменном подоконнике стоял огромный графин с водой и стакан толстого стекла с простыми гранями на большом подносе. Коля налил воды в стакан, отпил несколько глотков и посмотрел в окно.

Машинист заметил Колю и дружески кивнул ему из будки. «У, дрянь вонючая, древесный клоп!» — с ненавистью подумал Коля, высунул машинисту язык и погрозил ему кулаком. Машинист не только понял Колину мимику, но сумел и сам пожатием плеч и поворотом головы в сторону вагонов дать понять: «А что делать? Сам попробуй. Его сила». «Все равно, дрянь и гадина», — мимически ответил Коля.

Лошадей стали выводить из вагонов. Они упирались, не шли. Глухой стук копыт по деревянному настилу сходней сменился звяканьем подков по камню перрона. Вздвигающихся на дыбы лошадей перевели через рельсы нескольких путей.

Они кончались двумя рядами вагонного брака, на двух ржавых, заросших травой колеях. Разрушение дерева, с которого дожди смывали краску и которое точили червь и сырость, возвращало разбитым теплушкам былое родство с сырым лесом, начинавшимся по ту сторону составов, с грибом трутовиком, которым болела береза, с облаками, которые над ним громоздились.

На опушке казаки по команде сели в седла и поскакали на вырубку.

Непокорных из двести двенадцатого окружили. Верховые среди деревьев всегда кажутся выше и внушительнее, чем на открытом месте. Они произвели впечатление на солдат, хотя у них самих были винтовки в землянках. Казаки вынули пашки.

Внутри конной цепи на сложенные дрова, которые утрясли и выровняли, вскочил Гинц и обратился с речью к окруженным.

Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну, огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них

в ушах. Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его остзейский выговор.

Гинц чувствовал, что говорит долго, и досадовал на себя, но думал, что делает это ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи зачинщиков. Если они этого не сделают, говорил Гинц, то докажут, что они подлые изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы. От такого тона эти люди отвыкли.

Поднялся рев нескольких сот голосов. «Поговорил. Будет. Ладно»,— кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались. Эти кричали:

— Слышали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские повадки! Так это мы изменники? А сам ты из каковских, ваше благородие? Да что с ним хороваются. Не видишь что ли, немец, подосланный. Эй ты, предъяви документ, голубая кровь! А вы чего рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!

Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да свиньи. Экой барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу двести двенадцатому. Все перемешалось. Началось братание.

«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно,— говорили Гинцу встревоженные казацки офицеры.— У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе. Уходите скорее».

Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо.

До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и прибавил шаг.

То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц пустился бежать. Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом пересек их.

Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его.

Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. —Надо крикнуть им: «Братцы, опомнитесь, какой я шпион?» — подумал он.— Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что их бы остановило.

В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся какой-нибудь призыв, что-нибудь зажигательное.

У дверей вокзала под станционным колоколом стояла высокая пожарная кадка. Она была плотно прикрыта. Гинц вскочил на ее крышку и обратил к приближающимся несколько за душу хватающих слов, нечеловеческих и бессвязных. Безумная смелость его обращения, в двух шагах от распахнутых вокзальных дверей, куда он так легко мог бы забежать, ошеломила и приковала их к месту. Солдаты опустили ружья.

Но Гинц стал на край крышки и перевернул ее. Одна нога провалилась у него в воду, другая повисла на борту кадки. Он оказался сидящим верхом на ее ребре.

Солдаты встретили эту неловкость взрывом хохота, и первый спереди выстрелом в шею убил наповал несчастного, а остальные бросились штыками докалывать мертвого.

11

Мадемуазель звонила Коле по телефону, чтобы он устроил доктора в поезде поудобнее, угрожая в противном случае неприятными для Коли разоблачениями.

Отвечая мадемуазель, Коля по обыкновению вел какой-то другой телефонный разговор и, судя по десятичным дробям, пестрившим его речь, передавал в третье место по телеграфу что-то зашифрованное.

— Псков, комосев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель? Вранье, хиромантия. Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков, комосев, Псков. Тридцать шесть запятая ноль ноль пятнадцать. Ах, чтоб вас собаки съели, обрыв ленты. А? А? Не слышу. Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком, нельзя, не могу. Обратитесь к Поварихину. Вранье, хиромантия. Тридцать шесть... а, чорт... отстаньте, не мешайте, мамзель.

А мадемуазель говорила:

— Ты мне не пускай пыль в глаз кироман, Псков, Псков, кироман, у тебя насквозь буду водить на чистую воду, ты будешь завтра сажать доктора в вагон, и больше я не разговариваю со всяких убийц и маленький Иуда предатель.

12

Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня.

Глиняные мазанки и гуси в заплеванной подсолнухами привокзальной слободе испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба.

К зданию станции прилегалла широкая, далеко в обе стороны тянувшаяся поляна. Трава на ней была вытоптана, и всю ее покрывала несметная толпа народа, неделями дожидавшегося поездов в разных, нужных каждому, направлениях.

В толпе были старики в серых сермягах, на палящем солнце переходившие от кучки к кучке за слухами и сведениями. Молчаливые подростки лет четырнадцати лежали, облокотившись, на боку, с каким-нибудь очищенным от листьев прутом в руке, словно пасли скотину. Задирая рубашонки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки. Вытянув плотно сдвинутые ноги, на земле сидели их матери с замотанными за пазуху криво стянутых коричневых зипунов грудными детьми.

— Как бараны кинулись врассыпную, когда пальба началась. Не понравилось! — неприязненно говорил начальник станции Поварихин, ломаными обходами пробираясь с доктором через ряды тел, лежавшие вповалку снаружи перед дверьми и внутри на полу вокзала.

— Вдруг газон опростался! Опять увидали, какая земля бывает. Обрадовались! Четыре месяца ведь не видали под этим табором, — забыли. — Вот тут он лежал. Удивительное дело, навидался я за войну всяких ужасов, пора бы привыкнуть. А тут такая жалость взяла! Главное — бессмыслица. За что? Что он им сделал плохого? Да разве это люди? Говорят, любимец семьи. А теперь направо, так, так, сюда, пожалуйста, в мой кабинет. На этот поезд и не думайте. затолкают насмерть. Я вас на другой устрою, местного сообщения. Мы его сами составляем, сейчас начнем формировать. Только вы до посадки молчок, никому! А то на части разнесут до сцепки, если проговоритесь. Ночью в Сухиничах вам будет пересадка.

13

Когда хранимый в секрете поезд составили и стали из-за здания депо задом подавать к станции, всё что было народу на лужайке, толпой бросились наперерез к медленно пятащемуся составу. Люди горохом скатывались с пригорков и взбегали на насыпь. Оттесняя друг друга, одни скакали на ходу на буфера и подножки, а другие лезли в окна и на крыши вагонов. Поезд вмиг и еще в движении наполнился до отказа, и когда его подали к перрону, был набит битком, и сверху донизу увешан едущими.

Чудом доктор протиснулся на площадку и потом еще более необъяснимым образом проник в коридор вагона.

В коридоре он и остался в продолжение всей дороги, и путь до Сухиничей совершил, сидя на полу на своих вещах.

Грозные тучи давно разошлись. По полям, залитым глгучими лучами солнца, перекачивалось из края в край несмолкаемое, заглушавшее ход поезда стрекотание кузнечиков.

Пассажиры, стоявшие у окна, застили свет остальным. От них на пол, на лавки и на перегородки падали длинные, вдвое и втрое сложенные тени. Эти тени не умещались в вагоне. Их вытесняло вон через противоположные окна, и они бежали вприпрыжку по другой стороне откоса вместе с тенью всего катящегося поезда.

Кругом галдели, горланили песни, ругались и резались в карты. На остановках к содому, стоявшему внутри, присоединялся снаружи шум осаждавшей поезд толпы. Гул голосов достигал огушительности морской бури. И как на море, в середине стоянки наступала вдруг необъяснимая тишина. Становились слышны торопливые шаги по платформе вдоль всего поезда, беготня и спор у багажного вагона, отдельные слова провожающих вдалеке, тихое квохтанье кур и шелестение деревьев в станционном палисаднике.

Тогда, как телеграмма, поданная в дороге, или как поклон из Мелюзеева, впывало в окно знакомое, точно к Юрию Андреевичу адресующееся благоухание. Оно с тихим превосходством обнаруживало себя где-то в стороне и приходило с высоты, для цветов в полях и на клумбах необычной.

Доктор не мог подойти к окну вследствие давки. Но он, и не глядя видел в воображении эти деревья. Они росли, наверно, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвою, мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Это повторялось весь путь. Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы.

Вездесущее веяние этого запаха как бы опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде заставляли на месте, распространившимся и подтвержденным.

Ночью в Сухиничах услужливый носильщик старого образца, пройдя с доктором по неосвещенным путям, посадил его с задней стороны в вагон второго класса какого-то, только что подошедшего и расписанием не предусмотренного поезда.

Едва носильщик, отомкнув кондукторским ключом заднюю дверцу, вскинул на площадку докторские вещи, как должен был выдерживать короткий бой с проводником, который мгновенно стал их высаживать, но, будучи умиловивлен Юрием Андреевичем, стушевался и провалился как сквозь землю.

Тайнственный поезд был особого назначения и шел довольно быстро, с короткими остановками, под какой-то охраной. В вагоне было совсем свободно.

Купе, куда вошел Живаго, ярко освещалось оплывшею свечой на столике, пламя которой колыхала струя воздуха из приспущенного окна.

Свеча принадлежала единственному пассажиру в купе. Это был белокурый юноша, наверное, очень высокого роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо скрепленные составные части складных предметов. Молодой человек сидел на диване у окна, непринужденно откинувшись. При появлении Живаго он вежливо приподнялся и переменил свою полулежащую позу на более приличную сидячую.

У него под диваном валялось что-то вроде половой тряпки. Вдруг кончик ветошки зашевелился, и из-под дивана с хлопотливой вознею вылезла вислоухая лягавая собака. Она обнюхала и оглядела Юрия Андреевича и стала бегать по купе из угла в угол, раскидывая лапы так же гибко, как закидывал ногу на ногу ее долговязый хозяин. Скоро по его требованию она хлопотливо залезла под диван и приняла свой прежний вид скомканной полотерной суконки.

Тут только Юрий Андреевич заметил двустоволку в чехле, кожаный патронташ и туго набитую настрелянной птицей охотничью сумку, висевшие на крюках в купе.

Молодой человек был охотник.

Он отличался чрезвычайной разговорчивостью и поспешил с любезной улыбкой вступить с доктором в беседу. При этом он не в переносном, а в самом прямом смысле все время смотрел доктору в рот.

У молодого человека оказался неприятный высокий голос, на повышениях впадавший в металлический фальцет. Другая странность: по всему русский, он одну гласную, а именно «у», произносил мудреннейшим образом. Он ее смягчал наподобие французского «и» или немецкого «и Umlaut». Мало того, это испорченное «у» стоило ему больших трудов, он со страшной натугой, несколько взвизгивая, выговаривал этот звук громче всех остальных. Почти в самом начале он огорошил Юрия Андреевича такой фразой:

«Еще только вчера ùтром я охотился на ùток».

Минутами, когда, видимо, он больше следил за собой, он преодолевал эту неправильность, но стоило ему забыться, как она вновь проскальзывала.

«Что за чертовщина? — подумал Живаго, — что-то читанное, знакомое. Я, как врач, должен был бы это знать, да вот вылетело из головы. Какое-то мозговое явление, вызывающее дефект артикуляции. Но это подвывание так смешно, что трудно оставаться серьезным. Совершенно невозможно разговаривать. Лучше полезу наверх и лягу».

Так доктор и сделал. Когда он стал располагаться на верхней

полке, молодой человек спросил, не потушить ли ему свечу, которая, пожалуй, будет мешать Юрию Андреевичу. Доктор с благодарностью принял предложение. Сосед погасил огонь. Стало темно.

Оконная рама в купе была наполовину спущена.

— Не закрыть ли нам окно? — спросил Юрий Андреевич. — Вы воров не боитесь?

Сосед ничего не ответил. Юрий Андреевич очень громко повторил вопрос, но тот опять не отозвался.

Тогда Юрий Андреевич зажег спичку, чтобы посмотреть, что с его соседом, не вышел ли он из купе в такое короткое мгновение и не спит ли, что было бы еще невероятнее.

Но нет, тот сидел с открытыми глазами на своем месте и улыбнулся свесившемуся сверху доктору.

Спичка потухла. Юрий Андреевич зажег новую и при ее свете в третий раз повторил, что ему желательно было выяснить.

— Поступайте, как знаете, — без замедления ответил охотник. — У меня нечего красть. Впрочем, лучше было бы не закрывать. Душно.

«Вот так фунт! — подумал Живаго. — Чудак, по-видимому, привык разговаривать только при полном освещении. И как он чисто все сейчас произнес, без своих неправильностей! Уму непостижимо!»

15

Доктор чувствовал себя разбитым событиями прошедшей недели, предотъездными волнениями, дорожными сборами и утренней посадкой на поезд. Он думал, что уснет, чуть растянется на удобном месте. Но не тут-то было. Чрезмерное переутомление нагнало на него бессонницу. Он заснул только на рассвете.

Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его голове в течение этих долгих часов, их, собственно говоря, было два круга, два неотвязных клубка, которые то сматывались, то разматывались.

Один круг составляли мысли о Тоне, доме и прежней налаженной жизни, в которой все до мельчайших подробностей было оваяно поэзией и проникнуто сердечностью и чистотой. Доктор тревожился за эту жизнь и желал ей целости и сохранности и, летя в ночном скором поезде, нетерпеливо рвался к этой жизни обратно, после более чем двухлетней разлуки.

Верность революции и восхищение ею были тоже в этом круге. Это была революция в том смысле, в каком принимали ее средние классы, и в том понимании, какое придавала ей учащаяся молодежь девятьсот пятого года, поклонявшаяся Блоку.

В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной, между двенадцатым и четырнадцатым годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной, Живаговской.

После войны хотелось обратно к этим веяниям, для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки назад домой.

Новое было также предметом мыслей второго круга, но насколько другое, насколько отличное новое! Это было не свое, привычное, старым подготовленное новое, а произвольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение.

Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и одичание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила. Таким новым были захолустные города, куда

война заносила, и люди, с которыми она сталкивала. Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная под девятьсот пятый год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, большевиками.

Таким новым была сестра Антипова, войной заброшенная Бог знает куда, с совершенно ему неведомой жизнью, никого ни в чем не укоряющая и почти жалующаяся своей безгласностью, загадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить ее, так же как всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря уже о семье и близких.

Поезд несся на всех парах. Встречный ветер через опущенное окно трепал и пылил волосы Юрия Андреевича. На ночных остановках творилось то же самое, что на дневных, бушевала толпа и шелестели липы.

Иногда из глубины ночи к станциям со стуком подкатывали телеги и таратайки. Голоса и гром колес смешивались с шумом деревьев.

В эти минуты казалось понятным, что заставляло шелестеть и клониться друг к другу эти ночные тени, и что они шепчут друг другу, еле ворочая сонными отяжелевшими листьями, как заплетающимися шепелявыми языками. Это было то же самое, о чем думал, ворочаясь у себя на верхней полке, Юрий Андреевич, весть об охваченной все ширящимися волнениями России, весть о революции, весть о ее роковом и трудном часе, о ее вероятном конечном величии.

16

На другой день доктор проснулся поздно. Был двенадцатый час. «Маркиз, Маркиз!» — вполголоса сдерживал сосед свою разворочавшуюся собаку. К удивлению Юрия Андреевича, они с охотником оставались одни в купе, никто не подсел дорогой. Названия станций попадались с детства знакомые. Поезд, оставив Калужскую губернию, врзался в глубь Московской.

Совершив свой дорожный туалет с довоенным удобством, доктор вернулся в купе к утреннему завтраку, который предложил ему его любопытный спутник. Теперь Юрий Андреевич лучше к нему присмотрелся.

Отличительными чертами этой личности были крайняя разговорчивость и подвижность. Неизвестный любил поговорить, причем главным для него было не общение и обмен мыслей, а самая деятельность речи, произнесение слов и издавание звуков. Разговаривая, он как на пружинах подскакивал на диване, оглушительно и беспричинно хохотал, быстро-быстро потирал от удовольствия руки, а когда и этого оказывалось недостаточно для выражения его восторга, бил себя ладонями по коленкам, смеясь до слез.

Разговор возобновился со всеми вчерашними странностями. Незнакомец был удивительно непоследователен. Он то вдавался в признания, на которые никто не толкал его, то, и ухом не ведая, оставлял без ответа самые невинные вопросы.

Он вывалил целую кучу сведений о себе, самых фантастических и бессвязных. Грешным делом он, наверное, привирал. Он с несомненностью бил на эффект крайностями своих взглядов и отрицанием всего общепризнанного.

Все это напоминало что-то давно знакомое. В духе такого радикализма говорили нигилисты прошлого века и немного спустя некоторые герои Достоевского, а потом совсем еще недавно их прямые продолжения, то есть вся образованная русская провинция, часто идущая впереди столиц, благодаря сохранившейся в глуши основательности, в столицах устаревшей и вышедшей из моды.

Молодой человек рассказал, что он племянник одного известного революционера, родители же его, напротив, неисправимые ретрограды, зубры, как он выразился. У них в одной из прифронтовых местностей было порядочное имение. Там молодой человек и вырос. Его родители были с дядей всю жизнь на ножах, но он не злопамятен и теперь своим влиянием избавляет их от многих неприятностей.

Сам он по своим убеждениям в дядю, сообщил словоохотливый субъект,— экстремист-максималист во всем: в вопросах жизни, политики и искусства. Опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства. «Сейчас он футуристом отрекомендуется»,— подумал Юрий Андреевич, и действительно, речь зашла о футуристах. «А сейчас о спорте заговорит,— продолжал загадывать вперед доктор,— о рысаках, или скеттинг-рингах, или о французской борьбе». И правда, разговор перешел на охоту.

Молодой человек сказал, что в ролных местах он и охотился, и похвастал, что он великолепный стрелок, и если бы не его физический порок, помешавший ему попасть в солдаты, он на войне бы выделялся меткостью.

Уловив вопрошающий взгляд Живаго, он воскликнул:

— Как? Разве вы ничего не заметили? Я думал, вы догадались о моем недостатке.

И он достал из кармана и протянул Юрию Андреевичу две карточки. Одна была его визитная. У него была двойная фамилия. Его звали Максим Аристархович Клинцов-Погоревших, или просто Погоревших, как он просил звать его в честь его, так именно называвшего себя дяди.

На другой карточке была разграфленная на клетки таблица с изображением разнообразно соединенных рук со сложенными по-разному пальцами. Это была ручная азбука глухонемых. Вдруг все объяснилось.

Погоревших был феноменально способным воспитанником школы Гартмана или Остроградского, то есть глухонемым, с невероятным совершенством выучившимся говорить не по слуху, а на глаз, по движению горловых мышц учителя, и таким же образом понимавшим речь собеседника.

Тогда, сопоставив в уме, откуда он и в каких местах охотился, доктор спросил:

— Простите за нескромность, но вы можете не отвечать,— скажите, вы не имели отношения к Зыбушинской республике и ее созданию?

— А откуда... Позвольте... Так вы знали Блажейко?.. Имел, имел! Конечно, имел,— радостно затараторил Погоревших, хохоча, раскачиваясь всем корпусом из стороны в сторону и неистово колотя себя по коленям. И опять пошла фантазмагория.

Погоревших сказал, что Блажейко был для него поводом, а Зыбушино безразличной точкой приложения его собственных идей. Юрию Андреевичу трудно было следить за их изложением. Философия Погоревших наполовину состояла из положений анархизма, а наполовину из чистого охотничьего вранья.

Погоревших невозмутимым тоном оракула предсказывал гибельные потрясения на ближайшее время. Юрий Андреевич внутренне

соглашался, что, может быть, они неотвратимы, но его взрывало авторитетное спокойствие, с каким цедил свои предсказания этот неприятный мальчишка.

— Пойдите, пойдите,— несмело возражал он. — Все это так, может статься. Но, по-моему, не время таким рискованным экспериментам среди нашего хаоса и развала, перед лицом напирającego врага. Надо дать стране прийти в себя и отдышаться от одного переворота, прежде чем отваживаться на другой. Надо дождаться чего-нибудь, хотя бы относительного успокоения и порядка.

— Это наивно,— говорил Погоревших. — То, что вы зовете развалом, такое же нормальное явление, как хваленый ваш и излюбленный порядок. Эти разрушения — закономерная и предварительная часть более широкого созидательного плана. Общество развалилось еще недостаточно. Надо, чтобы оно распалось до конца, и тогда настоящая революционная власть по частям соберет его на совершенно других основаниях.

Юрию Андреевичу стало не по себе. Он вышел в коридор.

Поезд, набирая скорость, несся подмосковными. Каждую минуту навстречу к окнам подбегали и проносились мимо березовые рощи с тесно расставленными дачами. Пролетали узкие платформы без навесов с дачниками и дачницами, которые отлетали далеко в сторону в облаке пыли, поднятой поездом, и вертелись как на карусели. Поезд давал свисток за свистком, и его свистом захлебывалось, далеко разнося его, полое, трубчатое и дулистое лесное эхо.

Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним.

Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары — все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство — приезд к родным, возвращение к себе, возобновление существования.

Рощи кончились. Поезд вырвался из лиственных теснин на волю. Отлогая поляна широким бутром уходила вдаль, подымаясь из оврага. Вся она была покрыта продольными грядами темно-зеленой картошки. На вершине поляны, в конце картофельного поля, лежали на земле стеклянные рамы, вынутые из парников. Против поляны за хвостом идущего поезда в полнеба стояла огромная черно-лиловая туча. Из-за нее выбивались лучи солнца, расходясь колесом во все стороны, и по пути задевали за парниковые рамы, зажигая их стекла нестерпимым блеском.

Вдруг из тучи косо посыпался крупный, сверкающий на солнце грибной дождь. Он падал торопливыми каплями в том же самом темпе, в каком стучал колесами и громыхал болтами разбежавшийся поезд, словно стараясь догнать его или боясь от него отстать.

Не успел доктор обратить на это внимание, как из-за горы показался храм Христа Спасителя и в следующую минуту — купола, крыши, дома и трубы всего города.

— Москва,— сказал он, возвращаясь в купе. — Пора собираться.

Погоревших вскочил, стал рыться в охотничьей сумке и выбрал из нее утку покрупнее.

— Возьмите,— сказал он. — На память. Я провел целый день в таком приятном обществе.

Как ни отказывался доктор, ничего не помогало.

— Ну хорошо,— вынужден он был согласиться,— я принимаю это от вас в подарок жене.

— Жене! Жене! В подарок жене,— радостно повторял Погоревших, точно слышал это слово впервые, и стал дергаться всем телом и хохотать так, что выскочивший Маркиз принял участие в его радости.

Поезд подходил к дебаркадеру. В вагоне стало темно, как ночью. Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания.

Часть шестая

МОСКОВСКОЕ СТАНОВИЩЕ

1

В дороге, благодаря неподвижному сидению в тесном купе, казалось, что идет только поезд, а время стоит, и что все еще пока полдень.

Но уже вечерело, когда извозчик с доктором и его вещами с трудом выбрался шагом из несметного множества народа, толпившегося на Смоленском.

Может быть, так оно и было, а может быть, на тогдашние впечатления доктора наслои́лся опыт позднейших лет, но потом в воспоминаниях ему казалось, что уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не было причины, потому что навесы на пустых ларях были спущены и даже не прихвачены замками, и торговать на загаженной площадке, с которой уже не смели нечистот и отбросов, было нечем.

И ему казалось, что уже и тогда он видел жавшихся на тротуаре худых, прилично одетых старух и стариков, стоявших немой укоризною мимоидущим, и безмолвно предлагавших на продажу что-нибудь такое, чего никто не брал и что никому не было нужно: искусственные цветы, круглые спиртовые кипятильники для кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние туалеты из черного газа, мундиры упраздненных ведомств.

Публика попроще торговала вещами более насущными: колючими, быстро черствевшими горбушками черного пайкового хлеба, грязными, подмокшими огрызками сахара и перерезанными пополам через всю обертку пакетиками махорки в пол-осьмушки.

И по всему рынку шел в оборот какой-то неведомый хлам, который рос в цене по мере того, как обходил все руки.

Извозчик свернул в один из прилежавших к площади переулков. Сзади садилось солнце и било им в спину. Перед ними громыхал ломовик на подсакивавшей порожней подводе. Он подымал столбы пыли, горевшей бронзою в лучах заката.

Наконец им удалось объехать ломового, преграждавшего им дорогу. Они поехали быстрее. Доктора поразили валявшиеся всюду на мостовых и тротуарах вороха старых газет и афиш, сорванных с домов и заборов. Ветер тащил их в одну сторону, а копыта, колеса и ноги встречающих едущих и идущих — в другую.

Скоро после нескольких пересечений показался на углу двух переулков родной дом. Извозчик остановился.

У Юрия Андреевича захватило дыхание и громко забилося сердце, когда, сойдя с пролетки, он подошел к парадному и позвонил в него. Звонok не произвел действия. Юрий Андреевич дал новый. Когда ни к чему не привела и эта попытка, он с поднявшимся беспокойством

стал с небольшими перерывами звонить раз за разом. Только на четвертый внутри загремели крюком и цепью, и вместе с отведенной вбок входною дверью он увидел державшую ее на весь отлет Антонину Александровну. От неожиданности оба в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как настежь откиннутая дверь в руке Антонины Александровны наполовину представляла настежь раскрытое объятие, то это вывело их из столбняка, и они как безумные бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили одновременно, друг друга перебивая.

— Первым делом: все ли здоровы?

— Да, да, успокойся. Всё в порядке. Я тебе написала глупости. Прости. Но надо будет поговорить. Отчего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вещи снесет. А, я понимаю, тебя встревожило, что не Егоровна дверь отворила? Егоровна в деревне.

— А ты похудела. Но какая молодая и стройная! Сейчас я извозчика отпущу.

— Егоровна за мукой уехала. Остальных распустили. Сейчас только одна новая, ты ее не знаешь, Нюша девчонка при Сашеньке, и больше никого. Всех предупредили, что ты должен приехать, все в нетерпении. Гордон, Дудоров, все.

— Сашенька как?

— Ничего, слава Богу. Только что проснулся. Если бы ты не с дороги, можно было бы сейчас пройти к нему.

— Папа дома?

— Разве тебе не писали? С утра до поздней ночи в районной думе. Председателем. Да, представь себе. Ты расплатился с извозчиком? Маркел! Маркел!

Они стояли с корзиной и чемоданом посреди тротуара, загородив дорогу, и прохожие, обходя их, оглядывали их с ног до головы и долго глазели на отъезжающего извозчика и на широко растворенное парадное, ожидая, что будет дальше.

Между тем от ворот уже бежал к молодым господам Маркел в жилетке поверх ситцевой рубахи, с дворницким картузом в руке и на бегу кричал:

— Силы небесные, никак Юрочка? Ну как же! Так и есть, он, соколик! Юрий Андреевич, свет ты наш, не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечье! А вам чего надо? Ну? Чего не видали? — огрызался он на любопытных. — Проходите, достопочтенные. Вылупили белки!

— Здравствуй, Маркел, давай обнимемся. Да надень ты, чудак, картуз. Что нового, хорошенького? Как жена, дочки?

— Что им делается. Произрастают. Благодарствуем. А нового — покамест ты там богатырствовал, и мы, видишь, не зевали. Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно, не разбери-бери — что! Улицы не метены, дома-крыши не чинены, в животах, что в пост, чистота, без анекдций и контрибуций.

— Я на тебя Юрию Андреевичу пожалуюсь, Маркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона. И наверное он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь Маркел, не оправдывайся. Темная ты личность, Маркел. Пора бы поумнеть Чай, живешь не у лабазников.

Когда Маркел внес вещи в сени и захлопнул парадное, он продолжал тихо и доверительно:

— Антонина Александровна серчают, слышал вот. И так завсегда. Говорят, ты, говорит, Маркел, весь черный изнутри, вот все равно как сажа в трубе. Теперь, говорит, не то что дитя малое, теперь, может, мопс, болонка комнатная и то стали понимающие со смыслом. Это, ко-

нечно, кто спорит, ну только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь, а только знающие люди книгу видали, масон грядущий, сто сорок лет под камнем пролежала, и теперь мое такое мнение, продали нас, Юрочка, понимаешь, продали, продали ни за грош, ни за полушку, ни за понюшку табаку. Не дадут, смотри, мне Антонина Александровна слово сказать, опять, видишь, машут ручкой.

— А как не махать. Ну хорошо. Поставь вещи на пол и спасибо, ступай, Маркел. Надо будет, Юрий Андреевич опять кликнет.

2

— Отстал, наконец, отвязался. Ты верь ему, верь. Чистейший ба- лаган один. При других всё дурачком, дурачком, а сам втайне на вся- кий случай ножик точит. Да вот не решил еще, на кого, казанская си- рота.

— Ну, это ты хватила! По-моему, просто он пьян, вот и паяснича- ет, больше ничего.

— А ты скажи, когда он трезв бывает? Да ну его, право, к чорту. Я чего боюсь, как бы Сашенька опять не уснул. Если бы не этот тиф железнодорожный... На тебе нет вшей?

— Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве не- много умыться? Кое-как, наскоро. А потом поосновательней. Но куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому подымаетесь?

— Ах да! Ты ведь ничего не знаешь. Мы с папой думали, думали, и часть низа отдали Сельскохозяйственной академии. А то зимой са- мим не отопить. Да и верх слишком поместительный. Предлагаем им. Пока не берут. У них тут кабинеты ученые, гербарии, коллекции семян. Не развели бы крыс. Все-таки — зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности. Теперь это называется жилой площадью. Сюда, сюда. Какой несообразительный! В обход по черной лестнице. Понял? Иди за мной, я покажу.

— Очень хорошо сделали, что уступили комнаты. Я работал в гос- питале, который был тоже размещен в барском особняке. Бесконеч- ные анфилады, кое-где паркет уцелел. Пальмы в кадках по ночам над койками пальцы растопыривали, как привидения. Раненые, бывалые, из боев, пугались и со сна кричали. Впрочем, не вполне нормальные, контуженные. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни со- стоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего. Лиш- ния мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лиш- ние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще ма- ло. Надо больше.

— Что это у тебя из свертка высовывается? Птичий клюв, голо- ва утиная. Какая красота! Дикий селезень! Откуда? Глазам своим не верю! По нынешним временам это целое состояние!

— В вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. Как ты советуешь, развернуть и оставить на кухне?

— Да, конечно. Сейчас пошлю Ньюшу ошипать и выпотрошить. К зиме предсказывают всякие ужасы, голод, холод.

— Да, об этом везде говорят. Сейчас смотрел я в окно вагона и думал. Что может быть выше мира в семье и работы? Остальное не в нашей власти. Видимо, правда, многих ждут несчастья. Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стис- нув зубы, разделять судьбу родного края. По-моему, это очевидность. Другое дело вы. Как бы мне хотелось уберечь вас от бедствий, от- править куда-нибудь в место понадежнее, в Финляндию, что ли. Но если мы так по полчаса будем стоять на каждой ступеньке, мы никогда не доберемся доверху.

— Постой. Слушай. Новость. И какая! А я и забыла. Николай Николаевич приехал.

— Какой Николай Николаевич?

— Дядя Коля.

— Тоня! Быть не может! Какими судьбами?

— Да вот, как видишь. Из Швейцарии. Кружным путем на Лондон. Через Финляндию.

— Тоня! Ты не шутишь? Вы его видали? Где он? Нельзя ли его раздобыть немедленно, сию минуту?

— Какое нетерпение! Он за городом у кого-то на даче. Обещал послезавтра вернуться. Очень изменился, ты разочаруешься. Проездом застрял в Петербурге, обольщивичился. Папа с ним до хрипоты спорит. Но почему мы, правда, останавливаемся на каждом шагу? Пойдем. Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего, трудности, опасности, неизвестность?

— Я и сам так думаю. Ну что же. Будем бороться. Не всем же обязательно конец. Посмотрим, как другие.

— Говорят, без дров будем сидеть, без воды, без света. Отменяют деньги. Прекратится подвоз. И опять мы стали. Пойдем. Слушай. Хвалят плоские железные печурки в мастерской на Арбате. На огне газеты обед можно сварить. Мне достали адрес. Надо купить, пока не расхватали.

— Правильно. Купим. Умница, Тоня! Но дядя Коля, дядя Коля! Ты подумай! Не могу опомниться!

— У меня такой план. Выделить наверху с краю какой-нибудь угол, поселиться нам с папой, Сашенькой и Ньюшей, скажем, в двух или трех комнатах, непременно сообщающихся, где-нибудь в конце этажа, и совершенно отказаться от остального дома. Отгородиться, как от улицы. Одну такую железную печурку в среднюю комнату, трубу в форточку, стирку, варку, пищи, обеды, прием гостей, всё сюда же, чтобы оправдать топку, и, как знать, может, Бог даст, перезимуем.

— А то как же? Разумеется, перезимуем. Вне всякого сомнения. Ты это превосходно придумала. Молодчина. И знаешь что? Отпразднуем принятие твоего плана. Зажарим мою утку и позовем дядю Колю на новоселье.

— Великолепно. А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает. А теперь погляди. Вот комната, о которой я говорила. Вот что я выбрала. Одобряешь? Поставь на пол чемодан и спустись за корзиной. Кроме дяди и Гордона, можно также попросить Иннокентия и Шуру Шлезингер. Не возражаешь? Ты не забыла еще, где наша умывальная? Побрызгайся там чем-нибудь дезинфицирующим. А я пройду к Сашеньке, пошлю Ньюшу вниз и, когда можно будет, позову тебя.

3

Главной новостью в Москве был для него этот мальчик. Едва Сашенька родился, как Юрия Андреевича призвали. Что он знал о сыне?

Однажды, будучи уже мобилизованным, Юрий Андреевич перед отъездом пришел в клинику проведать Тоню. Он пришел к моменту кормления детей. Его к ней не пустили.

Он сел дожидаться в прихожей. В это время дальний детский коридор, шедший под углом к акушерскому, вдоль которого лежали матери, огласился плаксивым хором десяти или пятнадцати младенческих голосов, и нянюшки стали поспешно, чтобы не простудить спеленутых новорожденных, проносить их по двое под мышками, как большие свертки с какими-то покупками, матерям на кормление.

— Уа, уа,— почти без чувства, как по долгу службы, пищали малютки на одной ноте, и только один голос выделялся из этого унисона

на. Ребенок тоже кричал «уа, уа», и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по обязанности, а с каким-то впадающим в бас, умышленным, угрюмым недружелюбием.

Юрий Андреевич тогда уже решил назвать сына в честь тестя Александром. Неизвестно почему он вообразил, что так кричит его мальчик, потому что это был плач с физиономией, уже содержавший будущий характер и судьбу человека, плач со звуковой окраской, заключавшей в себе имя мальчика, имя Александр, как вообразил Юрий Андреевич.

Юрий Андреевич не ошибся. Как потом выяснилось, это действительно плакал Сашенька. Вот то первое, что он знал о сыне.

Следующее знакомство с ним Юрий Андреевич составил по карточкам, которые в письмах посылали ему на фронт. На них веселый хорошенький бутуз с большой головой и губами бантиком стоял раскорякой на разостланном одеяле и, подняв обе ручки вверх, как бы плясал впрысядку. Тогда ему был год, он учился ходить, теперь исполнялся второй, он начинал говорить.

Юрий Андреевич поднял чемодан с полу и, распустив ремни, разложил его на ломберном столе у окна. Что это была в прошлом за комната? Доктор не узнавал ее. Видно, Тоня вынесла из нее мебель или переклеила ее как-нибудь по-новому.

Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него бритвенный прибор. Между колонками церковной колокольни, высившейся как раз против окна, показалась ясная, полная луна. Когда ее свет упал внутрь чемодана на разложенное сверху белье, книги и туалетные принадлежности, комната озарилась как-то по-другому и доктор узнал ее.

Это была освобожденная кладовая покойной Анны Ивановны. Она в былое время сваливала в нее поломанные столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный архив, тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние вещи. При жизни покойной углы комнаты были загромождены до потолка, и обыкновенно в нее не пускали. Но по большим праздникам, в дни многолюдных детских сборищ, когда им разрешали беситься и бегать по всему верху, отпирали и эту комнату, и они играли в ней в разбойников, прятались под столами, мазались жженой пробкой и переодевались по-маскараднему.

Некоторое время доктор стоял, все это припоминая, а потом сошел в нижние сени за оставленной там корзиною.

Внизу на кухне Ньюша, робкая и застенчивая девушка, став на корточки, чистила перед плитой утку над разостланным листом газеты. При виде Юрия Андреевича с тяжестью в руках, она вспыхнула, как маков цвет, гибким движением выпрямилась, сбивая с передника приставшие перья, и, поздоровавшись, предложила свою помощь. Но доктор поблагодарил и сказал, что сам донесет корзину.

Едва вошел он в бывшую кладовую Анны Ивановны, как из глубины второй или третьей комнаты жена позвала его:

— Можно, Юра!

Он отправился к Сашеньке.

Теперешняя детская помещалась в прежней его и Тониной классной. Мальчик в кроватке оказался совсем не таким красавчиком, каким его изображали снимки, зато это была вылитая мать Юрия Андреевича, покойная Мария Николаевна Живаго, разительная ее копия, похожая на нее больше всех сохранившихся после нее изображений.

— Это папа, это твой папа, сделай папочке ручкой,— твердила Антонина Александровна, опуская сетку кроватки, чтобы отцу было удобнее обнять мальчика и взять его на руки.

Сашенька близко подпустил незнакомого и небритого мужчину, который, может быть, пугал и отталкивал его, и когда тот наклонил-

ся, порывисто встал, схватился за мамину кофточку и злобно с размаху шлепнул его по лицу. Собственная смелость так ужаснула Сашеньку, что он тут же бросился к матери на грудь, зарыл лицо в ее платье и заплакал навзрыд горькими и безутешными детскими слезами.

— Фу, фу,— журила его Антонина Александровна.— Нельзя так, Сашенька. Папа подумает, Саша нехороший, Саша бяка. Покажи, как ты целуешься, поцелуй папу. Не плачь, не надо плакать, о чем ты, глупый?

— Оставь его в покое, Тоня,— попросил доктор.— Не мучь его и не расстраивайся сама. Я знаю, какая дурь лезет тебе в голову. Что это неспроста, что это дурной знак. Это такие пустяки. И так естественно. Мальчик никогда не видал меня. Завтра присмотрится, водой не разольешь.

Но он и сам вышел из комнаты как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования.

(Продолжение следует)



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

★

ЛУГ ОСЕННИЙ

* * *

Жалею тех, кто дома, кроме
Родного дома, не знавал,
Кто лишь в одном и том же доме
Рождался, жил и умирал.

И не за то его жалею,
Что он иных путей, дорог
Пытливой, ищущей своею
Душой почувствовать не смог.

И не за то его жалею,
Что он не смог назвать своей
Другую, новую аллею
Других акаций, тополей.

За то жалею, что, усталый,
Он вдруг однажды не вошел
В свой дом забытый, прежний, старый,
Внезапных, жарких слез не лил.

* * *

Луг осенний, померкший молчит
Невеселым, темнеющим кругом.
Стая воронов черных летит
Над осенним, темнеющим лугом.

Ты так низко, так близко летишь.
Ты последнюю радость уносишь?
Ты так хрипло, так трудно кричишь.
Ты грозишь? Ты о помощи просишь?

* * *

Забудь на время о покое.
К нему дорога заперта.
Смотри, ведь время-то какое:
Разруха, голод, нищета.

В тревожном, жертвенном настрое
Живи — в дыму забот, невзгод.
Смотри, ведь время-то какое:
Преображенье, стройка, взлет.

О бое, только лишь о бое
 Душа заботиться должна.
 Смотри, ведь время-то какое:
 Не на живот, на смерть война!

Прошла война, прошла разруха,
 Прошла весенних снов волна.
 Сидит усталая старуха
 У потускневшего окна.

На поле блеклое, пустое
 В окно померкшее глядит.
 А ветер воет над избою.
 А ветер в уши ей гудит:

— Забудь, старуха, о покое.
 Не все ведь в мире тишь да гладь.
 Смотри, ведь время-то какое:
 Озера стали высыхать.

Скворец на ветке не стрекочет.
 Вода не просится бежать.
 Трава кудрявиться не хочет.
 Земля не хочет хлеб рожать!

* * *

Не сгустилось над миром затмение,
 Не взвилось над землей воронье
 В час, когда потерпело крушение
 Незаметное счастье твое.

Было все и спокойно и тихо.
 И не шли поезда под откос.
 И не слышно здесь было ни крика,
 Ни проклятий, ни стонов, ни слез.

Только эхо, огнем ураганным
 Возносясь до небесных высот,
 По озерам, болотам, полянам
 До сих пор перекатно идет...

* * *

Когда-то вы друзьями были,
 Но вдруг, поссорясь, разошлись.
 И друг про друга позабыли.
 И заслонила дружбу жизнь.

Дороги разные избрали,
 О разном стали хлопотать.
 И вот случайно на вокзале
 Однажды встретились опять.

Улыбка, радость, удивление,
 Дыханье дружбы, теплоты.
 Но скорый поезд отправленье
 Ударил — и... проснулся ты.

Как хорошо, что повстречались,
 Пусть в сновиденье — не беда.

А еще лучше, что смеялись,
Как бы прорвавши пленку льда.

А еще лучше, что остались,
Как в те начальные года.
...А еще лучше, что расстались.
...Теперь, должно быть, навсегда.

* * *

Бегу я по белому летнему лугу
Сквозь легкую, жаркую, белую выюгу
В далекие дали, в счастливый предел.
А все говорят, что я повзрослел.

Бегу я безбрежным, распластанным лугом
В бесшумном плесканье, в качанье упругом,
Сквозь марево листьев, сквозь марево стрел.
А все говорят, что я постарел.

Бегу полыхающими лугами,
Лечу над сверкающими полями,
Все песней звенит. Все солнцем полно.
А все говорят, что умер давно.

* * *

Гроза промчалась, громыхая.
Но мир не ожил под грозой.
Лишь духота полей сухая
Сырой сменилась духотой.

Все те же ввысь густые токи.
И слабый, вялый пересверк.
И дымный луг. И лес высокий.
...И вот — закатный свет померк.

И тишь густая распласталась.
И льется тьма со всех сторон.
И смутно-трудная усталость
Перерастает в тяжкий сон.

* * *

— Ну зачем же ты к скорости света
Приближаешься, звездный пилот?
Ведь не это же в жизни, не это,
Ведь не это же счастье дает?

— А тебе разъяснять еще надо,
Что не я на огонь, что не я —
Что огня грозовая громада
Все летит, все летит на меня!



Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

★

СВОЙ КРУГ

Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей, все приходит как один, а кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише, сама же Мариша или все разъяренное общество, как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность, он наша гордость и величина, он, например, давно вычислил принцип полета летающих тарелок. Вычислил тут же, на обороте тетради для рисования, в которой рисует его гениальная дочь. Я видела эти вычисления, потом посмотрела совершенно нахально, на глазах у всех. Ничего не поняла, белиберда какая-то, искусственные построения, формально взятая мировая точка. Не для моего, короче говоря, понимания, а я очень умная. То, что не понимаю, того не существует вообще. Стало быть, ошибся Серж со своей искусственно взятой мировой точкой, причем он же давно не читает литературу, надеется на интуицию, а литературу читать надо. Открыл тут новый принцип работы паровоза с КПД в семьдесят процентов, опять небывалые вещи. С этим принципом начали его вывозить в свет, туда, сюда, на капичник, к академику Фраму, к академику Ливановичу. Ливанович первый опомнился, указал первоисточник, принцип открыт сто лет назад и популярно описан в учебнике на такой-то странице мелким шрифтом для высших заведений, КПД тут же оказался снижен до тридцати шести процентов, результат — фук. Тут все равно ажиотаж, образовали отдел у Ливановича, нашего Сержа ставят завож, причем без степени. В наших кругах понимающее ликование, Серж серьезно задумался над своей жизнью, те ли ему ценности нужны, решил, что не те. Решил, что лучше останется у себя в Мировом океане, все опять в шоке: бросил карьеру ради воли и свободы, в Мировом океане он простой рядовой младший научный сотрудник, ему там полная свобода и атлантическая экспедиция вот-вот, давно намечавшаяся, с заходами в Ванкувер, Бостон, Гонконг и Монреаль. Полгода моря и солнца. Хорошо, выбрал свободу, там, в его кровном детище с КПД тридцать шесть процентов отделе, уже набрали штат, взяли заведующим бездаря кандидата наук, все забыто, они начали трудиться не спеша и вразвалочку, то в буфет, то в командировку, то курят. За Сержем ездят консультироваться, вернее сначала ездили, два раза, Мариша смеялась, что в Мировом океане не знают уже, кого за кого принимать, какого-то Сержа, мэнэса, все время у них из-под носа утаскивают на консультации. Но потом это быстро прекратилось. те вошли в колею, дело ведь не простое, дело не в принципе, а в иной технологии, ради которой ломать существующее производство, не нужно электричество, все возвращается в век пара, все псу под хвост. Таким образом, вначале вместо прогресса летит к черту

вообще все, как всегда. А все это пробивает один отдельчик в пять душ, там у нас устроилась лаборанткой одна знакомая, Ленка Марчукайте, приходит, приносит утешительные новости, что кандидат наук вот-вот рождает ребенка на стороне, на него готовится письмо тех родителей, на работе он в полной отключке, орет по телефону, а комната одна, и ни о какой энергетике нет слов. Пока готовят проект решения по передаче им опытно-испытательного верстака в подвале института на три часа ночного времени. Но Сержу эта воля и свобода обернулись гораздо хуже, пришло время оформляться с анкетами в экспедицию, он в анкете написал, что беспартийный, а в год поступления в Мировой океан написал в анкете же, что член ВЛКСМ. Обе записи сравнили, выяснилось, что он самостоятельно выбыл из рядов комсомола, даже не встал в Мировом океане на учет в комсомольскую организацию, итого не заплатил членских взносов за много лет, и выяснилось, что это не поправишь ни взносами, ничем, и в океан его не пропустила комиссия. Все это, придя, рассказал тот же Андрей-отщепенец, и его оставили со всеми пить водку, и он в порыве сказал, что чтобы ему никто ничего не говорил, он за включение в экспедицию стал стукачом, но стучать обязан только на корабле, на суше он не нанимался. И действительно, Андрей ушел в океан. А Серж сидел печальный, хоть ему и дана была полная свобода, весь институт ходил в океан, а он с небольшим составом лаборанток осуществлял отправку, переписку и прием экспедиции в Ленинграде. Однако это было давно и неправда, кончились те дни, когда Серж и Мариша совместно тосковали о будущем Сержа и стойко держались, кончились все дни понимания, а наступило черт знает что, но каждую пятницу мы регулярно приходим, как намагниченные, в домик на улице Стулиной и пьем всю ночь. Мы — это Серж с Маришей, хозяева дома, две комнаты, за стеной под звуки магнитофона и взрывы хохота спит стойко воспитанное дитя, дочь Соня, талантливая, своеобразная девочка-красавица, теперь она моя родственница, можете себе представить, но об этом впереди. Мои родственники теперь также и Мариша и сам Серж, хоть это смешной результат всей нашей жизни и простое кроветворение, как выразилась Таня, когда присутствовала на бракосочетании моего мужа Коли с женой Сержа Маришей, но об этом после.

Значит, вначале было так: Серж с Маришей, их дочь за стеной, а тут сбоку припека, мой муж Коля — верный, преданный друг Сержа; Андрей-стукач сначала с одной женой, Анютой, потом с разными другими женщинами, потом с постоянной Надей; дальше Жора — еврей наполеовину, по матери, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке, кроме меня: однажды Мариша, наше божество, решила похвалить невзрачного Жору и сказала, что у Жоры большие глаза — какого же цвета? Все говорили, кто желтые, кто светло-карие, а я сказала: еврейские, и все почему-то смутились, и Андрей, мой вечный враг, крикнул. А Коля похлопал Жору по плечу. А чего, собственно, я сказала? Я сказала правду. Дальше: с нами всегда была наша Таня, валькирия метр восемьдесят росту, с длинными белокурыми волосами, очень белыми зубами, которые она маниакально чистила три раза в день по двадцать минут (час — и ваши зубы будут белоснежными), а также с очень большими серо-голубыми глазами, красавица, любимица Сержа, который ее иногда гладил по волосам, очень сильно напившись пьяным, и никто ничего не понимал; а тут же сидела Мариша как ни в чем не бывало, а я сидела тут же и говорила Ленке Марчукайте: «Почему ты не танцуешь, потанцуй с моим мужем Колей», — на что в ответ все грубо хохотали, но это уже был самый закат нашей общей жизни.

Тут же была Ленка Марчукайте, девка очень красивая, бюст пятого размера, волосы длинные, русые, экспортный вариант, двадцать лет. Ленка вначале вела себя как аферистка, каковой она и была,

работая в магазине грампластинок. Она втерлась к Марише в доверие, рассказав ей о своей тяжелой жизни, потом хапнула у нее двадцать рублей и ходила с этим долгом как ни в чем не бывало, потом исчезла, вернулась без четырех передних зубов, отдала двадцать рублей («Вот видите?» — победно сказала Мариша) и сказала, что лежала в больнице, где ее приговорили, что у нее не может быть детей. Мариша еще более ее полюбила, Ленка у нее только что не нечевала, но без зубов это уже было другое, не экспортное исполнение. Ленка с помощью Сержа устроилась лаборанткой в его тридцатишести процентном отделе, вставила себе зубы, вышла замуж за еврейского мальчика-диссидента Олега, который оказался сыном известной косметички Евы Лазаревны, и в этой богатейшей семье Ленка была некоторое время как бы нашим лазутчиком, со смехом рассказывала, какая у Евы спальня, какие шкафы, за каждый из которых можно прожить жизнь в долларах, и что Ева подарила ей еще, Ева баловала Ленку и говорила, что ее кожа — это естественное богатство. Кожа у Ленки была действительно редкой природной тонкости, белый жир и красная кровь давали небывалое сочетание даже в разное время дня, все равно как закат или восход, а губы у нее вообще были красные как кровь. Такая же кожа бывает сплошь у всех детей, у моего Алешки, например. Но Ленка обращалась с собою пренебрежительно, бегала по разным притонам как вертихвостка, себя не ценила и наконец объявила, что ее Олег уезжает со всеми своими через Вену в Америку, а она не поедет, — и не поехала, разошлась с Олегом и стала отличаться тем, что, придя в дом, тут же садилась к кому-нибудь из мужчин на колени и прекрасно себя чувствовала, а бедные наши мальчики — хоть мой Коля, хоть стукач Андрей, хоть Жора — криво при этом ухмылялись. Только Сержу она не рисковала садиться на колени, Серж был неприкосновенным, да еще тут же находилась Мариша, обожаемая Ленкой, и над Маришей смеяться Ленка не могла, как она смеялась над всеми нами и над молодой женой Андрея-стукача, которая вспыхнула и ушла на кухню, когда Ленка плюхнулась на колени к Андрею, ничего при этом не подразумевая. Эта жена Надя была еще моложе Ленки, ей вообще было восемнадцать лет, а дать ей можно было пятнадцать, худая, тонкая, рыжая, испорченная по виду школьница, на это только и мог клюнуть Андрей, который давно был известен благодаря болтливости своей казенной жены Анюты как полный импотент, которому ничего не нужно. Испорченная-то Надя испорченная, но вышла замуж и стала баба бабой, откроет пасть эта нимфетка и поет: то-то она сварила, так-то Андрей пил, и она его не пускала больше пить, то-то они купили. Единственное, что при ней осталось от ее испорченности и извращенности — это выпадающий глаз, который при каких-то неловких движениях выскальзывал из орбиты и вываливался на щеку, как яйцо всмятку. Страшное, должно быть, зрелище, но Андрей с этим носился, возил Надю, держащую глаз на ладони, в больницу, там ей этот глаз вправляли, и вот в эту ночь Андрей, я думаю, бывал на высоте. И с предыдущей, Анютой, Андрей жил ради волнующих моментов ее припадков, когда он возил ее, закутанную в одеяло, в «скорых помощах» из больницы в больницу, пока не выяснилось, что у нее болезнь — так называемая ядовитость, проще говоря, бесплодие. Эта ядовитость Анюты имела хождение в нашем кругу, и на Анюте и Андрее лежала печать обреченности. У всех у нас уже были дети, у Жоры трое, у меня Алеша, и стоило мне не появляться в доме Сержа и Мариши недели две, как по рядам проходила весть, что я рожаю в роддоме: так они шутили над моим телосложением. У Тани был сын, известный тем, что во младенчестве имел прозвище Мумия Кошки. У Андрея же и у Анюты детей быть не могло, и их было жалко, поскольку без детей как-то нелепо жить и не принято было жить, самый-то эффект заключался в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувство-

вать себя людьми и загулять на полную мощность, даже вплоть до вызова милиции той, другой стороной улицы Стулиной. У Анюты же и у Андрея была обреченность, пока однажды Анюта вдруг не родила дочь ни с того ни с сего, почти не изменившись! Ликование было полным, Андрей в ночь родов принес Сержу две бутылки водки, вызвали моего Колю и всю ночь пили, и Андрей сказал, что назовет свою дочь Маришей в честь Мариши, и Мариша была неприятно задета этой честью. Но делать нечего, не запретишь, и прихлебала Андрей назвал дочь Маришей. Но на этом праздник, а также семейная романтика закончились, и Андрей, надо думать, надолго забросил свои супружеские обязанности, а Анюта, наоборот, почувствовала свою обыкновенность, стала как все женщины безо всяких припадков и в связи с этим стала приглашать в течение год продолжавшегося декретного отпуска все новых и новых друзей, и тут Андрей ушел на ролях стукача в плавание, а вернувшись нашел у себя в доме целый рой знакомых, привлеченных, по-видимому, холостым состоянием Анюты, прежде ядовитой. Андрей нашел новую романтику в своем положении брошенного мужа, стал романтически приводить к Сержу и Марише отборных девушек, а Ленка Марчукайте нагло садилась к нему на колени, как бы припечатывая его уже истощившиеся, сделавшие свое дело чресла. Это у нее была такая шутка и издевательство.

Она села как-то на колени и к моему Коле. Коля, худой и добрый, был буквально раздавлен весом Ленки и физически и морально, он не ожидал такого поворота событий и только держал руки подальше и бросал умоляющие взоры на Маришу, но Мариша резко отвернулась и занялась разговором с Жорой, и вот тут я начала что-то понимать. Я тут начала понимать, что Ленка дала маху, и сказала:

— Лена, ты дала маху. Мариша ревнует тебя к моему мужу.

Ленка же беззаботно скрючила рожу и осталась сидеть на Коле, который совершенно завял, как сорванный стебелек. Тут, я думаю, началось охлаждение Мариши к Ленке, которое и привело к постепенному исчезновению Ленки Марчукайте, особенно когда та в конце концов родила мертвого ребенка, но это уже было потом. А в тот момент все в ответ как-то преувеличенно захлопотали, Таня чокнулась с Сержем, Жора наливал, подал навьюченному Коле и холодной Марише, Андрей галантно заговорил со своей дурой Надюшей, которая победоносно смотрела на меня, жену придавленного мужа.

К Жоре Ленка Марчукайте, однако, садиться не рисковала никогда, это было небезопасно, поскольку Жора демонстрировал, как многие маленькие мужчины, постоянное возбуждение и любил всех — Маришу, Таню и даже Ленку, и Ленка, существо совершенно холодное, рисковала вызвать у Жоры покушение на изнасилование при всех, как это уже было с одной дамой Андриуши, притворявшейся в танце с Жорой жутко темпераментной, а с Жорой этого допускать было нельзя, и Жора, когда кончилась музыка, прямо схватил свою рослую даму за подмышки и поволок в соседнюю комнату как бы в беспамятстве, а в соседней комнате, это было хорошо известно, в эту ночь никто не спал, дочь Мариши и Сержа находилась у бабушки. Жора успел свалить ополоумевшую даму на маленькую кровать Сонечки, но пришли невольно усмехающиеся Серж и Андрей и оттащили Жору, и переполошенная дама одернула задравшееся по ходу дела платье. Событие вызвало жуткий смех на всю ночь, но кроме того, все, кроме посторонней дамы, знали, что тут есть игра, что Жора все играет со студенческих лет в бонвивана и распутника, а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим трем детям, и только по пятницам он набрасывает на себя львиную шкуру и ухаживает за дамами, пока ночь.

Но осторожная Ленка, которая тоже играла в сексуальные игры с большим хладнокровием, не рисковала вызывать Жору на его привычную роль, это уже было бы слишком, два спектакля, это обязывало

к какому-то завершению: Ленка сядет, Жора немедленно начнет лапать и так далее, а этого Ленка не любила, как, в сущности, не любил этого и Жора. Впрочем, Ленка Марчукайте была и прошла, как того захотела Мариша, была и исчезла, и когда я вспоминаю ее вслух и при всех, это звучит как очередная бестактность.

У меня все как-то перепуталось в памяти в связи с последними событиями в моей жизни, а именно в связи с тем, что я начала слепнуть. Десять ли лет прошло в этих пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские или югославские события, прошли такие-то процессы, затем процессы над теми, кто протестовал в связи с результатами первых процессов, затем процессы над теми, кто собирал деньги в пользу семей сидящих в лагерях,— все это пролетело мимо. Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности, как-то повадился ходить на пятницы участковый милиционер Валера, человек, знающий самбо, заносчивый и упрямый. Дверь в квартиру не закрывалась по пятницам, прямо с тротуара три ступеньки — и дверь; он пришел в первый раз, спросил у всех документы в связи с жалобой жильцов противоположного дома по улице Стулиной на превышение шума после одиннадцати часов вечера и вплоть до пяти утра. Валера тщательно проверил у всех документы, вернее проверил их наличие, потому что ни у кого из мальчиков паспортов не оказалось. У девочек он не проверял, это в дальнейшем навело на мысль, что Валера кого-то искал, всю последующую неделю все оживленно и нервно перезванивались, все были жутко смущены, испуганы и горели огнем. Действительно, в нашу тихую обитель, в которой шумел только магнитофон, ворвалась какая-то опасность, мы оказались в центре событий из-за Валеры и проверки документов. К следующей пятнице все уже точно предполагали, что Валера ищет американского русского, Левку, который уже год живет с закончившейся визой, скитаясь по частным квартирам и притонам, причем живет не из желания не возвращаться в Штаты, а просто прогулял срок, за что, ему сказали, по нашим законам полагается отсидка, и тогда он стал скрываться, и его все привечали с шумом и смехом, а у Мариши я его ни разу не видела, у соседей же Маришиных по дому, подозрительной компании, состоящей из двух вечных студентов без постоянной московской прописки и их разноплеменных сожителей, Левка-американец иногда ночевал на полу и один раз по случайности, как рассказали студентки, придя за рублем, переночевал с дочерью министра Римкой со второго курса факультета журналистики. Левки же американца затем простыл и след, а Римма не имела претензий и теперь, говорят, в свою очередь скиталась по всем притонам в поисках Левки, которому она отдала все, по русскому понятию. С тех пор, говорят, Левка не ночевал на улице Стулиной, и, таким образом, Валера даром приходил.

Однако Валера пришел опять в пять минут двенадцатого, пришел, чтобы выключить магнитофон, магнитофон выключили и сидели пили в тишине, и Валера сидел с непонятными намерениями: то ли он решил все-таки дождаться Левку, то ли ему просто нужно было известить под корень нашу безобидную компанию, и он просто сидел и не уходил. Мариша, горячо убедившая всех, что все люди интересны, у нее вечно ночевали какие-то подобранные с вокзалов, месяц жила женщина с годовалой парализованной девочкой, приехавшая в институт педиатрии на консультацию без права госпитализации,— Мариша первой нашла ключ и стала вести себя так, что Валера — это несчастный и одинокий человек, в этом доме ведь никому незнакомому не отказывали в приеме, только редко кто решался навязываться. Мариша, а за ней и Серж возбужденно стали разговаривать с Валерой на разные темы, дали ему стакан сухого вина, пододвинули черный хлеб и сыр, единственное, что было на столе, и Валера не увильнул ни от одного

вопроса и ни разу не почувствовал никаких уколов самолюбия. Так, например, Серж спросил:

— Ты что, ради прописки в милицию пошел?

— У меня прописка еще раньше,— ответил Валера.

— Ну а чего ты служишь?

— Трудный участок,— ответил Валера,— я знаю самбо, самбист, но из-за травмы плеча не получил второго разряда еще в армии. В самбо, если тебя скрутят, то надо подать звуковой сигнал.

— Какой звуковой? — спросила я.

— Хотя бы, извиняюсь за выражение, кашлянуть или выпустить газы, чтобы не сломали руку.

Я тут же спросила, как это можно выпустить газы по заказу.

Валера ответил, что он не успел подать громкий звуковой сигнал и что ему вынесли руку из предплечья, а так он имеет полный третий разряд. Потом, не переводя дыхания, Валера изложил свою точку зрения на существующий порядок вещей и на то, что скоро все изменится и все будет как при Сталине, а при Сталине вот был порядок.

Короче говоря, весь вечер у нас прошел в социологических исследованиях образа Валеры, и в конце концов то ли он все-таки оказался находчивей, то ли наша общая роль была пассивной, но вместо обычного анкетирования, как это у нас уже не раз бывало с залетными пташками типа проституток, приводимых Андреем, или с теми, кто, заинтересовавшись музыкой, останавливался под окном на тихой улице Стулиной, и завязывал с нами через подоконник разговор, и в конце концов влезал в комнату тем же путем, и был затем вынужден отвечать на целый ряд вопросов,— на сей раз дело повернулось иначе, и Валера, конкретно не касаясь своих служебных обязанностей, битый час громко поучал нас, как было при Сталине, и никто особенно ему не противоречил, все боялись, видимо, провокаций, боялись высказать перед представителем власти свои взгляды, да и вообще это было у нас не принято — выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом в бедняцкой комнате Мариши и Сержа.

В двенадцать все как оплеванные поднялись и пошли, но не Валера. Валере то ли было негде провести ночь дежурства, то ли у него было четкое задание, но он сидел у Мариши и Сержа до утра, и Серж высказался, и это было потом передано массам через Маришу по телефону, что это самый интересный человек, какого он встречал за последние четыре года, но это у него была защитная формулировка и не более того. Серж целиком принял на себя Валеру, так как Мариша ушла спать на пол в комнату Сонечки, а вот Серж остался, как мужчина, и пил с Валерой чай из зверобоя, целый чайник мочегонного, причем Валера ни разу не отошел в сортир и убрался, только когда кончилось его дежурство по участку. Валера, видимо, не хотел оставить свой НП ни на секунду и совершил подвиг сдержанности. Со своей стороны, Серж тоже не отходил, опасаясь обыска в свое отсутствие.

Как бы там ни было, та пятница была пятницей пыток, и мы все сидели не в своей тарелке. Ни Ленка Марчукайте ни разу не уселась на колени ни к кому, тем более к Валере, ни Жора ни разу не крикнул в форточку прохожим школьницам «девственницы!», только я все спрашивала, как это самбисты научаются пускать звуковые сигналы — усилием воли или специально питаюсь. Мне хватило этой темы на целый вечер, поскольку Валера единственно чего избегал — это именно этой подачи сигналов. Он как-то морщился, уклонялся от темы, ни разу больше не вспоминал насчет этих звуковых сигналов и невзлюбил меня, как все, с первого взгляда и навеки. Но крыть ему было нечем, поскольку обидное слово, которое я повторяла на все лады,

видимо, не значится в неопубликованном списке тех слов, за произнесение которых в публичном месте сажают на пятнадцать суток, тем более что Валера сам первый его произнес. И я одна встревала в тот умственный разговор, который с помощью наводящих вопросов затеял Серж, надеясь все-таки вознестись на позиции насмешливого наблюдателя жизненных явлений, за какое-то жизненное явление мог бы сойти Валера, но Валера плевать хотел на отеческие вопросы Сержа, а пер напролом и говорил опасные для своего служебного положения вещи насчет того, что многие многое понимают и недолго всем вам тут гулять и что хозяин придет.

— Но все-таки,— встревала я,— это где вас учат пускать газы? Но вы не научились, я вижу, потому что не смогли вовремя пустить и не получили разряда.

— В армии такие ребята, такой техсостав,— продолжал Валера,— у них в руках техника, у них в руках все, знающие ребята, и у них есть в голове.

Серж же спрашивал, к примеру, часто ли приходится дежурить ночью и где дали комнатку. Мариша спрашивала, женат ли Валера и есть ли дети, тоном своей обычной доброты и участливости. Таня, наша валькирия и красавица, только тихо ржала и комментировала вполголоса, нагнувшись над стаканом, особенно яркие реплики Валеры и адресовалась все время к Жоре, как бы поддерживая его в этой трудной ситуации, где он, полудеврей, предъявил Валере паспорт (у него единственного был паспорт на этот раз), который Валера вслух зачитал: «Георгий Александрович Перевошиков, русский».

Да, в этот свой второй визит Валера опять спрашивал паспорта, и опять проверил паспорт у Сержа, и опять не получил паспорт ни у Андрея, ни у моего Коли, ни у случайно забредшего на эту опасную вечеринку постороннего — редко бывавшего в Москве христианина Зильбермана, который был жутко напуган и предъявил вместо паспорта свой старый студенческий билет, по каковому студенческому он вечно получал железнодорожные билеты со скидкой. Валера отобрал у Зильбермана билет, просто положил в карман, и Зильберман смылся, спросив громко, где тут туалет. Валера, хоть и угрожал вначале отвести Зильбермана вплоть до выяснения личности, не сделал вслед ни шагу, а мы все стояли и мучились, как же теперь бедный Зильберман будет бояться и трястись и к его положению прибавится еще положение находящегося на крючке. Но, видимо, Зильберман не был нужен Валере.

Мне было интересно, как поведет себя стукач Андрей, но Андрей тоже повел себя осторожно и сдержанно. Как только выключили магнитофон, Андрей потерял возможность танцевать с кем ему хотелось, а танцевал он капризно, иногда вообще не танцевал, а его жена Надя, обабившаяся до последней степени, несмотря на свой вид испорченного подростка, сидела в это время тоже как истукан и задним числом ревновала, — так вот, Андрей сел рядом со своей Надей. А у Нади отец был полковник на взлете, и все речи Валеры как младшего состава Надя воспринимала только сквозь призму того, что на вопрос Сержа, какой ему присвоили все-таки чин, Валера ответил, что многие бы хотели, чтобы не присвоили, а ему присвоили сразу лейтенанта. Надя сразу освоилась одна среди всех, стала ходить взад-вперед, повела Андрея звонить какой-то Ирочке и потом вообще увела Андрея, и Валера никак не отреагировал. Возможно, если бы мы все ушли, он бы все равно остался, здесь была его точка,— а возможно, и нет.

Мы с Колей на сей раз не потратились на такси, а успели после метро на автобус и приехали домой как люди и обнаружили, что Алешка не спит в полвторого ночи, а сидит осоловелый перед телевизором, экран которого горит впустую. Это было наше первое ночное возвращение с пятницы — не утреннее, и мы увидели, что Алешка тоже по-своему празднует эту ночь, а он, когда я его укладывала, ска-

зал, что боится спать один и боится гасить свет. Действительно, свет горел везде, а ведь раньше Алешка не боялся, но раньше ведь был дед, а недавно дед умер, мой отец, а моя мать умерла три месяца перед тем, за одну зиму я потеряла родителей, причем мать умерла от той болезни почек, которая с некоторых пор намечалась и у меня и которая начинается со слепоты. Как бы там ни было, я обнаружила, что Алешка боится спать, когда никого нет дома. Видимо, тени бабушки и дедушки вставали перед ним, мой отец с матерью воспитывали его, баловали и растили, а теперь Алешка остается один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал орать на Алешку, когда тот ел вместе с нами,— Коля, видимо, собирался уйти от меня, причем уйти он собирался не к кому другому, как к Марише.

Я уже говорила, что над нашим мирным пятничным гнездом пролетели многие годы, Андрей из златоволосого юного Париса успел стать отцом, брошенным мужем, стукачом на экспедиционном корабле, опять законным мужем и обладателем хорошей кооперативной квартиры, купленной полковником для Надюши, и, наконец, алкоголиком; он все еще любил одну Маришу всю свою жизнь начиная со студенческих лет, и Мариша это знала и ценила, а все другие дамы на его жизненном пути были просто замещением. И коронным номером Андреевой программы были танцы с Маришей, один-два священных танца в год.

Жора также вырос из охальника-студента в скромного, нищего старшего научного сотрудника в самой дешевой рубашке и брюках темно-серого цвета, отца троих детей, этакое будущего академика и лауреата без притязаний, но в нем всегда было и сидело в самом его нутре одно: любовь к Марише, которая любила всегда только Сержа и больше никого.

Далее, мой Коля тоже боготворил и любил Маришу, они все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длилась до сих пор, пока не дошла до того, что Серж, которому досталась прекрасная Мариша, жил-жил с ней и вдруг нашел себе любимую женщину, еще со школьной скамьи, и однажды в праздник Нового года, когда все напились и играли в шарады, он сказал: «Пойду позвоню любимой женщине»,— и все как громом были поражены, ибо если мужчины любили Маришу и считали Сержа единственным человеком, то мы все любили Маришу и Сержа в первую голову, Серж всегда был у всех на устах, хотя сам мало говорил, это его так вознесла Мариша, которая любила его коленопреклоненно, то ли как мать, то ли как сподвижница, благоговела перед каждым его словом и жестом, потому что когда-то в свое время, еще на первом курсе, когда Серж ее полюбил в числе прочих и предлагал ей жениться и спал с ней, она ушла от него, сняла комнатку с неким Жаном, поддалась эротическому влечению, отказалась от первой и чистой любви Сержа, а потом Жан ее бросил, и она сама, своей властью пришла к Сержу, теперь уже навеки отказавшись от идеи эротической любви на стороне, сама предложила ему жениться, они женились, и Мариша иногда со священным восторгом проговаривалась, что Серж — это хрустальный стакан. Я бы сказала ей теперь, чтобы она не спала с хрустальным стаканом, все равно не выйдет, а выйдет, так порежешься. Но тогда мы все жили какими-то походами, кострами, пили сухое вино, очень иронизировали надо всем и не касались сферы пола, так как были слишком молоды и не знали, что нас ждет впереди; из сферы пола весь народ волновало только то, что у меня был белый купальник, сквозь который все просвечивало, и народ потешался надо мной как мог; это происходило, когда мы все жили в палатках где-нибудь на берегу моря, и сфера пола проступала также и в том, что Жора жаловался, что нет уборной и что в море с этим делом трудно. В остальном

тот же Жора кричал про отдыхающих женского пола, что им нужен хороший абортарий, а Андрей романтически ходил на танцы за шесть километров в город Симеиз к туберкулезным девушкам, а Серж упорно ловил рыбу с помощью подводной охоты и так осуществлял свою мужественность, а ночами я все слышала, как из их палатки несется мерное постукивание, но Мариша была всю свою жизнь беспокойным существом с огнем в глазах, а это не говорило ничего хорошего о способностях Сержа, а мальчики все были на стреме по поводу Мариши и, казалось, хотели бы коллективно возместить пробел, да не могли пробиться. В сущности, этот сексуальный огонь, который пожирал Маришу, жрицу любви, в сочетании с ее же недоступностью позволял столь долгое время держаться нашей общей компании, поскольку чужая любовь заразительна, это уже проверено. Мы, девочки, любили Сержа и любили вместе с тем и Маришу, переживали за нее и так же, как она, раздираемы были на части, но по-своему — с одной стороны, любить Сержа и мечтать заменить Маришу, с другой стороны, не мочь этого сделать из-за сочувствия Марише, из-за любви и жалости к ней. Короче говоря, все было полно неразделимой любовью Мариши и Сержа, неосуществимостью их любви, и на это клевали все. А Серж бесился, единственный, у кого были все права. Однажды эта язва прорвалась, хоть и не совсем, когда среди обычных безобидных сексуальных разговоров за столом — это были разговоры чистых людей, способных поэтому говорить о чем угодно, — когда речь зашла о книге польского автора «Сексопатология». Это было нечто новое для всего нашего общества, в котором до сих пор каждый жил так, как будто его случай единственный, ни самому посмотреть, ни другим показать. Новая волна просвещения коснулась, однако, и нашего кружка, и я сказала:

— Мне рассказывали про книжку «Сексопатология», и там половой акт разделяется на стадии, супруги возбуждают друг друга. Серж, надо сначала, оказывается, гладить мочку уха партнера! Это эрогенная зона, оказывается!

Все замерли, а Серж сказал тут же, что относится ко мне резко отрицательно, начал брызгать слюной и кричать, а мне что, я сидела как каменная, попавши в точку.

Но это было еще до того, как Серж нашел себе любимую женщину на своей же улице детства, встретил свою юношескую эротическую мечту, теперь полную брюнетку, как доносили некоторые осведомленные лица, и до того, как в квартиру на улице Стулиной стал регулярно приходить милиционер Валера и так бороться за тишину после одиннадцати часов вплоть до семи утра, и также это произошло до того, как я стала постепенно обнаруживать, что слепну, и уж тем более до того, как я нашла, что Мариша ревнует моего Колю к Ленке Марчукайте.

Значит, в мгновение ока развязались все узлы: Серж перестал ночевать дома, отпали все пятницы, и начались такие же пятницы в безопасном месте, в комнате валькирии Тани, хотя и при участии ее сына-подростка, ревновавшего мать абсолютно ко всем. Далее подростка изолировали, отправляя его по пятницам ночевать вместе с девочкой Сонечкой на улице Стулиной, по поводу чего я заметила, что детям полезно спать друг с другом, но на меня не обратили внимания, как всегда, а я говорила правду.

Вообще, накатила какая-то волна бурной жизни в промежутках между пятницами: у Мариши погиб отец, как-то посетивший ее на улице Стулиной и на этой же улице в тот же вечер попавший под автомобиль в непопулярном месте, да еще, как показало вскрытие, в нетрезвом состоянии, поскольку отец Мариши сильно выпил с Сержем перед уходом домой. Все сплелось в этом страшном несчастном случае: то, что отец Мариши хотел по-мужски побеседовать с Сержем, зачем он бросает Маришу, и то, что разговор этот проис-

ходил вечером, когда Сонечка еще не спала, а Мариша и Серж скрывали от Сонечки, что Серж не ночует дома, Серж нежно укладывал Сонечку спать и тогда только уходил к другой, а утром так и так Соня всегда просыпалась в школу, когда Серж уже был в дороге на работу, а после работы, с шести до девяти, Серж отбывал вахту при дочери, занимался с ней музыкой, сочинял с ней сказки, — и вот в этот-то елейный промежуток и внедрился расстроенный Маришин отец, который, кстати, сам давно уже жил с другой семьей, имел большой печальный опыт и имел нового сына двадцати лет. Маришин отец выпил, безрезультатно наговорил бог знает чего и безрезультатно погиб под машиной тут же, у порога дочернего дома, на самой улице Стулиной, в тихое вечернее время в полдесятого.

У меня в тот же период тихо догорела мать, растаяла с восьмидесяти килограммов до двадцати семи, причем умирала она мужественно, всех подбадривала, и меня тоже, и врачи под самый конец взялись найти у нее несуществующий гнойник, вскрыли ее, случайно пришили кишку к брюшине и оставили умирать с незакрывающейся язвой величиной в кулак, и когда нам ее выкатили умершую, испоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком, и начала думать, что это не моя мама, а моя-то мама где-то в другом месте. Коля не принимал участия во всех этих процедурах, мы ведь были с ним формально разведены уже пять лет назад, только оба не платили за развод, помирившись на простом совместном проживании как у мужа и жены и без претензий, жили вместе, как живут все, а тут он, оказывается, взял и заплатил за развод и после похорон так трезво мне предложил, чтобы и я заплатила, и я заплатила. Потом скончался мой насмерть убитый горем отец, скончался от инфаркта, легко и счастливо, во сне, так что я ночью, встав к Алешке прикрыть его одеялом, увидела, что папа не дышит. Я легла снова, долежала до утра, проводила Алешку в школу, а потом папу в больничный морг.

Но все это было между пятницами, и несколько пятниц я пропустила, а через месяц была Пасха, и я пригласила всех приехать снова, как каждый год, к нам с Колей. Раз в год на Пасху мы все собирались у нас с Колей, я готовила вместе с мамой и папой много еды, потом мама и папа брали Алешку и отправлялись к нам на садовый участок за полтора часа езды, чтобы сжечь палую листву, прибраться в домике и что-то посадить, и там, в неотопливаемом домике, они и ночевали, давая моим гостям возможность всю ночь есть, пить и гулять. И на этот раз все было так же, и чтобы все было так же, я сказала Алешке, что он поедет один на все тот же садовый участок и переночует там, другого выхода не было, он был уже взрослый, семь лет, дорогу знал прекрасно, и я еще предупредила его, чтобы он ни в коем случае не возвращался и не звонил в дверь. И он отправился, одинокий странник, а мы как раз утром в это воскресенье были с ним на могиле дедушки с бабушкой, он впервые был на кладбище и таскал мне воду в ведре, мы посадили на могилах маргаритки. Он должен был начинать с этих пор новую жизнь, мы пообедали наскоро хлебом с колбасой, сыром и чаем — из того, что предполагалось на праздничный стол, и Алеша отправился без отдыха дальше на садовый участок, а я стала делать тесто для пирогов с капустой, больших средств у меня теперь не было. Пирог с капустой, пирог с маминым вареньем, салат картофельный, яйца с луком, свекла тертая с майонезом, немного сыра и колбасы — сожрут и так. И бутылка водки. В сущности, я зарабатывала немного, от Коли ждатель не приходилось, он чуть ли не вообще переехал жить к своим родителям, а в редкие моменты посещений кричал на Алешу, что тот не так ест, не так икает, не так сидит и роняет крошки на пол, и в заключение орал, что тот все время смотрит телевизор и вырастает черт те чем, не читает ничего, сам не рисует, ничего. Этот бессильный крик был кри-

ком зависти в адрес Сонечки, которая пела, сочиняла музыку, была в гнесинской музыкальной школе, куда конкурс один к тремстам, много читала с двух лет и сама писала стихи и сказки. В конечном итоге Коля любил Алешу, но он бы любил его гораздо больше, если бы ребенок был талантливый и красивый, блестящий в учебе и сильный в отношениях с товарищами. Тогда бы Коля любил его гораздо больше, а так он видел в нем себя самого и бесился, особенно бесился, когда Алеша ел. У Алеши были плоховатые зубы, в семь лет еще не выросшие как следует впереди, Алеша еще не освоился со своим сиротством после дедушки с бабушкой и ел рассеянно, большими кусками и не жуя, ронял на штаны капли и крошки, беспрестанно все проливал и в довершение начал мочиться в постель. Коля, я думаю, вылетел как пробка из нашего семейного гнезда, чтобы не видеть своего облитого мочой сына, на тонких ногах дрожащего в мокрых трусах. Когда Коля в первый раз застал, проснувшись от Алешиного плача, это безобразия, он саданул Алешу прямо по щеке ладонью, и Алеша легко покатился обратно на свою мокрую, кислую постель, но он не очень плакал, поскольку чувствовал даже облегчение, что вот его наказали. Я только усмехнулась и вышла вон и пошла на работу, оставив их расхлебывать. В этот день у меня было исследование глазного дна, которое показало начинающуюся наследственную болезнь, от которой умерла мама. Вернее, доктор не сказала окончательного диагноза, но капли прописала те самые, мамины, и назначила те же самые анализы. Все начиналось теперь у меня, такие были дела, до того ли мне было, что Алеша мочится в постель и что Коля его ударил. Передо мной открывались новые горизонты, не скажу какие, и я начала принимать свои меры. Коля ушел, я вернулась домой и не застала Колиных носильных вещей, остальное все он благородно оставил, надо ему отдать справедливость. И вот наступила Пасха, я испекла пироги, раздвинула стол, застелила его скатертью, расставила тарелки, рюмки, салаты, колбаску и сыр, хлеб, было даже немного яблок, материна подруга подарила, принесла кулек редких по весеннему времени яблок и крашенных яиц, и я отнесла часть на кладбище, покрошила птицам на дощечку, и мы с Алешей тоже поели. Помню, что кругом в оградах стояли люди, возбужденно разговаривали, пили на воздухе, закусывали, у нас еще сохранились эти традиции пасхальных пухников на кладбищах, когда кажется, что все обошлось в конце концов хорошо, покойники лежат хорошо, за них пьют, убраны могилки, воздух свежий, птицы, никто не забыт и ничто не забыто, и у всех так же будет, все пройдет и закончится так же мирно и благополучно, с бумажными цветами, фотографиями на керамике, птичками в воздухе и крашеными яйцами прямо в земле. Алеша, мне кажется, поборол свой страх, сажал со мной рассаду маргариток все смелей и смелей в этой земле, почва у нас в Люблино чистая и песчаная, родителей я сожгла, только кубки с пеплом стояли в глубине, ничего страшного, все позади, и Алеша бегал и поливал, а потом мы сходили помыли руки и ели яйца, хлеб и яблоки, а остатки разложили и покрошили, как это делали на других, соседних могилах многочисленные посетители. И когда мы ехали домой, в автобусе и метро все хоть и были под банкой, но какие-то дружные, благостные, словно заглянули в загробный мир и увидели там свежий воздух и пластмассовые цветы и дружно выпили за это дело.

Так что вечером этого дня, одна и свободная, я дождалась слегка смущенных своих ежегодных гостей, которые явились все как один, потому что Мариша не могла не прийти, она очень смелая женщина и благородных кровей, а остальные пришли благодаря ей, и Серж был тут же, и мой бывший теперь уже муж Коля точно с такими же, как у Алеши, разрушенными зубами, Коля пришел и отправился на кухню разгружать все, что они принесли, а принесли они уже сваренную картошку с укропом и огурцы, а также много вина

с перспективой на всю ночь. А почему бы им было и не погулять, когда пустая чужая квартира и есть еще щекотливое обстоятельство, то есть как я восприму приход моих новобрачных родственников Коли и Мариши, поскольку они только вчера расписались, так все и было, и тут же был Серж, немножко более нетерпеливый, чем обычно, к выпивке, они с Жорой тут же пошли обмывать все происшедшее. Ленки Марчукайте давно не было и в помине, говорят, она ходила где-то с затынутой теплым платком грудью, кто-то ее видел в метро после рождения мертвого ребенка, она не жаловалась, только пожаловалась, что молоко пришло. Так вот, Андрей-стукач поставил пластинку, Надя, его малолетняя, стала изображать из себя опять семейную бабу и рассказала мне, сколько алиментов платит Андрей и что ему бесполезно даже писать диссертацию, так все и уйдет на алименты. А когда они кончатся? Через четырнадцать лет, когда Наде стукнет тридцать три года, и только тогда можно будет родить ребенка, уже своего. Вошла Таня-валькирия, радостно сверкая зубами и глазами, и я ее спросила, вместе ли положили Сонечку и ее мальчика, вместе им будет удобнее, а Таня в ответ на это, как всегда, тихо заржала, показав еще больше свои большие-пребольшие зубы, а Мариша, наоборот, не в пример прошлым годам обозлилась, когда я спросила:

— А чем они там занимаются?

— Вот тем и занимаются,— ответила радостная Таня.

— Тебе хорошо, у тебя мальчик, а Марише хуже, Мариша, ты уже научила Сонечку предохраняться?

— Не беспокойся, научила,— ответила Мариша и присоединилась к тихому ржанию Тани, хотя я по своему обыкновению сказала истинную правду.

— А что такое? — спросила Надя, у которой один глаз вот-вот готов был выскочить из орбиты.

— Надя,— сказала я,— это правда, что у тебя один глаз вставной?

— Она всегда такая,— сказала сияющая Таня бедной Наде.

А тут вставил свое слово Андрей-стукач.

— Я к тебе отношусь резко отрицательно! — заявил он, вспомнив формулировку Сержа, но я не обратила внимания на Андрея-стукача.

Пришли из кухни Серж с Жорой, уже податые, а мой Коля явился из бывшей нашей спальни, не знаю, что уж он там делал.

— Коля, ты уже отобрал себе простыни получше? — спросила я и поняла, что попала в самую точку.

Коля покачал головой и покрутил пальцем у виска, благодаря чему в это свое посещение он не взял ни одной штуки постельного белья, спасибо моей пронизательности.

— Мариша, тебе есть на чем спать с моим мужем? Ты ведь часть простынь выделила Сержу, я понимаю. А у меня все простыни застиранные, прошлый раз Коля первый раз в жизни собрался стирать белье и бросил его в кипяток, и все пятна на простынях заварил, проступило в виде облаков.

Тут все они засмеялись дружным, довольным смехом и сели за стол. Моя роль была сыграна, дальше сыграл свою роль Серж, который косноязычно, туманно и гнусаво стал спорить с Жорой об общей теории поля некоего Рябикина, причем Серж яростно нападал на Рябикина, а Жора его снисходительно защищал, а потом якобы неохотно сдался и согласился, и в Серже впервые проступил неудачливый, непроявившийся ученый, а в затырканном Жоре впервые проявилось восходящее светило науки, ибо ничто так не выдает личного успеха, как снисходительность к собратьям.

— Ты, Жора, когда докторскую защищаешь?— спросила я его наугад, а Жора клюнул и немедленно ответил, что во вторник защита, а защита — когда очередь подойдет.

Все на мгновение приумолкли, а потом стали пить. Пили все до полного затмения, Андрей-стукач вдруг стал жаловаться на райисполком, который не разрешает им трехкомнатную на двоих, а Надин папа стал генералом и бушует, валит Наде подарок за подарком, и машина ей уже на мази и трехкомнатный кооператив, только бы Наде поступить учиться, а не рожать ребенка.

— А я хочу рожать,— сказала Надя упрямо, но никто не поддержал темы.

Короче говоря, разговор за столом не клеился, Коля с Маришей тихо переговаривались, я знаю о чем — о том, чтобы он забрал прямо сейчас свои остальные вещи и куда надо будет эти вещи сложить, пока идет обмен Маришиной квартиры на комнату для Сержа и двухкомнатную квартиру, чтобы Сонечке было где отдельно заниматься музыкой на скрипке, а Сержу было бы где жить с брюнеткой, а моему мужу было бы где жить с Маришей. А может быть, они шептались о том, что лучше мне отдать их двухкомнатную, а самим поселиться в моей трехкомнатной квартире и начать ее размен.

— Мариша, тебе понравилось в моей квартире?— спросила я.— Может быть, вы поселитесь здесь, а мы с Алешей будем жить, где скажете? Нам с Алешей много не нужно, и вещи берите.

— Дура,— сказал Андрей громко,— набитая дура! Маришка только и думает, чтобы ничего у нее не забирать, дура!

— Но почему же, берите!— сказала я.— Мне одной много не надо, а Алеша ведь идет в детский дом, я уже устраиваю и хлопочу. В город Боровск.

— Пряма,— сказал Коля,— еще чего.

— Пошли-ка отсюда, этот спектакль выдерживать...— сказал Андрей-стукач и даже стал решительно подниматься вкупе со своей Надей, но остальные не шелохнулись, им важно было довершить суд до конца.

— Я устраиваю его в детдом, вот анкета,— сказала я и не вставая достала из-за стекла книжной полки анкету и заполненные бланки.

Коля их взял посмотреть и порвал.

— Наглая же дура,— сказал Андрей.

Я откинулась на стуле.

— Пейте, ешьте, сейчас принесу пироги с вареньем и капустой.

— Ладно,— сказал Серж, и они стали снова пить.

Андрей поставил пластинку, а Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать. Мариша вспыхнула, как приятно было видеть ее вороватый взгляд, направленный в мою сторону, почему-то именно в мою! «Вот я уже и стала мерилом совести»,— бормотала я, ставя на стол пирог с капустой.

Тут все завертелось, осуществился праздник их любви, все дружно орали, пели, как им было весело, а Коля, оставшись не у дел, подошел ко мне и спросил:

— А где Алеша?

— Не знаю, гуляет,— сказала я.

— Так уже первый час ночи!— сказал Коля и пошел в прихожую.

Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих, а в это время Марише стало плохо, она перепила и не нашла ничего лучшего как вывеситься в окно кухни и выдать меню прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома.

Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном, Надя, которая навзрыд плакала и дер-

жалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней,— это был тот самый знаменитый один акт в год, которые они совершали после того, как Марише стало легче, а Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза.

Потом Андрей собрался и строго собрал Надю, дело шло к закрытию метро, Серж и Жора дружно одевались, Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван, но его подвлял Жора и повел, сзади шествовала радостная Таня, и я наконец открыла дверь им всем, и они все увидели Алешку, который спал, сидя на ступенях.

Я выскочила, подняла его и с диким криком «ты что, ты где?!» ударила его по лицу, так что у ребенка полилась из носа кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его по чему попало, на меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули, и кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади: «Да я ее своими руками! Господи! Гадина!»

И кричал, спускаясь по лестнице, Коля:

— Алешка! Алешка! Все! Я забираю! Все! К такой матери, куда угодно! Только не здесь! Мразь такая!

Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все как один не могли видеть детской крови, они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них святое дело.

Я прокралась на кухню и выглянула в окно поверх полузатертой Маришиной свеклы. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу! Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей, стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу: «Лишение материнства, вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси! Коля с Алешкой и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье, спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я, как всегда, точно, и Жоре это по дороге, он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся.

В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружат вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей-стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил семилетнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств и, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж — человек в целом малоромантический, человек сухой, пиничный и недоверчивый, но этот кончит сожительством с единственным понастоящему любимым им существом, с Сонечкой. сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной-единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бываюот. Вот это будет закавыка и занятие для маленькой толпы моих друзей, но это будет не скоро, через восемь лет, а Алеша за эти годы успеет набраться сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отпраздновав его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться, а стучать в дверь я

ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избием младенцев дала толчок длинной новой романтической традиции в жизни моего сироты Алеши с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. И еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алеши в квартире, у него в доме, а не он у них, это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алеша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сознательный мальчик, и там среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше — для всех. Я умная, я понимаю.

1979.



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

★

ПОДАРОК ПАМЯТИ

Февральская весна

Гни, Москва февральская, переулки узкие, скользкие свои!
Что на Подкопаевском замышляют Шуйские супротив ГАИ?

В их хоробах розовых, в окнах скособоченных лисья тишина..
Лед мореный сколотый тает на обочинах — да никак весна?!

За три века жителей хапнула, сграбастала как были — врасплох
длань Москвы широкая, на сумбур гораздая, на сшибку эпох.

Шоферня, лимитчики, каменщики, сварщики, толмачи, стрельцы..
Что, жена купецкая, прячешь перстни в варежки, варежки — в
песцы?

И светла высокая под большой косметикой, а судьба — темна:
папка у легавого страшной арифметикой полным-полна.

Эх, летит у лапушки доля вверх тормашками — скалься да
глумись:
вот-те ночки в сауне, вертела с барашками, шалый Дагомьс!

То ли ворог с кляузой, то ли друг с подлянкою — не упомнитлиц..
Легок фарт над Яузой, галки — над Таганкою: ох, синих птиц!

А бывают случаи: жизнь толкнет играючи и глядит сама,
как стоишь, качаешься на ледовом краешке, на краю ума.

Двор

Уход Коленьки

Уводят Коленьку по летнему двору.
Ну, не успел он взять ларек — его уж взяли.
Наш участковый — как котлета на пару:
пыхтит, пыхтит... А сколько прыти в этом сале!..
Ларек-то Коля ночью взял. Попил. Поспал.
А утром — на тебе: с Христовым воскресеньем!—
спустились двое в вольный Коленькин подвал
и Колю вывели в жару во всем осеннем.
И тут он девочек увидел на скамье:
плевались семечками, щелкали орехи.
Ах, Коля, слова не сказал родной семье,
а их, красивых, не оставил без утехи.
Простив им сразу всем:
кому — неверный нрав,

кому — цветной шифон, любовью не оплаченный,
как уходил он,
весел, щедр и вроде прав!
Как выводил:
«Ка-амин га-арит, а-агнем а-ахваченный!»

Хаз-Булат

Вот вам справка о жившем в двух-трех корпусах Хаз-Булате. Хаз-Булат удалой, возникает не часто, но к стати: пятидневки конец, иль октябрьских, иль майских начало — он плывет от окна, как бывалый ушкой от причала, между песен других, между Блантером и Дунаевским, так плывет, будто есть с кем тонуть, да спастись-то не с кем. Он почти доплывает до низких домов Усачевки, где ему обеспечен покой прилпатненной ночевки. Но в саду Мандельштама — массовка, гулянье, затейник, шик-модерн без сапог, форс-мажор с портмоне, но без денег!.. Хаз-Булат в третий раз потонул за четвертым сараем... Все мы детство находим не там, где его мы теряем... «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя...» Наши сакли и доньне стоят. Да вот песенка спета, не так ли?..

* * *

С греческой девушкой встречи под грубою Кафой были, конечно, давно. Но ведь позже Гомера. Позже и Генуи шустрой и Порты лукавой, несколько позже табачного миллионера, дача которого служит Грицкам да Галинам, и уж значительно позже великой Победы, Кафу отнявшей у немца в придачу с Берлином.

Девушку знали под простеньким именем Леды.

Гадким утенком я не был. Но лебедем — тоже. Что-то во мне возражало и мифу и быту с общей их тягой к соитьям. Мы были похожи: к морю мы шли, как к разбитому ходят корыту, зная, что скользкие мышцы, купанье нагими, солнце то слева, то справа, а то над тобою,— это у каждого только с другими, с другими: вольных обнимок стыдится объятье с судьбою.

Та не судьба, что тебя навсегда заманила и научила бояться любой ахинеи. Та лишь судьба, что сначала тебя изменила, а изменила тебе лишь потом, лишь позднее: позже Елены, войной освещающей ложе, позже Манон, позже вольнолюбивой Земфиры, позже Карениной и уж значительно позже верной жены в тишине безразмерной квартиры...

* * *

«Мрак вечера питал желание» — вот фраза сентименталиста. Так о любви писали ранее — суди: беспомощно иль чисто?

Где грешный схлест Эраста с Лизою?
Где стон неведенья благого?
Поэт работает с кулисою,
не напрягает плоть глагола.

Потом перо времен Набокова,
на страх иной семье и школе,
не оставляя Богу богово,
захочет беспощадной воли
и таинства общеизвестные
изобразит свежо и резко —
пусть спорят знатоки окрестные:
божественно иль богомерзко...

Но есть в расхваленной, охаянной,
чужой для россиян «Лолите»
страничка жизни неприкаянной —
огнь Божий в чертовом копыте.

Дитя, утеха плоти отчима,
его и жертва и проклятье,
недетской жизнью измолочено,
стоит в засаленном халате,
стоит дитя, дитем беременно,
и мастер — англосакс дотоле —
вдруг обнаруживает — временно! —
всю полноту российской боли.

Не ждал, бродя с душой смятенною
в лукавых чувственных абзацах,
тут глаз на глаз с извечной темою
певцов родимых оказаться?

Да, состраданье карамзинское,
отечественных перьев сила,
сквозь вдохновенье сатанинское
на краткий миг заголосило
и в шок повергло сноба, циника —
всех этих книжных клерикалов,
как голосом Алеши-инока
заговоривший Свидригайлов.



Б. В. ШЕРГИН



ИЗ ДНЕВНИКОВ

Замечательный русский писатель Борис Викторович Шергин (1893—1973) вел дневники всю свою жизнь. Он писал их до конца своих дней, пусть и грожащей рукой, неотчетливым, расплывчатым почерком (отчего текстологическая работа над его рукописями так затруднена). В основном каждая дневниковая запись имеет точную дату, часто по-старославянски. Но нередки обрывы текстов, записи на отдельных клочках бумаги или же неразборчивость обозначений. По этим причинам в данной публикации даты не указываются.

В публикуемой подборке представлены отрывки из дневников Б. В. Шергина разных лет, содержащие его раздумья о творчестве, литературе и искусстве, а также миниатюры о «художных мастерах» Бобрецове, Узикове, Амосове, Доронине, написанные в тридцатые годы и представляющие собой заготовки для задуманной Б. В. Шергиным книги «Народ-художник», к сожалению, так и не созданной.

История их появления такова. После окончания Строгановского промышленно-художественного училища в Москве Б. В. Шергин работал с 1917 по 1921 год заведующим Кустарными мастерскими Архангельского совнархоза и художником-инструктором при Мастерской художественных ремесел. В то время всемирно известная холмогорская косторезная мастерская находилась в упадке. Б. В. Шергин привлек для работы в ней самых известных резчиков: В. Т. Узикова, В. П. Гурьева, М. И. Перепелкина — ученика особо почитаемого мастера М. М. Бобрецова. Талантливые резчики принадлежали к тем нередким на Севере мастерам бытового ремесла, которые «дары речи своей... щедро рассыпали перед учениками».

По-видимому, большая часть дневников писателя оказалась утраченной, но и то, что дошло до нас, сохранило особый строй души и мысли художника. Печатается здесь также отрывок «Ломоносов» — видимо, из статьи, предназначавшейся Б. В. Шергиным для книги о людях Севера. Этот отрывок хорошо дополняет не печатавшаяся ранее рецензия на повесть С. А. Андуреева-Кривича «Ломоносов — крестьянский сын», выходящую в Детгизе.

Мне думается, что интересные мысли, если твоя голова вообще способна рождать интересные мысли, созревают у тебя и в возрасте, со старостью смежном, и даже в старости.

Дело только в том, что у тебя прошел хмель молодости. А в молодости ведь кровь бродит, как вино. Под тем хмелем «робишь и работать хочется. Идешь и идти хочется». Поморка Соломонида Ивановна говорила: «Лучше меня нет пряжи в деревне. Но в молодости я хорошо пряла от радости. За красна сяду, сон и еду забуду. Я в старости пряла гладко и ровно. Но уж радости нет».

Так и искусный писатель: пусть перестало его накачивать молодым хмелем, зато наступило трезвение. каковое устройство как раз и ценили древнерусские учителя-философы... «Если ты видишь юного, живым возносящимся на небо, то, ради бога, скорей ухвати его за пятку и сдерни на землю».

Мысли могут быть равноценны у молодого и у старого. Но молодой с радостью записывает живую мысль хоть в кабаке, хоть в трамвае. Был бы огрызок карандаша да обрывок бумаги. С годами образуется привычка. Пишет уж не с пылу, с жару, а с рассуждением. Молодой боится растрясти бесценные свои мысли; старый хочет поделиться, радуется сочувствию собеседника, сотаинника...

Для творческой природы не беда, если, скажем, неладно со зрением или там ноги худо передвигаются. Горе, когда такого человека престало охватывать состояние радости. Когда осеняет тебя радость, хватаешь любой огрызок карандаша, лист оберточной бумаги, спешишь, не сронить бы ее. Я как-то пошел поглядеть, не отвязалась ли лошадь. Напахнула эта радость. Я карандашиком на стволе белой березы давай записывать эту памятку.

Душа наша навыкла сидеть в груди у нас, как птица в неволе, в клетке, сложив крылья. (Постепенно душа и разучится летать.) Но как радостно ей расправить крылья и полетать на воле, где ей любо летать-то.

Теперь уже не то... В пожилые-те годы образуется привычка. Теперь это вот припевай: «Привычка свыше нам дана: замена счастию она!» Пушай свыше, а того счастья не заменит.

Бывало-то, в восхищении, неизрекемые глаголы в сердце запоют.

Когда осенила тебя живая мысль и ты живешь этой мыслью, записываешь ее, «сплетая силлогизм», старайся сейчас же закончить ее. Завтра увлечешься другой интересной думой. Вчерашнее философствование трудно будет передать живо. Гораздо легче работать над какой-нибудь живой сценой, где видишь перед собой беседующих, смеющихся, бранящихся людей, и записывать их. Вообразить живую бытовую сценку легче, чем живо, красочно и сжато философствовать, где «в немногие слова надобно мысль многу вложить».

Бывает, по поводу какого-то человека возникает живая мысль, как родничок забьет из сухой земли. Вот, думаешь, на одной страничке изложу. Но параллельно единой думе возникают мысли попутные. Добро, если как-нибудь пришьешь к месту и их. Единый-то родничок разбежался на десять струй. А завтра уже какая-нибудь побочная мысль станет главной в праздносияющей твоей голове. Беда мне, горе-литератору. Разговоры разговаривать с бабами мое дело, а не книгу писать.

Люблю это душевное состояние, когда ум перестает дремать и побегут мысли, одна перегоняя другую. Сначала одна в кореню, смотришь, у коренника две впристяжку. Тройкой правишь и квадратной. Смотри вожжи держи: они, мысли те, врозь полетят!..

Вишь, как я важно выразился: мыслями-де моими, как тройкой, правлю... Горазнее бы сказать: за двумя зайцами гонишься. Тотчас их из виду упустил и о чем, бишь, собрался сказать? Небось «про Новгород, про царство Золотое? И, бабушка, задумала пустое! Докончи лучше нам „Илью-Богатыря“».

Молодой человек делает желаемое, а пожилой человек описывает желаемое. Недаром сказано: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». В молодости-то все стесняешься да не решаешься, стыдишься да не умеешь. Недавно одна ровесница со следами былой красоты напомнила мне с грустью: «Ты тогда одно только слово и сумел мне выговорить: «Не бойся меня, я сам тебя боюсь...» Глупые мы были!

Эх, снова бы помолодеть, знал бы, как состариться!

Где уж там восхищенье да восторг. Любо и то, когда утром выйдешь на крылечко и охота тебе записать, каков цвет неба, и откуда ветер, и как изящно вьется по холму белоглиняная тропинка.

Велика досада, когда семейный, скажем, перебор собьет твоё творческое настроение. Хуже нет — какое найдет отупение ума! Держишь в руке перо, а живые мысли не приходят.

Со мной бывает, что вдруг над чем-нибудь расхохочешься и ум оживится, захочется писать.

В древних книгах, греческих и русских, часто рассказывается, что вот придут люди к такому-то старику любомудрому, сядут вокруг него и скажут: «Отче, скажи нам слово на пользу!»

Не наугад брели, знали, куда шли, верили, что получат ответ на вопрос неразрешимый и совет в обстоятельствах самых трудных. У этих любомудрых наставников и учителей книжное знание проверено было личным жизненным опытом. Но учительство, наставничество никогда не было их профессией. От людей, приходящих к ним ради полезного слова, они не брали ни денег, ни куска хлеба. Скudное пропитание добывали каким-нибудь ремеслом: сапожничали, вязали сети, плели корзины. Речь такого учителя была «как золото, претворенное в горниле сердца». Слушатели воспринимали эти живые речи умом и сердцем. Старцы радостно, неутомленно встречали приходящих, как детей, как внучат. Хорошо, что «слово на пользу» записано. Но, ах, какое великое дело личные впечатления!

Закреплять письмом должно только стоящие мысли, мысли, нужные хотя бы немногим, или мысли интересные. Это обязательно, если ты хочешь собрать книгу. Ни к переписке дам-приятельниц, ни к фельетонам, ни к многотомной печатной халтуре эти требования не относятся. Учитывать продукцию водопровода нам сейчас недосуг.

Я это написал и осекся. Кто-нибудь непременно скажет: «У тебя у самого если не вода, то каша мыслей».

Верно, все на свете относительно и условно. «А все-таки она вертится». То есть та, настоящая, литература должна существовать.

Любопытен опыт древних отцов, наставников, проповедников, учителей-философов. Судя по древним записям, это были люди истинно поэтической души. И что же? Отцы этих отцов, то есть опытные старцы, руководившие этими поэтами, предостерегали их: «Во многоглаголании нет спасения». То есть ежели вы будете многоречивы, то вдохновенное красноречие ваше принесет вам вред. Богатство, которое вы накопили, не расточайте без ума. Не расточайте душевных сил в красноречивом ораторстве. Не опустошайте себя. Опустошенное место скорее всего наполнится духом празднословия и неизбежного уныния. Храните мудрость целно.

К древним отцам народ приходил, требуя решения вопросов личных, семейных, общественных. Эти отцы знали жизнь, знали людей, знали человека, всегда были тонкими психологами и педагогами.

Судя по сохранившейся литературе, греческой, латинской, древнерусской, эти учителя никогда не произносили долгих душеспасительных проповедей и как от чумы бегали от долгих бесед.

Ответы этих отцов — это всегда или краткие афоризмы, где «в немногие слова многий разум вложен», или те же краткие, но глубоко содержательные примеры из живой жизни.

Чтобы сказать «слово на пользу», надобно быть в душевном веселии.

Если веселие негде взять, соберись в некоторое мирное устроенье.

Счастье твоё, ежели есть у тебя опора в жизни — брат или друг. Может случиться, что опора эта изнемогла, надорвалась, потому что слишком велик воз везла. Здесь надобно заметить, что «творческая личность» всегда считает себя замученной. «Творческой личности»

никогда не придет в башку мысль: не я ли вымотал душу у ближних моих?

А все-таки, правый ты или виноватый, искру творческого вдохновения в себе блюди.

Видя богатство дарований Иова, тщится обокрасть его сильный в злобе враг. Враг разрушил крепость тела, но сокровищ духа не украл: непобедимо вооружена была талантливая душа.

Всякому человеку надобно иметь стержень некий мысленный, «столп и утверждение».

Что же это за стержень? Это, во-первых, степень душевной силы, на которой надобно человеку содержать себя даже при упадке сил телесных. Не падать духом ни при каких житейских неприятностях. Я не говорю здесь о каком-либо душевном горе, я говорю о семейно-бытовых, также о житейских, деловых неурядицах, которые трясут человека и выматывают его пуце лихорадки. Во-вторых, этот тонус, эта душевная сила не есть какое-то нечувствие или бесчувственность.

Нет, если ты человек поэтически настроенный, если пронес ты через всю жизнь нечто любимое, скажем, призвание к чему-либо, осуществленное на деле, в минуту жизни трудную наведи себе на мысль это твое вечно любимое.

Пусть любимое ходило когда-то в тебе, как дрожжи, пьянило тебя, увлекало, вдохновляло. Пусть от этого огня осталась теперь у тебя копеечная свечечка. Самое воспоминание о любимом, заветном украсит, озарит твое умонастроение теперь.

Что любимо было у меня? Что драгоценно осталось для меня и теперь? Художество... Природа...

Я вот этак теперь сижу — раскис, по бокам развис. Думаю о себе: «Квашня ты, квашня! Кисла шаньга архангельска...» И вдруг точно дух свят накатит. Он, дух-от, дышит где хочет, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И заживет, заходит кислая опара. Точно зори утренние в тебе взойдут. То, что любимо было во всю жизнь, опять как травы весенние из-под слякоти осенней пробрызнут. Мир, превысший всякого мира, обымет душу.

Чувствуешь, что живо все, что ты любил. Чувствуешь, что сокровищница твоя некрадомая, неистоцимая.

Но вот зачну я сказывать, что есть мое любимое и какое мое богатство неизживаемое, многие усмехнутся. Не велики, скажут, твои масштабы, не широки твои горизонты. Болото ты замшелое.

Однако мох, солнцем высушен, еще как светло горит!

Любил я с детства художество. Но признавал я в художестве только то, что умел сделать сам. Понятно было мне искусство, которое годилось бы в доме, которое постоянно было бы в руках. Таковым было, например, художное столярство, резьба в дереве. Вспоминаю цитату из сказки: «...стоит в лесу липа. Годится на божий лик липа, и на иконостас, и на чашку, и на ложку, и на стул, и на стол, и на поварешку».

Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обручков рябины солоницы и братины в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол, накрытый синей выбойчатой скатертью, с вереницей таких судков, чашек, солониц удивительно напоминал море с кораблями, у которых «нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному».

Руки мои сами тянулись к ножу, к стамеске. Тщился я взвеселить свой дом такой деревянной, осязаемой сказкой.

От юношеских лет и до теперешней поры упоительно люблю я делать модели домов. Еще будучи школьником, пленился я изу-

мительными моделями северных старинных домов и церквей, собранных в архангельском городском музее.

Картины на стенах казались мне чем-то вроде ковров или портьер. С картиной нельзя «играть», она висит и висит в простенке.

Иное дело иконы. Северные люди признавали в иконописи только древнерусский стиль. Следственно, они были чрезвычайно декоративны. Почитанье икон увязано было и с бытом старого Севера. Понятие об этом дает «Стих о Николе Морском»:

Мы пишем Николу
разноцветными вапы,
украшаем Николу
скатными жемчугами.
Мы ставим Николу
в киновареную божницу.
Мы теплим Николу
воскояровы свечи.
Кадим мы Николу
ладаном-темьяном.
Творим мы Николу
земные поклоны.

Форштевень нередко представлял собою изваяние того же Николы Морского.

Следственно, и это религиозно-бытовое художество не являлось чем-то абстрактным. Но, будучи самодельным, осязаемым, понуждало ремесленные руки к подражанию и всегда служило к «увеселению очей».

Откуда вечная жизненность так называемого прикладного искусства? Я своим «прикладным» умом думаю, что несовершенна полнота художественного произведения, на которое — с понятием или без понятия — можно только поглядеть издали. Поэтому не особо я обожаю скитаться по галереям, увешанным картинами или уставленным скульптурами. Везде мертвый ярлык. Простят «руками не трогать». Для меня это все равно что «вход строго воспрещается».

Под картинами ампирные кресла. Присесть не смей: от локотника к локотнику натянута струна барабанная. Стой, значит, перед картиной или перед римским идолом руки по швам.

Недаром сказано: с погляденья сыт не будешь. Люблю художество, с которым можно жить, которое можно держать в руках, которое можно трогать, разглядывать.

Мне скажут — а как же зодчество? Перед любезным тебе зданием ты стоишь, глаза пялишь или вокруг да около ходишь. Оно есть недвижимость.

А я говорю: самое оно мое, зодчество-то. В это вот красовитое здание двери открыты. К дверям ступени меня подводят. Я захожу и живу там телом и душой.

В каждой любезной мне хоромине и окна есть. Я и окном залезу, как мышь в сундук. Мышам ведь нигде не загорожено. Буду по дну ходить, то есть по полу.

Всю жизнь неуменными руками тщился я охापить непосильные красоты зодчества.

В родимом городе над Двиной громоздились приземистые башни и стены древнего Гостиного двора.

Бесконечные сени с неожиданными переходами и поворотами, сводчатые горницы, узкие оконца. Тяжкие двери с железными узорами. В двадцатом столетии здесь все было так, как было в веке шестнадцатом. Зодчество суровое и простое — и в то же время сказочное и таинственное. А в оконца, сколько ни выглядывай, — нежный туск северного неба, серебро-свинцовые волны, белые чайки.

Такое же упоительное чувство сказочности охватывало меня, когда мне приходилось жить или бывать в крестьянских хоромах на Двине, у Белого моря.

Сяду один в верхнем жилье и ликую: царство дерева, нежные нюансы золота, тона коричневые.

Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда соглядал я северную избу-горницу? Что созерцал я глазами, что осязал руками, ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стили. Мощные, коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжелой двери с кованой скобой, широкие скобленные лавки, широкие синие осиновыя половицы.

Никаких украшений, ни окраски. Но какая нежность тонов, какое удивительное чувство пропорций было у людей, создававших это жилье.

И, конечно, северная природа, глядевшая в коротенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была единого духа с созданием рук человеческих.

Припас здесь как будто прост: сосна, северная осина, лиственница. Просты снасти — топор, пила, рубанок, долото. Но безупречность пропорций, чувство композиции в поделнях больших и малых — точно песню поют безмолвную, но немолчную о том, что северные мужики-плотники были зодчими-художниками.

Изящество и искусство встречались в крестьянском дворе там, где, казалось, не было особой нужды в искусстве. Помню, в знойный день в одной заволжской деревушке приманила меня тень крытого соломой сеновала. Меня подивили золотые сумерки обширного помещения. Далее мне показалось, что на полу спят люди в золотых зипунах. Чинно лежат ряд за рядом и вкушают послеобеденный сон. Солнечное блистание лилось в полые воротца. Первый ряд снопов нестерпимо сиял: отсюда эта золотистость воздуха, эти червонные тени в самых дальних углах.

Подивился я и развеселился, когда поглядел вверх.

Высокая соломенная кровля сарая, белесая извне, изнутри сияла густыми тонами червонного золота. Приемы золотого плетения, приемы чисто практические, можно было сопоставить с техникой красивого золотого шитья. Пряди золотистых шнуров, узлы, симметрично расположенные, — все это делано рассудительно, а получалось искусство.

Наш хозяин польщен был моей попыткой срисовать соломенную вязь.

— Это мое рукоделье, первоучебное. Вот за рекой, в Барноге, во двор зайдешь — прямое восхищенье: будто у сенатора с мундира снят узор. Я сто раз глядел эти узоры и сто раз восхищался. — Свой гимн золотой соломе калязинский дядя закончил словами: — А главное: ни зимою в оттепель, ни летом в ненастье ни одна капучелка воды сквозь это искусство не прольет.

Простые люди ценили искусство, которое пригложалось бы в доме. Одна поморянка из Кеми писала мне: «Вырежь ты ложку коренную¹ и пришли. То уж будет памятка довольная: ложка всегда в руке».

День с ветром, облачный. Солнце помалу проглянет. Большие улицы просохли. В переулках булыжник мокрый, возле тротуаров ручейки; по дворам грязь малопроездная со льдом. Стаскался к господней. Авось, думаю, не протает ли душевный-то лед?

...Не по годам, пожалуй, равнодушие и эта вялость. Что-то мало сил душевных и телесных. Я, видно, не земля, не та земля, которая

¹ Из корня крепкого дерева. Такие ложки не ломаются. (Прим. Б. Шергина)

начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьев, пеньем птиц.

Я — куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалят небеса божию славу. Она, куча, куча и есть. Сказано: сила божия в немощах совершается. А вот мои немощи далече мя творят от ясности, от радости господней. Видно, смолоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем силу божию ухватить. А я жил как придется, как попало. Стал под старость решетом дырявым. Как во мне силе божьей удержаться?

Есть художники, есть поэты божьей милостью. И есть дилетанты, самоучки. Последние — в лучшем случае — трогательны, но и мало-выносимы. Я в богоискательстве своем вот такой дилетант-самоучка. Что-то слышал, до чего-то сам, своим умом дошел, и все-таки «дилетантизм есть любовь к искусству без взаимности».

Ни высшей, ниже средней школы в науке (да, да — науке!) духовного совершенствования я не прошел. Что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил, пришли годы немощей телесных, иссякла и всякая радость, которая вызывалась исключительно тем, что «младая кровь играла», но отнюдь не была показателем некоей «меры духовной».

Мало мне было тогда настроений и впечатлений. Очевидно, я не знал, что они запечатлелись навсегда. Переживания, рождаемые зодчеством, надобно мне было тогда воплотить в нечто осязаемое.

В те времена я не знал, что народное искусство и красоты родимой природы век будут веселить и молодить мою душу. Увлеченье художеством было действительным и понуждало к труду мои руки.

В это время в городском музее выставлены были модели северного крестьянского зодчества. Когда замолкали шаги сердитого хранителя, я, замирая от волнения, приподнимал дом или амбар руками, заглядывал в крошечные окошечки: там внутри все было по-настоящему — печь, полати, двери.

Я приходил домой как закодированный. Я знал, как надо утешать невнятное доселе художническое томленье.

Неудобно мне склоняли эти местоимения — «я», «у меня». Но я не себя объясняю. Я — малая капля, в которой отражается солнце народного художества. Что говорю я, малая дождевая капля, о том веселее меня сказывают тысячи других капель вешнего художного дождя.

Общеизвестна истина, что творческое, веселящее душу вдохновение свойственно человеку любой профессии. Бывало, в Архангельске в июньскую сияющую ночь, когда вода и небо кажутся половинками жемчужной раковины, сидят на берегу и резчик из Холмогор Узиков, и маляр Кулаков, и судоремонтник Петунов, и художник из Москвы П. И. Субботин. Сидят молча, не подберут слов, чтобы обсказать чувства, возбуждаемые красотой природы.

Но веселье душевное, некрадомое, неизживаемое каждый выскажет по-своему. Резчик Узиков, веселясь, мастерит узорный ларец. Кулаков вдохновенно размалевывает фойе кино «Мулен руж», судоремонтник обшивает борт корабля, будто мать дочку сряжает. А слугитель «чистого» искусства Субботин, он делает эскиз за эскизом, веселье умное тщится отобразить в картине, в пейзаже. И у всех у них — у живописца и у маляра, у резчика и у столяра — одинаково светлы лица во время работы.

В. Ф. Вопияшин, маляр по званию, истинный художник по призванию, говаривал: «Что увижу, то и мое». Рассказывал:

— Ходил я в один дом три года — сундук нравился расписной. Купить не на что. Тогда я в этом доме полы выкрасил и стены шпалерами выклеил. Мой стал сундук. По главному прешпекту вез этот сундук, многозначительно, чтобы вся вселенная дивилась.

Преподаватель Баллад во всеуслышанье сказал:

— Триумфаторы на колеснице такого вида не имели, как ты на ломовой телеге.

Другая творческая душа, холмогорец Узиков высказывался: «Ежели какая вещь понравилась, мне надобно эту любезную утварь своими руками сделать. Вот и примусь жадность свою утолять: пилю, тещу, режу, или кую, или лью. То уж будет мое».

Острозначный ум северных умельцев — «что увижу, то и мое» — был, по силе, и моим свойством. Но шатровую башню, глядящую в воды Двины, не унесешь домой. Каменное крыльцо, похожее на крыло лебедя, не отнимешь от стены. Я уж помянул, что пристрастился делать модели желанного зодчества. Тогда становилось у меня «сердце на месте, душа в горсти». Сохранил я клад последний: страсть делать модели домов, веселит она и молодит душу. Время тратить на игрушки совестно. Отряжу себе три дня. А дело заведется на три месяца. Чердаки, балконы, лестницы... Сделать надо красовито и прочно. Так, чтобы, когда внук сядет на этот дом, ничто не погнулось...

У знатного каменщика и штукатурка Ивана Акимова были друзья среди молодых инженеров, а один архитектор в письмах называл его «милый мой батька» и «старый мой друг». История этой дружбы такова.

Архитектор этот, сын простого рабочего, работал с отцом по штукатурной части. Парень кончил среднюю школу, в то же время неуклонно помогал отцу во все свободные часы, дни и месяцы. Профсоюз обещал отправить его в специальную или высшую школу.

В летнее время штукатурили они с отцом казенное помещение. Отец помер внезапно, сын решил не сдаваться: этой работой он как бы сдавал экзамен. Взявши помощника, продолжал работу. Он был упорный, пристрастный человек. Начал штукатурить потолок в зале. Штукатурка повисает, не держится. То ли песок неадаен, то ли известь не в порядке. Парень еще опыта большого не имел.

А было два десятника, Захаров и Акимов. Захаров не взял во внимание старательность, трудолюбие, усердие Руневского и, видя, что дело неладно идет, советом не помог, а отругал Руневского. Назавтра Руневский сидит на лесах под потолком чернее тучи. А работу не оставляет, ладно не ладно — замазывает трещины. И опять Захаров налетел, начал срамить:

— Паразит, дармоед.

Руневский разгорячился да пнул ведро с водой. Ведро полетело вниз. Захаров побежал жаловаться, что Руневский озорничает.

Руневский опять сидит в черных горях:

— Брошу эту специальность, будь она проклята! Ненавижу эту грязь. Кончено!

И входит в залу Акимов. На доски залез, щупает здоровую часть потолка. Заметил Руневского.

— Здравствуй, молодой человек! Ты это штукатурил? Отлично! На добрую совесть делаешь. Белишь жалко, как мрамор. Я старый штукатур, а с твое не будет, сила не та! Рад за наше дело, ежели такие, как ты, усердные ребята выросли.

— Вы серьезно? Что же хорошего видите?

— Та половина работы удалась, а вот этот угол — стыд и срам... Потолок ты штукатурил материалом отцовой заготовки. Старый мастер знал пропорцию. А твоя заготовка — песку перепущено, известь сунули не такую.

Акимов два дня с Руневским поработал. Дело ходко пошло. Парень расцвел. Не захотел этого дела бросать. А с Акимовым дружба пошла. Он в районных архитекторах теперь уж, Руневский-то.

Говорят: Акимов подход знает. Нет, Акимов к делу своему страстен и людей, любящих его дело, любит, ищет и душу за них кладет.

Старый холмогорский резчик Узиков говорил:

— На выставке граф N в восхищение пришел от моих изделий. Пришел на выставку с иностранцем, хвалит мои работы. Далее спросил у начальника: «Этот резчик здесь?» — «Вот он стоит». Граф ко мне: «У тебя есть еще что-нибудь? Я купил бы». «Есть», — говорю. «Принеси мне завтра утром на дом». Дал адрес. А сам опять к окружающим: «Чего только не сумеет сделать наш русский мужик. Уверю вас, господа, блоха не выдмана Лесковым».

Утром являюсь. Швейцар с усмешкой говорит: «Что ж ты в парадное лезешь? Ступай черным ходом».

В кухню зашел. Горничная пошла докладывать: «Господа еще не вставали».

Час прождал.

«Господа кофей стали пить».

Час пили. Гости у них там оказались.

Говорю горничной: «Мне некогда, доложи, что ухожу».

Та вернулась: «Граф говорит: скажи, что я занят, пусть ждет, что-де за хамство?»

Я разгорячился: «Скажи графу, что хамство заставляя ждать на кухне мастера-художника!» Выговорил это, подойдя уже к двери.

Да, кто художество наше любит, а мастера презирает, тот жлет. Кто действительно мастерство народное любит, любит и художника. А кто спесивится перед нашим братом, не любит искусства нашего, кто оскорбляет художника — искусство его оскорбляет.

Бобрецову сказали: «Картина „Последний день Помпеи“ — искусство. А твоя резьба что же?» Он ответил: «Солнце отражается и в малом ручейке. А все то же солнце. Только бы от любви сделано».

Мы, может, младшие братья в семье художников, но оставьте себя в рубле да не кладите нас в копейку.

Вот теперь, при Советах, нас в Союз художников принимают и понимают, что в большом доме необходимо имеется утварь и серебряная, и золотая, и медная, и деревянная, и глиняная. И вся она нужна, и вся на пользу. Ни без той, ни без другой не обойтись.

Василий Иванович преподавал в художественной школе. Парнишку-ученика пустил к себе на время. Тому жить было негде. Парень и зажился. Старик стеснительно, но ценил он талантливость паренька. А тот не всегда сообразит, что старик и отдохнуть надо время или старику неможется.

Знакомые негодуют:

— Василий Иванович, гоните вы вон этого верзилу! С какой стати вы себя стесняете?

— Вот с какой стати: он настоящий художник. Иной раз сгрубит, я разгорячусь. Он уж сует мне тетрадь, альбом новых работ. Меня как светом освежит: талантлив, сукин сын! Конечно, я могу его прогнать. Но куда он пойдет? Конечно, мне будет спокойнее, но... Ничего я не могу сделать с собой, когда вижу его работы. Это настоящий художник. Вижу талант — и мне крыть нечем!..

В Архангельске молодой Доронин искусно резал медальоны и пуговицы-монограммы. Эти пуговицы горожанки носили вместо брешек. Охотно покупали их и иноземцы корабельщики. Иного мате-

риала, кроме слоновой кости, молодой резчик не употреблял. Старые городские мастера считали это гордостью, и когда Доронин заявил, что желает приобучать своему искусству молодежь, старики ответили:

— Работаешь ты изрядно. Но можешь ли ты быть учителем? Вот ежели бы Бобрецов признал тебя способным воспитателем, мы с легким сердцем посылали бы к тебе ребят.

Доронин отвечал:

— Ладно, старики. Воспользуюсь случаем познакомиться с мастером, искусство которого ставлю очень высоко.

В свою очередь Бобрецов знал работы Доронина, восхищался ими, но явившегося к нему на Холмогоры молодого мастера встретил с напускной суровостью:

— А, пуговичник приехал. На днях письмо насчет тебя получил из Архангельска: за учительскую степень грабишься. Погости у меня годик-другой. Тогда посмотрим. А может, и пять годов у меня корпеть будешь.

Старик говорит это, а сам караулит лицо Доронина: не испугается ли, не побежит ли?

Доронин не испугался: восторженно впившись глазами в бюст Ломоносова бобрецовской работы, он воскликнул:

— До смерти рад у вас учиться! Действительно я пуговичник, а вы скульптор-ваятель.

Бобрецов ведет свою линию:

— Еще не знаю, возьму ли тебя в ученики-то. Вон сук березовый. Распили и сделай гребень.

Гость сделал гребешок и украсил изящнейшей резьбой.

Бобрецов говорит:

— Резьба ни к чему. Старухам не видно будет вшей бить. Делай гладко.

Изготавливать простые, неукрашенные вещицы считается делом первоучебным, ребячьим, но Доронин с увлечением сделал пару простых гребешков.

Доронин гостил у Бобрецова целое лето. Бобрецов оценил в нем любовь к скульптуре, внушил любовь к деревянной резьбе, к монументальным вещам. Как раз к этому времени Бобрецов закончил деревянную статую Петра Первого во весь рост, на коне. Было чем увлекаться Доронину.

В то же время Бобрецов и медальоны и резной гребень Доронина послал в Петербург с письмом: «Новая звезда взошла на нашем небе». Такое же письмо послано было и в Архангельск.

Осенью Доронин вернулся в Архангельск и встречен был с почетом. Первееющий соломбальский мастер Самсонов Доронину руку пожал и выговорил: -

— Бобрецов про тебя пишет, умеешь-де ты учиться, умеешь подчиняться. Следственно, сумеешь и учить и начальствовать. Из-за любви-де к художествам не погнушался ты последним местом, следственно, достоин и первого.

Дни-ти мрачны стали, мраковидны. В полдень разве день-то пошире взглянет. Грязей больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, вишь, с неделю не было. В ночи маленько украдкой поморсит. С Покрова озябный ветер поднялся.

С деревьев остатние листья падают. К вечеру в воздухе тусклота такая холодная.

О полдни день-то похаял, а в два часа светло стало и читать видно. А холодком от оконца потянуло. Дороги повысушило.

Сумеречные тона одиноко-задумчивого, молчащего с людьми дня прекрасны. Летние общепонятные красоты олеографичны, лубочны.

Летним днем вдосталь налюбуйешься. А октябрьский-ноябрьский день недолго на тебя глядит, мал час гостит. Он ничем тебя не подкупает, испытно, взглядом спросит: любишь ли меня паче сих? Пока ответишь, его уж и нет.

Летний день, он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день — баловень. Это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся «широкая публика» с ним в сад гулять идет; все его чмокают, всем он на утеху.

А этот, холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он незнакомец. Не ловит улыбок и взглядов. Проходит, опустив глаза: лучше любя не иметь, чем иметь не любя.

Я хвалю золотые руки, которые все умеют сработать, что в доме служит к пользе и увеселению.

Выше, к разговору, я сказал, что, например, невнятная картинка, висящая над диваном, не участвует в домашнем житье-бытье. Условно и относительно это мнение. Помню, в Хотькове, под Москвой, поднялся я на Митину горку и поглядел в долину, по которой семь раз извилась речка Пажа. Я подумал: «Первый снег». Надо запомнить краски — их три: небо — нейтральтон, силуэты деревьев — черная тушь. Снег — оставлю чистый ватман. Но если бы я был художник, я бы увидел, что гамма тонов русского серенького неба богаче нюансов перламутра. Если бы я был художник, я увидел бы, что рисунок лишенных листы сучьев и ветвей изящнее любых ювелирных изделий. Если бы я был, скажем, художник-пейзажист, я бы жадно устремился, чтобы богатство это стало моим.

К слову, сделаю привод из северной сказки. Парню понравилась в хороводе девица. Вышли они на речку поговорить. Стоят на высоком угоре, а на той стороне стена елового бора и на этом фоне белые березки. Парень спрашивает: «Какое у тебя именье? Есть ли что свое?» Девица, широко поведя рукой, воскликнула: «Я богатая! Мои эти елки, мои березки!» Парень объясняет: «Надо говорить, елки да березы — боговы». «Нет, мои!» По реке пролетела вереница лебедей, потом гуси. Девица восторженно кажет на птицу рукой: «Это мои лебеди, это мои гуси». Парень рассердился: «Глупая ты. Лебеди и гуси — боговы». «Нет, мой, мой, мой!»

Истинный художник была эта девица.

Живу я, содержу ум цел и разум здрав. Если растеряюсь и распадусь на мал час, опять да опять соберу и построю себя в добром, в правом моем создании.

Сторонние добрые люди, наверно, думают, что житье-бытье мое — болезни, печали и вздыхания. Люди не вникают в то, что «своя печаль чужой радости дороже».

Ради скорбей душа спеется. Верно тебе говорит поэт-писатель: горе — добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью и преогорчением, вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами радостью пожнет.

...Нашел чем хвастать, слезами! Чувствительные дамы всякий час плачут. Оттого у них и нос красный.

Но, например, великая душа — Пушкин ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее у него был «дар слез». Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал... Я лил потоки слез неожиданных...» И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил: «Я старик мягкослезный...»

Бумажных книг не читаю. Некогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житье-бытье близких моих, а их у меня много, это я переживаю днем и обдумываю ночью.

Вот мое утешенье, моя отрада: как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий к горести или радости дня. Много у меня в памяти «сырых» рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять.

Пишущий человек ощущает потребность писать и будучи в унылом настроении. Очевидно, ему необходимо выключиться, он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли. Уныла и речь. Да и надолго ли в таком преогорчении писанье твое? Бросишь перо-то.

Школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, начинается в своей семье, в среде людей, с которыми суждено жить единой жизнью. Если писатель умен и добр, большую пользу принесет ему многолетняя жизнь в многолюдной коммунальной квартире.

Человеку творческому не приходится всегда черпать силы в семье своей, у домашних своих. Век ты с ними прожил, жалостны они тебе, но в конце концов каждый из них едва набирает сил для собственного дыханья. Жена, брат, сестра — пусть они у тебя прижаты к паху, — тебе надобно иметь и искать людей, которые больше тебя знают или светлее тебя думают, собеседников надо иметь художных, вот кого.

Бывает, живет человек преутомленно. Не беда, что дышит кирпичом, асфальтом, бензином. Беда, что внутри человека — печаль неизбывная. От городского пыльного удушья можно вырваться. А слезную тучу везде с собой понесешь.

Но и лежащий в печали человек всегда хочет встать да развеселиться. И чтобы сердце твое развеселилось, совсем не надобно, чтоб вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Весело станет, когда дождь вымоет твой каменный дворик и начнут благоухать веточки на деревьях.

Люди нужны людям. Бывают дни удушливо-тоскливы. Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше будет «плач и скрежет зубовный». Но вот точно вольным ветром нанесет к тебе человека с живой душой. И будет он говорить не о твоём горе, а горя твоего часть он унесет.

Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком преогорченье возьму книгу, еще отцова письма. Там заложена страничка: «Не добро, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль — моль в одежде, червь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжет крепость сердца».

...Куда же деваться-то? Но верно-опытно знаю, что спастись от печали можно только в людях. Доспей себе близких, копи, стяжи, припаси себе людей. Не живи один, пусть с тобой люди живут, которым ты нужен.

Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она: полжизни прожил в Архангельске, полжизни здесь. Два жительство только и сменил от рождения до старости. Маску тишусь носить спокойную. А уж как сердце-то рвется да слезами исходит, то уж мое дело.

Братишечко сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет: «Абрикосиха прошла. Соболев куда-то идет. Древние, а ходят. А я уж не могу...»

Меня горе схватит: «Что уж наша участь какая!»

Потом одумаюсь: «Братишечко, не горюй. Другой бы и рад, как мы, дома посидеть, полежать, да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив — думаешь, мало в нем чахлах, немогущих, сиротливых? А мы живем, не брошены. Смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные — они печали своей не выказывают».

Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове «от веселья сердечного». Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки.

Поздненько я спохватился, что «вдохновения» ждать изнутри себя дело легкомысленное.

Надежно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом.

Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять — записывал редкостные мои мысли как попало, на чем попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, «годами призаживши, летами призабравши», из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверстники, собеседники мои, сотаинники уходят «в путь всея земли». Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли.

И все-таки живет в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного унынья.

Говоришь, значит, что радость утерьял, будто кошелек из кармана выронил. Что уж, сказано ведь: на старости две радости — кила да грыжа.

Отовсюду выходит, что расположенье мое удрученное. Однако выработанная привычка — закреплять письмом сердечные мысли — действует во мне.

«Душа моя мрачна», однако мрачность и удрученность свою анализировать — какая мне от этого польза и кому это интересно?

Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол.

Я чувствую, что стал мал и ничтожен перед величием горя моего. Стал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям.

Житье-бытье в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляется мне злоестью, бессрочной ссылкой.

Знаю человека, уже оскудевающего силами телесными, но еще богатого душевными чувствованиями. Говорит о себе: «В силу недуга я домоседлив, но крылатая дума моя летает широко — зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими. Но не там богатства мои. Сокровищница моя — близкие мои, искренние мои».

Я зайду к этому человеку, он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб, скажет: «По небу — облака, по челу — думы». Я отвечу: «Ум мой долу поник. Ум мой как ночной ворон. Скажи мне слово живое». — «Опять заплачешь?» — «Легче будет».

Блудите, не ленитесь, от каждого из вас пусть хоть два человека приймаются чудным огоньком. От тех четыре, может, и четыре десятка понесут наше душевное художество.

Мне любя срединная Русь деревенская. Время года — петровщина. Дни тихие, ненастливые. Стенка у комнаты стеклянная, и видится она картиной нерукотворной.

За окнами березник, рябинник. Листва загораживает солнце и сияет, как изумруды. Только темнеют густолиственные ветви и сучья. К полудню небо пооблачится. Зачнет погромыхивать дальняя гроза, будто серебряная призрачная кисея опустится на землю. Стекланная стена моей горницы видится новой картиной. Нет ярких красок. Только нюансы нежно-тусклых тонов. Купы деревьев будто карандашом прочерчены на этой чуть подцвеченной акварели.

Куда глаз достанет, видится шелковая пелена. По этой пелене призрачные тени ветвей теми же шелками шиты, каковые краски этого пейзажа. И я спрошу: каковы тона безгагольной тишины? Впрочем, птичка какая-то подобрала тона, посвистит повыше и после паузы возьмет столь же нежно пониже.

И был вечер, и было утро — день второй. Цвет неба — облакитный. Светлошумный ветер. За окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочками стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помавать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас в такт помаванию стариков зачнут кланяться в пояс.

Стремления художника многообразны. Добро, если он сосредоточит свои творческие силы, свой умный взор на образе природы. Люби Мать-Сыру Землю. Согладай красоту природы. Не плавай далеко. Всего света в карманы не уберешь. Ранней весною броди по холмам, по берегам срединной Руси. Собирай в сердце рано-утреннюю красоту. Она отрыгнется нестареющим душевным весельем.

С досадами повторяю слова «краса природы». Созвучие это — пустой орех. Я имею в виду Мать-Сыру Землю — существо таинственное, жизнеподательное, песенное. Сыра Земля — это не торфяная яма. У Матери-Земли очи недремлющие. Эти очи неутомленно согладают днем серебряные облака, ночью — сияние звезд. В косы Матери-Земли заплетены луговые цветы и травы.

Я однажды лез на Митину гору, что в Хотькове. Лез, не чуял колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точно из золота, связи-корни, омытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился: из меди тут ковано или это камень? А после понял на радостях — это кости нетленные Матери-Земли. А на взлобье Митиной горы древле стоял бор: пни заросли давно ельничком-березничком.

Днем в окна глядел дождливый туск.

Я вылез на улицу к вечерней заре. Тонко-облачная пелена стояла над западом. Она светилась золотом, нежным и тусклым.

Но на туске небесном, призрачно и ярко, как свечи, горела листва на деревьях.

Омытые дождем мостовые, бульвары будто вышиты были золотом листвьев. В дом заходим, трем да трем ноги. А как тут можно топтать эту бронзу и красную медь, это червонное золото?

Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, а пей чашу горчее полыни.

Людам горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце «погибающая заря». Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительна, резка, плачевна.

...Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно.

Но где и когда вот так же острожно и горько-плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря?

Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я, ладонь к ладони, бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом! Думал, век буду здесь жить, остается век поминать!»

Вышел на пристань. Увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катала волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат.

Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни. И не «погибающие зори», а свет вижу вековечный.

Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я.

И вот сейчас, глядя на «погибающую зарю», я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быть, которая давно живет в памяти сердца моего.

Ломоносов

Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо особо яркой и могучей жизнью, деяниями особо славными.

Многие звезды украшали русское небо восемнадцатого столетия. Звездой первой величины явилась слава Михаила Ломоносова.

Я помянул, что каждое столетие связываем мы с именами достопамятными. Но были исторические деяния, которые и остались там, в своей эпохе. Остался монумент с эпитафией — и все тут. А были люди, жизненное дело которых вечно цветет и благоухает. Есть имена, вечно юнеющие. Были люди, жизнь которых всегда будет нас увлекать, умилять и вдохновлять.

Всеобъемлющей была душа Михаила Ломоносова, великого ученого и поэта.

Разумными очами он соглядал «беги небесные», движение небесных светил.

Когда возник вопрос о великом морском пути на восток, Ломоносов потщился привести в систему древнее знание своих отцов о «морских разделах и разводьях».

Неусыпающая, ненасытная любознательность снедала душу великого человека. Нам известен ряд ученых-энциклопедистов, современников Ломоносова.

Вдохновенный пафос отличает Ломоносова. Архангельский мужик Ломоносов конгениален был великому философу древности Платону, который гребовал, чтобы творческим пафосом была проникнута деятельность и педагога, и зодчего, и плотника, и кузнеца, и врача, и любого ремесленника.

Старинные люди, расценивая чью-либо многогранную деятельность, говорили: «Это вот — его дело, а это — поделье».

Делом Ломоносова современники почитали его работы по созданию русского литературного языка и действительно блестящие труды по созданию стихосложения, «сообразного натуре языка русского».

Еще с первой половины века восемнадцатого представление о формах и нормах литературного языка было весьма хаотичным. С одной стороны, живую жизнь жила живая народная речь, «великий, могучий свободный русский язык».

Здесь напомним некие обстоятельства в истории русского литературного языка.

Не позже десятого века Русь вошла в орбиту культуры греко-римской, византийской. Появилась неотложная потребность в письменности, тяга к книге, к литературе.

Переводить обширную византийскую литературу на русский язык казалось делом долгим. И Русь воспользовалась славяно-болгарскими переводами, давно бытовавшими на Балканах. В те времена язык южных славян понятен был русскому славянству.

Греко-римская литература, впитавшая в себя всю поэзию и философию эллинизма, пришлось по душе чуткому ко всякой красоте русскому человеку. Так как письменности на русском языке не существовало, язык славяно-болгарских книг стал литературным языком на Руси. Поэтически одаренные наши писатели пользовались славянской речью с большим вкусом. Слог приобретал крылатость и торжественность.

Многовековое сожительство живой русской речи и книжного славянского наречия очень любопытно. В творческом горниле талантливых писателей получался целостный сплав этих двух наречий.

Творец «Слова о полку Игореве» замахнулся, было, болгарской фразой — «не лепо ли ны бяшет». Но дальше мы не замечаем славянских речений.

О литературном языке древней России приходится здесь говорить бегло. Но нельзя не упомянуть чудесного писателя четырнадцатого века Епифания. Русь назвала его Премудрым. Епифаний был другом Андрея Рублева. Лаконизм, и изящество, и нежная лирика объединяют этих двух художников.

Взыскательный вкус и наших современников оценит любимый жанр писателей века пятнадцатого. Это — антии, то есть цветочки. Сборник таких повествований назывался антологией, то есть цветники. Темы здесь русские. Все напоминает русский цветущий луг: ромашки, незабудки, синие колокольчики. Недаром пятнадцатый век был эпохой расцвета и в древнерусской живописи.

В столетии семнадцатом, как бы некое поветрие, усиливается в нашей литературе страсть или мода к «плетению словес». Переушищенность, приукрашенность в литературе ценятся превыше всего. У талантливых писателей это «плетение словес» напоминает кружевное покрывало. Нет нужды, что простодушный грамотей, трудясь над чтением, растеряет и начала, и концы, и хвосты писательской мысли. Таковы были вкусы эпохи: вычурная московская архитектура, кропотливо раззолоченная живопись.

Разум народный не любит жить в застое. Неправильно мнение, что реформы Петра Первого пали на Русь как снег на голову. Ветры с Запада дунули в московскую сторону еще при царе Алексее. Наши поэты старательно укладывают славяно-латинские стихи в формы польско-латинских виршей.

Во множестве списков распространяется переведенная с итальянского книга «Звезда пресветлая». Сказания кратки, поэтичны. Жизнь перенесена в Рим, Флоренцию, Венецию Благоухают цветы, но уже не русские, а розы, лилии, померанцы.

В середине семнадцатого века в домах москвичей появляется западная живопись. Ревнитель старины пишет:

«Боярин Ртищев казал нам голландское художество: бегают персонажи, заголились, брюхасты да мордасты. Я говорю «Девки купаться собрались?» А боярин говорит: «Умолкни. Это „Ангельский собор“».

Холмогорский живописец Никодим Сийский, наоборот, восторгается милотливостью итальянских мадонн. Приравнивает их к рублевским ликам...

**[Рецензия на книгу С. А. Андреева-Кривича
«Ломоносов — крестьянский сын»]**

Ломоносов — явление колоссальное, удивительное.

О Гомере еще в древности было сказано: «Гомер каждому, и дитяти, и мужу, и старцу, дает столько, сколько кто взять может». Жизнь гениального «архангельского мужика» Михаила Ломоносова всегда будет захватывающе интересна и для ученого психолога и для школьника-подростка.

Пушкина, например, у нас любят как живого. Мне кажется, что к Ломоносову должно быть такое же страстное и пристрастное отношение. А о любимом человеке хочется знать все. Хочется подслушать разговоры о нем, хочется видеть воочию скрытое временем.

Все всегда соглашались, что это, конечно, удивительно: в те глухие времена мальчик с дальнего Севера побегал в Москву учиться. Все всегда соглашались, что это был подвиг.

Здесь надобно вспомнить, что «мальчику» было уже девятнадцать лет, что ему пришлось вырываться из богатого налаженного хозяйства. Юноша Ломоносов не просто, не случайно, как пробка из бутылки, вылетел в Москву. Уход свой он обдумал, выносил, выстрадал. Обдумал он отнюдь не материальную сторону. Великая душа, ум сияющий, он ничем звал нищету; отцово богатство отряс от ног, как пыль. По пути скорбному, тернистому пошел, как по цветущему лугу.

Ломоносов не дожил до старости. Не оставил мемуаров. Ему, отцу русской науки, огнепальному деятелю и борцу, недосужно было рассказывать о себе. В ученых трудах своих Ломоносов лишь кратко, к случаю приводит эпизоды из дней юности. Между тем несомненно, что железную упряжку Ломоносова, негибаемую волю выковала природа морского Севера, среда отважных, свободных, предприимчивых поморов. Морская жизнь непременно рождает в человеке любознательность, обостряет пытливость ума.

Отсюда наша заинтересованность этим первым, подготовительным периодом жизни великого человека.

Писатели-беллетристы, каждый в меру своего таланта, давно уже старались воспроизвести перед нами детство и юность Ломоносова.

Особо надо отметить богатую документальным материалом книгу Морозова «Юность Ломоносова».

Поскольку жизнь Ломоносова на родине нам не известна подробно, постольку здесь открывается широкий простор для писателя-беллетриста.

В повести своей Андреев-Кривич изображает в общем два последних года жизни Ломоносова на родине.

Судя по заглавию «Ломоносов — крестьянский сын», автор задался целью доказать, что уход Ломоносова в Москву был, так сказать, организован крестьянским миром. Если это так, то кульминационным пунктом повести является сцена на ярмарке. Доброжелатели Ломоносова обращаются к народу с просьбой помочь любознательному юноше. Сцена эта сделана сильно.

Но возникает вопрос: на ярмарке во всеуслышанье объявляют, что сын видного деятеля собирается бежать в Москву — разве такая сенсация не стала бы через час известна всем и каждому? Любопытство, пересуды, разговоры, вопросы — все это страшно усложнило бы побег Миши. Обо всем немедленно узнали бы родители.

В планах поворотного пункта жизни Ломоносова гораздо более убедительной кажется беседа Шубного и Сабельникова — двух истинных доброхотов, истинных доброжелателей талантливого мальчика.

Этот умственный диалог северных мужиков у костра на фоне светлой северной ночи — одно из лучших мест повести. Автор умеет

писать диалоги, они логически развертываются, оставляют впечатлительные драматических отрывков, дают живые портреты действующих лиц.

Другой обширный диалог, внесенный в повесть,— это разговор Михаила Ломоносова с мачехой.

Мне кажется, никто из художников-писателей не дал убедительного портрета отца Ломоносова. Василий Дорофеевич — личность сложная. Положение отца, лишаящегося единственного сына, отчаянное. Но, конечно, упрямка сына свойственна была и родителю. Во всяком случае, поведение отца изображено в повести достаточно картинно.

Любопытную фигуру создал писатель в лице мачехи. Желая безраздельно овладеть имуществом мужа, она решает погубить пасынка. Заметив пробоину в лодке пасынка, мачеха накрывает пробоину фартуком. Хитрая bestия не догадалась, что оставила улику, свой фартук. Михайло, преодолев злитие волн, остается невредим. Но он понял, что было подготовлено покушение на его жизнь. При встрече пасынка с мачехой происходит «коллоквиум», полный тончайшего психологизма. Злодейка ведет беседу с артистическим спокойствием, мастерски скрывая свой испуг и свою тревогу. Злодейская душа обретает мир лишь тогда, когда уясняет себе, что великодушный юноша навсегда намерен покинуть отчий дом.

Красочно сочинена пикировка Михайла Ломоносова с дьяконом архиерейского подворья. Автор искусно владеет витиеватым жаргоном, который, по традиции, вкладывается в уста духовных особ, но на котором ни попы, ни дьяконы никогда не говорили.

Обширные диалоги представляют как бы стилистическую особенность писателя. Они дифференцируются в памяти, хорошо вкомпонованы в повествование.

Но если автор чувствует себя художником, как осмысливает он включение исторического очерка в повесть художественную? Глава, поясняющая историческую ситуацию ломоносовской эпохи, содержательна и интересна, но исторический этот очерк кажется неожиданным барьером, который приходится преодолевать в ущерб ровному ходу повести.

Замедляет также течение рассказа и обстоятельное перечисление и пояснение аллегорий титульного листа арифметики Магницкого.

Бумажная аннотация книги Магницкого странно пришта к живой беседе Шубного и Сабельникова.

В повести видим еще одно картонное место — схему двинских островов и протоков, прилегающих к Холмогорам. Автор чертит перед нами географическую карту, а не живую картину.

Между тем автор превосходно оживил свою повесть дыханием природы. Когда, например, беседуют Шубный и Сабельников, читатель слышит невнятные голоса ночи, обоняет аромат скошенной травы. Прочитав повесть, думаешь не только о людях, думаешь о ветрах, о туманах, о вьюгах-непогодах.

Если сопоставить величие и значимость личности Ломоносова с беллетристической литературой о нем, то литература эта (преимущественно для юношества) невелика и относительно незначительна.

Ломоносов — великая русская душа, его надо любить, о нем надо думать.

ЮРИЙ КОВАЛЬ

★

ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ

Совсем еще недавно в Москве на Рождественском бульваре жил Борис Викторович Шергин.

Белобородый, в синем стареньком костюме, сидел он на своей железной кровати, закуривал папироску «Север» и ласково расспрашивал гостя:

— Где вы работаете? Как живете? В каких краях побывали?

До того хорошо было у Шергина, что мы порой забывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтоб послушать самого хозяина. Борис Викторович Шергин был великий певец.

За окном громыхали трамваи и самосвалы, пыль московская оседала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен:

А и ехал Илия путями дальними,
Наехал три дороженьки нехоженых...

Негромким был его голос. Порою звучал глуховато, порой по-юношески свежо.

На стене, над головой певца, висел корабль, вернее модель корабля. Ее построил отец Бориса Викторовича — архангельский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор архангельский, корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца: Борис Викторович Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, поморской силы. Истории, которые рассказывает он в книгах, веселые и грустные, случались во времена давние и совсем близкие, и на всех лежит печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Поздней осенью 1969 года я вернулся из путешествия по северным рекам, сестрам Белого озера — Ковже и Шоле.

В Москве было выпал снег, да тут же потаял. Не осенняя, не весенняя, пасмурная и жалкая показалась из-под него земля. День за днем был темен и тускл.

Вдруг ударил мороз, начался гололед.

На Садовом кольце я видел, как перевернулся на всем ходу пикап, вышедший из Орликова переулка. Он опрокинулся на спину, обнажив грязное желтое брюхо, перевалился набок. Колесо отделилось от него, пересекло улицу и, ударившись о бордюрный камень, подпрыгнуло, улеглось у моих ног.

Каким-то образом из машины вылетела серая кроличья шапка. Ветер подхватил ее, и, размахивая ушами, покатился кролик по скользкому асфальту.

Выбрался из кабинки шофер, побежал по улице за шапкой. Я поймал ее, отдал бедолаге. Задыхающийся и полумертвый, он долго стоял рядом, смотрел издали на перевернутую машину.

— Тоска-то какая. — сказал он. — Тоска... беспокойство.

Мороз держался несколько дней. Он разогнал пасмурность, но тоска и беспокойство никак не проходили. Никакие дела у меня не ладилась.

В эти дни разыскивал я Бориса Викторовича Шергина, которого не видел с весны, да не мог разыскать. Звонил к нему на квартиру, на Рождественский — Б-1-36-39. Соседи по коммунальной квартире ничего толкового сказать не могли.

— Где Борис Викторович — не знаем, а Миша в больнице.

Наконец из больницы позвонил мне Михаил Андреевич Барыкин, племянник и самый близкий в те годы друг Бориса Викторовича.

— А дядя Боря в Хотькове с лета остался,— сказал он.— Захотел жить там дальше. Одному ему плохо, а я-то ведь в больнице. Живет у моей матери Анны Харитоновны. Дом голубой под шиферной крышей.

20 декабря, в субботу, я приехал в Хотьково.

Погода сделалась прекрасной. Морозное мандариновое небо, а снегу-то почти не было — иней да ледок на пожухлых травах. Встретились школьники, которые тащили домой елки. На них было приятно смотреть — новогодние ласточки.

На горке, над речкой Пажей, стояли сосны, яркие, медовые. Иглы их были тронуты инеем.

Я перешел Пажу по мостику, слабому, неверному. Поднялся на бугор. Дом голубой под шиферной крышей стоял замечательно, высоко и вольно. От дома далеко были видны хотьковские крыши, сосновая горка названьем Боляничная, тропинка под соснами, узоры, изгибы реки, а правее — мост могучий, железнодорожный, за ним — чернокирпичный остов соборной церкви.

— Как вы речку перешли? — спрашивала меня, встречая, Лариса Викторовна, сестра писателя.— Мостик очень опасный. Мы его называем «мост вздохов». Ходит ходуном под ногами, подкидывает — тут и вздыхаешь... Ах, какая погода. Унылая пора, очей очарованье...— Лариса Викторовна оглядывала меня добро. Седые букли придавали ей вид женщины из старого забытого альбома.— Эта кошка — настоящая муфта,— рассказывала Лариса Викторовна, пока я раздевался, а кошка терлась у ног,— залезет в форточку, как будто кто муфтой заткнул. Коты орут, а она смотрит из форточки — кто там есть, стоит ли выходить?

Появлясь из кухни и Анна Харитоновна, хозяйка дома, дородная и — сразу видно — добродушная тетушка.

— Так с лета у меня и остался,— рассказывала она.— Не хочет один в Москве жить. А я говорю: живите, я и щей всегда наварю.

— Болеет Боря,— поясняла Лариса Викторовна.— Совсем не выходит. Да вот подите к нему в кабинет.

Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и прошлые годы.

Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слезой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверно, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаясь оттого, что они сообщали Шергину особый облик — человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир.

Как-то прошлым летом на Рождественском бульваре Лариса Викторовна показывала мне фото молодого Шергина.

— Боренька здесь похож на Гауптмана,— сказала она.— Верно ведь?

Я согласился, хотя толком и не помнил, как выглядит Гауптман, и мне вдруг очень захотелось нарисовать Шергина. Я тут же принялся за дело, набросал несколько портретов. Один из них попросил написать на память.

Борис Викторович портрета не мог увидеть, но взял лист, положил на стол, подписал. Соразмерить подпись с изображением не удалось. Она получилась в левом верхнем углу и затерялась среди бурных разводов.

— Ну что, Ляля? — спросил он сестру. — Получился рисунок? Или опять я на Гауптмана похож?

— Ты похож здесь на Николая-угодника.

Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского.

— Сумерки! Сумерки! Сумерки!.. Времена темные. Мы с сестрой все вспоминаем, как в Архангельске уже готовились в это время ряженые...

В хотьковском «кабинете», в комнате за печкой, Борис Викторович рассказывал мне о своей нынешней жизни. Я рассказал о поездке на Белое озеро. Борис Викторович был прекрасный слушатель, не пропускал ни слова, заставлял повторять, сокрушался, что реки северные замусорены сплавом, смеялся иногда, как ребенок.

— А я вот сижу как приколоченный, — печально говорил он. — Да и вот Миша-то не ходит, в больнице лежит... уж такой мой душевный собеседник... Сумерки! Сумерки! Не успевает рассветать — и темно. А глаза как чужие стали... только и вижу окна переплет. А о Москве и думать не хочу. Буду Мишу ждать. Ночь не сплю, жду, пока рассвет, вот рамы обозначатся! Сколько вспоминается: вдруг всплывают речи, вот женщина плачет, свои у нее горечи, досады, плачет:

Под угор слезу на камушек,
Погаляжу на Двину...

В комнате чувствовалось приближение Нового года. На столе в банке стояла еловая ветвь. А кроме стола, кровати да табурета не было мебели. Главным героем комнаты было, пожалуй, окно. И сумерки уже туманили его, постукивали под ветром в стекло облитые ледяною коркой вишневые ветки, замороженные золотые шары оплели прозрачный заборчик.

— А еще я по ночам петухов слушаю. Неверные здесь петухи, инкубаторские. Они не понимают полуночи. Поют как попало.

Тут Борис Викторович стукнул кулаком по столу, сильно рассердившись на хотьковских петухов.

Внезапно и Анна Харитоновна ворвалась к нам в «кабинет». Она, оказывается, с кухни услышала про петухов.

— А ведь кур надо вовремя загонять! — возмущалась она. — Дурные петухи! Инкубаторские!

— Поют — ничего не понимают, — вставила с кухни и Лариса Викторовна.

— Как попало бродят! — завершил Шергин.

Тут я тоже возмутился поведением хотьковских петухов, изругал их на все корки, и Анна Харитоновна, которая видела меня впервые, сделала мною довольна. Если ругает петухов инкубаторских, значит, свой человек.

— Вы, Борис Викторович, ему еще про колдунов расскажите, — доброжелательно сказала она.

— Каких колдунов?

— наших колдунов, хотьковских.

— А что, здесь колдунов, что ли, много?

— Ужас просто, — сказала Анна Харитоновна. — Колдуют с утра до вечера.

— Много, много колдунов, — с кухни заметила и Лариса Викторовна, — и очень разные. Могут болячку наколдовать, на корову порчу

напустить. Но Бореньку колдуны уважают. Один обещал даже с глазами помочь, да вот не приходит.

— И на порог больше не пущу,— сказала Анна Харитоновна.— Болтун.

— Когда-то еще Сперанский предполагал заняться колдунами,— сказал Шергин.— У нас в Архангельске, помню, был суд над колдуном, у которого злая сила была. Я мальчишка был, гимназист, не вникал. А свидетелей была целая волость... Я-то был гаупее теперешнего.

Настал вечер. На кухне хлопотала Анна Харитоновна. Заходили соседи, и я все ожидал какого-нибудь колдуна, да они не являлись.

Дружеский разговор писателя; его речь была разнообразна, образна. Я не хотел забыть эти промелькнувшие бланки и жемчужины шергинского разговора и кое-какие слова его записал прямо тогда в «кабинете». Свои-то реплики позабыл и в дальнейшем их опускаю. По слову Бориса Викторовича легко восстановить нашу беседу.

— Старые рассказчики говорят, что теперь культура слушанья упала. Слушать не умеют... В Архангельске я выступал весной сорок первого года на лесопильном заводе. Перед самой-то войной... Меня не отпускали рабочие. Я около трех часов рассказывал. Культура слушанья была высока.

Здесь надо отметить, что Борис Викторович не называл себя писателем, во всяком случае в разговорах со мной. Он считал себя артистом, рассказчиком. Свои вещи он готовил как устные рассказы и только через много лет их записал.

— Сейчас уже не рассказываю... Да уж и очи потухли, и голос пропал... Вот я теперь иногда начну что-нибудь сам себе рассказывать — это уж привычка. Я раньше думал — это свойство артиста рассказывать самому себе, а сейчас думаю — это свойство стариков. Кривополенова сама себе рассказывала. «Я,— говорит,— стенам рассказываю!» И рассказывает, рассказывает сама себе и хохочет, играет сама с собой... И сейчас в Москве, на Рождественском бульваре, выйду на лавочку посидеть перед домом, а ребята московские, футболисты, как свечереет, соберутся вокруг меня — рассказывай! Радио они не слушают, телевизор надоел всем. Вот я слушал по радио выдуманнные легенды о лопарях. Как будто немец какой написал! Там Севером и где пахнет! А передача для детей, для несчастных ребят. Редакторы звезд с неба не хватают!..

Интонации в Архангельске остались старые, словарь изменился... Мне уже не бывать в Архангельске. Меня ругают: «Ну уж ты, бросил родной город». А вот один человек, Третьяков его фамилия, мальчишкой еще прочел мои рассказы. И вот с друзьями — их было восемь человек — стали они копить деньги, чтоб поехать на Север. И поехали. Он до сих пор ездит. «Я,— говорит,— на Север, а жена на курорт». Так она на курорте там и осталась... Рассказы так подействовали, что люди деньги копили. Мне приятно...

Работаю сейчас мало, диктую кое-что сестре... Ляля! Сестра! — Лариса Викторовна на этот раз не отозвалась, была где-то в глубине дома, и Борис Викторович продолжал: — Диктую книгу «Слово о друзьях». Там жизненные резюме о людях... Ляля! Принеси что вчера писали! Ляля! Сестра! Ух ты, глушня!.. Давно эту книгу пишу, много лет уже. Это моя московская жизнь, опыт моих бесед с московскими рабочими и учащейся молодежью. Там я упоминаю разных своих старинных друзей, пишу и о том, как сейчас идет работа с молодежью, борьба с пьянством, с хулиганством. Вспоминаю в этой книге и отцовых друзей — моих учителей. Это были кораблестроители и мореходцы, но какие воспитатели! Они ведь имели дело с дружинами, с бригадами молодежи. Сборные дружины, сбродные, а умели обходиться без боя, без драки.

Второушин Конон Иванович, по прозвищу Тевтон,— вот был воспи-

татель! Директор технического училища в Архангельске спрашивает Конона Ивановича: «Какие у тебя педагогические приемы? Какие методы?» А Тевтон отвечает: «Какие методы? Когда я их воспитываю? За день ребята наработаются, а вечером повалом лягут в избе, а я лягу на лавке, и тогда начинается беседа. Я говорю, а они один за другим начинают засыпать. Я соберу портянки, мокрые валенки и рукавицы, все это положу на печку сушить, а сам писать сяду. Так и воспитываю... Душевное слово — главное в воспитании».

Из «кабинета» за печкой мы постепенно перебрались в гостиную, где был накрыт стол. Собрались и друзья — хотьковские соседи, среди них были, назову точно, Надежда Сергеевна Козлова и Зинаида Яковлевна Ракова, которые здравствуют и поныне и живут все там же, над речкой Пажей.

Анна Харитоновна была подлинной хозяйкой стола. Самые разные грибочки, пироги да варенья украшали стол, только не было на нем ничего редкого, магазинного. Руки у Анны Харитоновны были добрые, округлые, те самые руки, которые вспоминаются каждому из нас, ведь у каждого в жизни, хоть ненадолго, была своя Анна Харитоновна.

— Анна Харитоновна прекрасно плакать умеет, — вполголоса рассказывал мне Борис Викторович. — Вот о моем покойном брате плакала... Сейчас-то уж у нее сил нет...

В этот вечер Анна Харитоновна плакать не собиралась, она сияла и хлопотала, меня закармила пирогами и студнями, и сил у нее много было, я это видел и радовался.

— Спели бы, что ли, — попросил я.

— Да не знаю — что? — засомневалась Анна Харитоновна. Лицо у нее было удивительно доброе и будто вытесано, прошу прощенья, топором.

— У Анны Харитоновны сейчас не поймешь и какой голос, — заметила Лариса Викторовна, — то ли «бас профундо», то ли «меццо кухаркино».

— У нас девушки такими голосами поют: высоко-высоко, до неба доходит.

— наших девок, — горделиво сказал Борис Викторович, — никому не перевизжать.

Анна Харитоновна запела «Меж высоких хлебов затерялось...», и соседки подхватили, только мы с Борисом Викторовичем слушали. Начались и другие песни, мне неизвестные, пела одна Анна Харитоновна. К глубокому сожалению, я не записал ни слова, все внимание мое было с Борисом Викторовичем. Так хорошо было сидеть рядом с ним.

Иногда он наклонялся ко мне, шептал на ухо:

— Мало кто остался, кроме семьи Барыкиных, кто помнит старину... Фольклористы прозевали Подмосковьё. Сколько здесь было интересного. И очень много общего с северными...

Стали просить и Бориса Викторовича спеть былинку. В шутку я предложил подыграть на гитаре. Посмеялись, уж очень несовместимы казались Борис Шергин и современная гитара.

— Под гитару можно частушки петь зубоскальные, — сказал Борис Викторович, — а былинку?.. В недавние времена был такой певец — Северский. Это был модный человек — вельветовая рубашка, брючки, такой модный джентльмен. У него были очень неуклюжие гусли на коленях. Он говорил, что невозможно, как северные сказители, сидеть идолом и дудеть в одну дуду. И вот он очень изящно, со сделанным маникюром, начинал: «Не сырой-то дуб к земле клонится...» Одной рукой аккомпанирует, а другой изображает жестами, что поет. А у нас былины пелись всегда без аккомпанемента. Я видел только одного кареляка, который сопровождал пение игрой на кантеле. А уж тот карел, от которого записана «Калевала», пел без аккомпанемента.

Борис Викторович помолчал, вспоминая, и запел про Авдотью-Рязаночку:

Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось в стародавние годы,
Не от ветра плачет синее море,
Русская земля застонала.
Подымался царице татарский
Со своею синиею ордою...

Вдруг почему-то я вспомнил о медведях.

Рассказал, как напугался однажды медведя, который «мне на ногу наступил» — отпечатал свой след на моем следу. Говорил я взволнованно, и, наверное, в рассказе моем прозвучали нотки пережитой опасности.

— Людей, чистых душой, звери не трогают, — сказал Борис Викторович. — Медведь, если человека встретит, в сторону уйдет. Медведицы бедовы. Не съест, а уж выпугат. Вот знакомая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику. Вычесывает ягоду гребнем, глядь — медведица! И два медвежонка. Идет на Соломониду с распахнутыми лапами. А спички были! Прижалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подождет — в медведицу бросит. А медведица мох роет. Нароет моху — бросает в Соломониду, всю ее мохом залепила. Долго так бросали-то, после уж разошлись, когда спички кончились.

Борис Викторович тут засмеялся, а я записал рассказ на листочке, не зная, что это фрагмент из его вещи «Соломонида Золотоволосая». Моя запись отличается от принятой. Да у Шергина всегда бывали варианты.

С медвежьей темы в тот вечер мы долго не могли слезть, и Борис Викторович много рассказывал. Это не был такой правильный, связный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал...

— А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. «Есть, — говорит, — у меня медведь. Мы с ним спим в охапку».

Борис Викторович засмеялся. Кажется, его смешило это «в охапку», и он повторил:

— «Я с ним, — говорит, — в море хожу да сплю с ним в охапку!» Все-то они с медведями, что Сергей Радонежский, что Серафим Саровский... А волков нет у нас на Севере... Покровителем волков считается великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал...

Про медведя, что мне «на ногу наступил», я думал написать охотничий рассказ и сказал об этом Шергину.

— У нас не говорят: охотник, — заметил Борис Викторович. — Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас говорят: промышленник, промышлять... А ведь надо написать про того медведя. Слово — ветер, а письмо-то — век.

Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспомнил, да сказал вдруг задумчиво:

— А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал...

Прощаться с Борисом Викторовичем никогда не хотелось. Да была уже уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд.

— Покурим последнюю, — сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в «кабинет».

Он курил всегда папиросы «Север», а недокуренные бычки клал на пенек. Это был такой серебряный пенек-пепельница.

— Будто в северном лесу под Архангельском, — подшучивал он над своим курением. — Папиросы «Север», пенек...

Тут я рассказал, что встретил в Москве человека, который состав-

лял для издательства сборник автобиографий советских писателей. Готовился уже третий том таких автобиографий. Не худо бы, толковал я, и Шергину попасть в этот том.

— Третий том? — иронично размышлял Борис Викторович. — Я уж, наверно, в четвертый или в пятый. Нет, не стану писать. Кому это нужно?

Я твердо сказал, что нужно многим, и мне в частности.

Писать для него в то время было делом не совсем простым. Сам писать не мог, диктовал сестре. Раньше-то бывало не так.

— А как бывало? Бывало, пол мету, веник в сторону — и пишу! Ладно, не для третьего тома, для вас напишу. Вдруг и сгодится.

Мы распрощались, а недели через две я снова поехал в Хотьково.

Никак уж я не ждал, но Борис Викторович передал мне пять рукописных страничек, записанных рукою Ларисы Викторовны. К моему изумлению и счастью, на каждой странице в левом верхнем углу было написано: «Для Юры Ковалья», посредине, тоже на каждой странице, заголовок «Б. Шергин» и на каждой же странице в правом углу дата: «3.1.70 г.».

Рукопись эта хранится сейчас у меня. Она действительно не попала пока ни в третий том, ни в пятый. Вот ее текст.

«Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали.

Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала «Будильник». Он вернул мне журнал со словами: «Что же отсюда можно вынести?»

В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью.

Северные люди — мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу.

Я, Б. Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было девятнадцать лет. Но мастерство устного рассказывания, по силам моим, я воспринял много раньше.

Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду «Любовь сильнее смерти», напечатанную в 1919 году.

Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап в моей жизни.

Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки.

В 1924 году издан был в Москве сборник былин с моими иллюстрациями под названием «У Архангельского города, у корабельного пристанища».

В 1936 году выходят «Архангельские новеллы» (М. «Советский писатель») — сборник новелл и сказок, бытовавших на Севере, слышанных от бывалых людей.

В 1939 году вышла книга «У песенных рек» с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собою мыс-

ли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени.

В 1947 году вышла книга «Поморщина-корабельщина» (М. «Советский писатель») — это также запись изустных моих рассказов о Севере.

Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в «Литературной газете», «Известиях», «Ленинградской правде», в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах «30 дней», «Октябрь», «Смена», «Пионер», «Вокруг света», «Нева», «Колхозник».

В этом цикле А. М. Горький считал лучшим сказ «Рождение корабля».

В 1957 году Детгиз издал большую книгу «Поморские были и сказания», оформленную В. А. Фаворским¹.

...И в устных моих рассказах и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль.

В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь.

Приведу такой факт: из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка «Белые одежды». На первый взгляд все одежды были белые. Но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя этого инвентаря, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие «белый» он заменяет словами: цвет сахарный, цвет бумажный, цвет водяной, цвет облачитный (облачный). Мы бы сказали — муаровый.

На другом сундуке тоже новейшая наклейка «Красный цвет». Но старинный составитель инвентаря вместо слова «красный» употребляет слова: цвет жаркий (алый), цвет брусничный, цвет румяный.

Таково же определение тонов желто-зеленых: цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиповый.

Слово «красный» употреблялось в смысле красивый. Народ и сейчас говорит: красная девица, Красная площадь».

На этом текст автобиографии прерывался. Или оканчивался? Шергин был мастером финала, а тут, мне казалось, финала нет, и я высказался в этом роде.

— Какой будет финал — это ясно, — печально пошутил Борис Викторович. — Да что еще говорить? Хватит...

Мне стало неловко. Действительно, что же еще было говорить? Что, мол, еще жив, ослеп, почти забыт, почти не печатают?

— Хорошо и необычно, что в автобиографии много о русском языке.

— Биография писателя — его отношение к слову, — подтвердил Борис Викторович. — Остальное — факты жизни. Первая моя книжка «У Архангельского города, у корабельного пристанища» — это ведь запись устного репертуара моей матери... Анна Ивановна Шергина, хранительница слова... Мать умерла в том году, когда вышла книжка...

О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто, видно было, что никогда с ними в душе не расставался.

— Мой отец был и кораблестроителем и мореходцем. Его посылали в ответственные плавания и на Новую Землю и дальше. Он сорок пять лет ходил в море. Он всегда носил с собой записную книжку и заносил туда что увидел. Вот откуда я знаю берега Белого моря.

Это из моих записей. А вот что писал он в рассказе «Поклон сына отцу»: «Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и рей,

¹ Опускаю несколько строк, в которых Борис Викторович называет ряд своих изданий, да не помнит дат. — Ю. К.

и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет».

На той модели, с которой Борис Викторович никогда не расставался, которая всегда висела над его головой в квартире на Рождественском, парусов уже не было, потерялись остатки изрезанной салфетки. Наверно, они особенно украшали корабль, но и без них видна была подлинность пропорций, красота работы. Отчего-то ясно было, что модель построена той самой рукой, которая создавала поморские корабли и лодьи.

Рядом с кораблем висела на стене окантованная в рамочку фотография, для него чрезвычайно дорогая. На ней он сфотографирован вместе с Марьей Дмитриевной Кривополеновой.

— Марья Дмитриевна — вот уж была артистка! В Москву ее привезла Озаровская — громадный знаток северного устного творчества. Нашла ее в верховьях Пинеги и привезла в Москву. И эта старуха, которая всю жизнь провела в дремучих лесах Пинеги, ничуть не растерялась перед многотысячной аудиторией и прекрасно говорила. Дети, старшеклассники, студенты слушали ее затаив дыхание — настолько она была артистична. Дикция изумительная. А ей было тогда семьдесят два года. Ее репертуар — древний северный эпос.

Я с нею тоже раз выступал, но неудачно, потому что мелодии у нас не совпадали. Один был сюжет, а напев другой. И я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись.

У Марфы Семеновны Крюковой такого таланта не было, а память колоссальная. Фольклористы всегда ее одолевали. Она была очень интересный, по-своему одаренный человек, но вот писатели ее не оценили. Говорили, что такая память, какой она обладала, — патологический случай.

В большой коммунальной квартире на Рождественском бульваре у Бориса Викторовича были две комнаты: темная прихожая-столовая и вторая, посветлее, — кабинет в два окна. В прихожей висели четыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть.

Это были филенки шкафа, расписанные Шергиным. Расписывал он, конечно, цельный шкаф, да когда переезжал с Мало-Успенского переулка на Рождественский бульвар, шкаф не сумели вытащить на улицу, взяли с собой только филенки.

К тому моменту, когда я подружился с Борисом Викторовичем, филенки были уже сильно замыты. Кто-то, не знаю, сестра или племянник, когда-то постарались промыть их от пыли да смыли часть живописи. Надо было им прочесть вовремя у Шергина «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание»: «Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И дряят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах».

Единым взмахом кисти, смело, артистично были написаны эти волшебные филенки. На одной изображен был корабль под парусами, плывущий в волнах и в цветах. Матросы в красных кафтанах, румяные да усатые, браво глядели вдаль, правили «в голомя», в открытое море. А на другой филенке — любезная парочка, фронт и фронтыха, окруженные дивными цветами. Он — в шляпе, в зеленом сюртуке и в парике времен Моцарта протягивает ей запечатанный конверт с любовным посланием. Она — в розовом платье, на плечах какие-то сногшибательные пuffy вроде фонарей и юбка, возможно, а-ля помпадур.

Понимаю, что пересказ живописного сюжета не великая похвала картине, смею, однако, сказать, что Борис Викторович живописец был настоящий. В его росписях видна драгоценная школа народной северной русской живописи.

Филенок было четыре, я описал две. Эти две хранятся сейчас у меня. Хочу сказать здесь, что готов передать эти филенки в любой музей, который не станет держать их в подвалах, а покажет зрителю. Лучше бы всего в музей Шергина, все равно где — в Москве, в Архангельске или в Хотькове.

Конечно, Борис Викторович расписывал не только шкафы, печи, прялки, блюда, ложки, туеса. Писал он изредка иконы, как правило, в подарок дорогим друзьям. Одна из таких икон — «Новгородские чудотворцы» — хранится сейчас в собрании художника Иллариона Голицына.

Нынешние художники-профессионалы, как правило, к «писательской живописи» относятся снисходительно, считают нас, грешных, «малярешками самыми немудрыми». А вот ведь, друзья, Борис-то Викторович Шергин не только кистью владел, а и технику живописи знал так глубоко, как и сейчас не каждому ведомо. Надеюсь, кому-то из художников попадут в руки эти записки. Им любопытно будет прочесть такой рецепт приготовления доски под живопись яичной темперой, взятый из того же «Вопящина»: «У стоящей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуинку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выдающие места, где быть живописи.

Паволока пуцать сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мелью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщены. И по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши...»

Борис Викторович не однажды читал нам «Жизнеописание Вопящина», читал строго и назидательно, но в некоторых местах мы умирали от смеха. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать отрывок для тех, у кого нет книги Шергина:

«Самозванный художник, а по существу малярешко самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность... Но мастер призванный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему, кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могли держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события».

Борис Викторович работал и как художник книги. «У Архангельского города, у корабельного пристанища» и «Архангельские новеллы» вышли в свет с его иллюстрациями. Первой книги я так и не достал, а вторая мне кажется замечательным памятником русского искусства. Борис Викторович сделал здесь суперобложку, переплет, форзац и двадцать четыре иллюстрации. На обложке сильными синими линиями условно нарисована река с надписью: «Северна Двина», а по ней корабли плывут со спинки на обложку, на титуле купидон трубит в трумпетку, бежит прямо на зрителя. Купидон нарисован кистью, тушью, в сложнейшем ракурсе. Иллюстрации Бориса Викторовича в этой книге напоминают работы Н. Тырсы, Н. Кузьмина.

Знание живописи, истинная любовь к художеству светится во многих рассказах Шергина. Меня же, признаюсь, по молодости бесконечно веселило, как Борис Викторович переделывает названия красок: «кобель синий» или «нутро маринино». Художники догадаются, что это кобальт и ультрамарин. А еще у него были не только белила, но и «желтила».

Борис Викторович знал, что я всерьез занимаюсь живописью. Бывало, что я жаловался: дескать, меня ругают, зачем я разбрасываюсь — или уж пиши или рисуй.

— Что уж дураков-то слушать? — успокаивал меня Шергин. — Мне бы сейчас в руки кисть... Как душа просит. Живопись — это как еда, питье, нет, это — жизнь живая...

«А дни, как гуси, пролетали».

Он очень любил эту фразу. Во многих, многих его рассказах снова встречаемся мы с ней — и тронет душу печаль, которую Борис Викторович называл «весельем сердечным».

Был однажды день. Осенний, сентябрьский.

Солнце проникало редующую листву. Легко опускались на бульвар листья, и долго, как в путешествие, шли мы с Борисом Викторовичем к лавочке. Наметили третью, да не добрались, сели передохнуть на вторую.

Борис Викторович всегда-то был светлый, а в этот день, наверное, светлейший.

— Скоро гуси полетят, — говорил он, — с гусиной земли, а уж мне-то — на гусиную землю.

Я засмеялся, стараясь не понять, что такое гусятинная земля, сказал, что это он в мечтаниях полетит на родной Север. А он называл землю, где покоятся души поморов.

Он совсем уже ничего не видел, кроме света, и я рассказывал, что происходит вокруг.

— Это с дерева лист упал. Это дама с бульдогом. Взаимно очень схожи.

Борис Викторович смеялся моим незамысловатым шуткам, попросил подать ему опавший лист и долго держал его, сухонького, в руках.

Он часто доставал папироску, да не позволяя подносить спичку, прикуривал сам. Тогда глаза его необыкновенно оживали, устремлялись к точечному огоньку, и медленно приближал он огонек к лицу своему.

— Я вас никогда не видел, — сказал он.

Я наклонился, и Борис Викторович легко коснулся перстами моего лба и щек.

— Малые корабли строились без единого гвоздя, — рассказывал он. — Они были шиты корнями березы или вереска и были очень крепки. Тишина, белые ночи, когда что полдень, что полночь. Безмолвие. Паруса ветерок надувает, и судно тихонько бежит вдоль берега... А дни, как гуси, пролетают.

В те пролетевшие дни я подготовил для издательства «Детская литература» книжку под названием «Чистый Дор». Название Борису Викторовичу нравилось.

— Только надо шутников опасаться, — посмеивался он. — Скажут еще, что все написанное — чистый вздор!

Некоторые короткие рассказы я читал Борису Викторовичу. Он слушал ласково, смеялся, никогда не делал никаких замечаний. Иногда глаза его делались не такими внимательными, и я это место в рассказе подчеркивал и спрашивал потом:

— Здесь переделать?

— Укатать.

Он редко говорил «обкатываю» про свои рассказы. Он их «укатывал» на слушателе, или «улаживал».

— Мне кажется, в море литературы, — говорил он, — как и в море вообще, текут реки. Много чистых родников и много мутных потоков. В Архангельске, где я родился, провел молодость, юность, живо было устное народное творчество. Крутом там пели еще былины и рассказывали сказки, предания. В молодости я при случае где-нибудь

в знакомой семье пел былины, передавал так, как сам слышал. Но вообще молодые былины не пели, это считалось делом стариков. Мы рассказывали сказки. Говорят, что в детстве усвоил, то остается на всю жизнь. А я усвоил в детстве подлинное былинное звучание, сказы северные, подлинны. Вот так в самом начале я передавал услышанное от старшего поколения устное слово...

Борис Викторович, конечно, знал, что я иногда записываю наши разговоры. Он относился к этому одобрительно, считал, что и они в Архангельске, в детстве, так относились к рассказам своих стариков. Речь его старался я записывать дословно, точно, даже с повторами. Он помогал в этом, замолкал, задумывался.

Ему было очень одиноко в последние годы, он радовался любому гостю, слушателю. И все-таки, беседуя со мной — сейчас я понимаю, — он все говорил не просто так, он меня немного зачем-то воспитывал.

— Сколько писателей — столько рассказов. Если уж писатель пожелает что-то отписать — обязательно отпишет и скажет: взято из жизни. А ведь не разберешься: искренне это или нет? Как же разобратся? Выдает неверное слово.

Журналисты, полагаю, должны уж честно брать сюжет из жизни. Да где они, такие журналисты? А так — откуда взят сюжет? Что-то прочитано, что-то учтено. Вот мы пустим анкету. Пускай писатели скажут, что такое сюжет. Обязательно спутают с фабулой. Писатели всегда путают сюжет с фабулой. Думают, это одно и то же.

— Я тоже путаю, — признался я.

— А вы про это вообще не думайте.

О том, как сам он работает и работал, говорили много, часто, подробно. Из моих записей вполне можно составить рассказ, который надо считать устным, а назвать можно

Рассказ о рассказах

Лет двадцать пять назад я стал интересоваться рассказчиком, личностью рассказчика. Люди попадались очень интересные, но немного хороших рассказчиков на моем пути встречалось, всего несколько десятков человек.

Большинство моих рассказов — и устных и печатных — идут от первого лица — «я». Но это не я, Борис Шергин, это — и молодой моряк, и портниха архангельская, и старуха, которую немцы заставили копать себе могилу. В большинстве случаев я передаю рассказ, слышанный мною от какого-то человека.

Я запоминаю тему рассказа, а потом сам с собою наедине начинаю вспоминать услышанное вслух, а когда улягусь спать, вспоминаю на память, чтобы не забыть сюжет. Стараюсь встретиться с рассказчиком и в другой раз, а если не удастся, я по памяти изображаю этого человека, изображаю словом.

Вначале рассказ получается эскизно, сыровато, а потом уже начинается обработка. Я только тогда выношу вещь к слушателям, когда она зазвучит свободно, импровизировать считаю недопустимым. Рассказ должен быть художественным, должен быть готов в интонациях.

Вот рассказ «Митина любовь». В нем молодой человек говорит о своей любви. Кстати, звали его Дмитрий Иванович Селютин, он жил в пригороде Архангельска и был бригадиром на кораблестроительной верфи. Я слышал его рассказ целиком всего один раз. Он рассказывал скромно, среди друзей, где был и я. Его вызвали на разговор, и он подробно, искренне, тихо повествовал свою историю. Я запомнил этого очень скромного молодого человека.

«Ты сам-то прекрасный, — говорила ему старуха-гадалка. — Только ума-то у тебя нет, а ты, как тетеря лесная, не понимаешь...»

У него в лице была детская простота, но рассказывал он страстно: «У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было...»

Не знаю, жив ли Селютин или нет, я его тридцать лет не видел.

Никто, конечно, не станет в большой аудитории говорить о своей любви. Мне же потом приходилось в более помпезной обстановке рассказывать, да ничего не поделаешь.

Очень много лет я свои рассказы носил только устно. Когда рассказ у меня укатывался, улаживался, я выносил его на сцену — школьную или клубную, — и он продолжал совершенствоваться. Я тогда его пускал в печать, когда он оказывался обкатанным и уложенным. Записывал не сразу. Большие-то повести я не писал, тем более романы.

Конечно, не каждый рассказ вводил я в свой репертуар и в литературу. У меня многое осталось нереализованным. Иногда я пытался сделать рассказ, но малое знакомство с рассказчиком не давало такой возможности.

Я всегда старался колоритной северной речью одеть сюжет. Тут мне один написал, что героя нельзя передавать языком поморов. А у меня как раз самым искренним стремлением было именно этим языком донести рассказ до слушателя.

Вот «Мимолетное виденье» — рассказ портнихи. Я слышал эту историю от нашей родственницы несколько раз. Звали ее Мария Ивановна Зенкович. Муж ее был польский помещик, высланный в Архангельск, служил чиновником особых поручений при губернаторе. Мария Ивановна, портниха, была модная архангельская дама, я записал ее рассказ, стараясь изобразить речь архангельских обывателей: «Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали? Горлопаниха, на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередный, крашенный? Дак от Хионьи Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...» Мне кажется, я точно передаю ее речь. Может, это не так, да переспросить уже не у кого.

«Простоудушно беседея с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадцати языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Малахин, ужаси какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велисапеде приехала».

Мария Ивановна говорила с некоторым жеманством, и надо было передать это в слове. Тут помогли мне особенности портновского разговора: «У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуру, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте...» Рядом с этим сильно звучали простецкие речи: «Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой блаженный в рассужденьи Катерины изумился».

Северные рассказчики не «играют», они преподносят рассказ без жестов, одной только модуляцией речи и трагические и лирические места передают.

Предлагаю еще три устных рассказа Бориса Викторовича, записанных и скомпонованных мною в разное время.

Былина в Москве

Моим постоянным вдохновителем был великий мастер — Владимир Андреевич Фаворский. Он любил классику, древние языки. Больше всего он любил былины.

А публика больше всего любила сюжетные живые рассказы, потому что в современной обстановке былины рассказывать очень трудно. Их пели на кораблях, когда шло спокойное плавание, или в долгие северные вечера, когда торопиться некуда... Зима, моряки дома, по стенам — модели кораблей, древняя русская живопись. Так и три часа можно рассказывать. Северные сказители целый вечер могли говорить, когда в домах собирались люди, например, на святках. В рождественский пост веселых рассказов не было, только былины. На Севере тысячелетние былинные напевы звучали всегда к месту.

Теперь я часто ощущаю, что обстановка мешает. В московский быт былина не влезает. Обстановка и темпы столичной жизни не дают петь долгое, медленное, давнее:

Заводилась непогода у синя моря,
 Доносило непогоду до святой Руси.
 На святой Руси, в каменной Москве,
 В каменной Москве, в Кремле-городе
 У царя у Ивана у Васильевича
 Было пированье, почестен стол.
 Все на пиру пьяны-веселы,
 Все на пиру стали хвастати.
 Прирасхвастался Иван Грозный царь:
 — Я взял Казань, взял и Астрахань.
 Я повывел измену из Пскова,
 Я повывел измену из Новгорода,
 Я повыведу измену из каменной Москвы!

Тут бы и слушать, что дальше-то будет, а некогда вслушиваться москвичам-горожанам, им бежать надо. Фаворский же был классик, он любил былины. В этом месте он особенно оживал, и хоть слушал меня много раз, а все переживал заново.

И все палачи приуражились,
 И все палачи приужаснулись!..
 Один Малюта не ужаснулся,
 Один Скуратов не утратился.
 Хватал царевича за белы руки,
 Поволок его за Москва-реку,
 На то на Болото на Торговое.
 Кладет его на плаху на дубовую,
 Ладит сечь буйну голову.

В подмосковных деревнях в десять часов уже темно, и тут поневоле собираются женщины и что-нибудь рассказывают. Теперь в моде уголовная хроника. И литература детективная нарасхват. Потом, конечно, ее бросают, ибо она не дает ни уму ни сердцу. Здесь, в Подмоскowie, былину слушают хорошо.

Вот что интересно! Под Москвой есть деревни, где говорят на «о»! В Хотькове, я знаю, живет одна старуха лет восьмидесяти, говорит, как на родине, на «о».

Московская речь — образец речи русской, это прекрасная речь.

Речь московска

У нас на Севере над москвичами подшучивали:

Была-то в Москве,
 Шла по доске.
 Доска-то — хрень!
 Я лицом-то в грезь!

И вот изображали тех, кто в Москве побывал, и старались говорить по-московски: «Речь московска, походка господска...» Вот вы говорите: Ванька добрый. Москвичи скажут: Ванька добрай. А северяне скажут: Ванька доброй.

В типографиях, когда печатали мои книги, затруднялись все это передать, еще и не хватало знаков с ударениями. И все печатается без ударения, и все, конечно, страшно врут. Помните, как Мартынок из

сказки поел «рогатых яблоков»? Нелегко это печатно передать, так, чтобы прочесть правильно:

«Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога само- сильных.

Вот так приужахнулся бедной парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что за напасти! Та шкура разорила, при- страмила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря дикого. О, задавиться ле утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучше с хичными хехенами и со львами».

Вот есть такой Омский северный русский народный государствен- ный хор. Очень колоритно цели, по-омски. Раньше ими везде интере- совались, а теперь их всюду гонят. «Спим,— говорят,— только в ваго- нах, сидя. Слушают только веселенькое, а как запоем северную клас- сику, кричат: „Веселенькое что-нибудь!“»

И приходится им размениваться.

Я уж не знаю, кто тут виноват, да только стали им речь выправ- лять. Верно, в Министерстве культуры это указывают. Кое-кому из хористок это стало нравиться. Не хочется нынешним дамам древними бабками слыть, стали петь на «а».

Лет двадцать назад приходили ко мне многие артисты-рассказчи- ки. Лекционное бюро посылало их сеанса на два учиться северной речи. Ну, за два-то сеанса я их выучивал, за один бы ни в жисть не выучить. Так-то.

Старина о Варламии Керетском

В дни юности слышал я от отца поморскую балладу — мы гово- рили: старину — О Варламии Керетском:

— Иерею Варлаамие,
Где твоя молодая жена?
— Она ушла в гости к татеньке,
Ко родителю-маменьке.
— Нет, ерею Варлаамие,
Твоя жена за гудьбой ушла:
Ночью в город Фарлаф на лодье прибежал.
По твою госпожу в божную церковь послал.
Она, боса и пьяна,
С корабельщички целуется,
Со фарлафами валяется...

Всех стихов не помнили уже ни мать, ни отец, забытое переска- зывали простой речью. О том, как поп Варлаамий убил свою молодую жену, занес гроб-колоду на варяжский корабль, перебил варяжскую дружину, открыл паруса, ушел на лодье в море...

И вот приехал ко мне Владимир Иванович Воронин — знаменитый северный капитан. Он знал свой вариант этой старины. Он прочитал его мне и сказал, что всю жизнь собирался записать, скомпоновать свой вариант, я-то и не стал записывать. Вот беда. Что я не записал?

Капитан Воронин с острова Диксона не вернулся. Там он умер. Доблестный был герой полярник. Он вел на буксире баржу. Взял канат, которым была прикреплена баржа, намотал себе на руку и надорвался. Удивительный был человек, артист, рассказчик, каких не бывало. Он любую сценку так умел изобразить в лицах. Теперь и не знаю, кто скажет полную старину о Варламии Керетском...

С Маршаком мы спорили, он говорил, что в России не было бал- лады, дескать, только в Шотландии. А вот ведь попу Варламию во искупление греха определено было вечно плавать во льдах:

Не устал Варлаамий
У руля сидеть,
Не уснул Варлаамий
На жену глядеть,

Не умолк Варлаамий
Кольбельну петь:
— Спи, жена иереева,
Спи, краса несказанная!..

У Бориса Викторовича в комнате висел на стене небольшой этюд, писанный маслом: берег Белого моря. Этюд скромный, в серых и охристых тонах.

— Степан мне подарил, — пояснял Борис Викторович. — Он ведь кончил Академию святого Луки в Париже. Мастер. Живописец. А художников не любил. «Я, — говорит, — пейзажист, а вы-то кто такие?»

О Степане Григорьевиче Писахове — необыкновенном нашем сказочнике, истинной жемчужине русской литературы, Борис Викторович говорил всегда ласково, с большой любовью, но вспоминал о нем с улыбайкой. Шергина смешила эта писаховская фраза: «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?»

— И действительно, кто они такие? — продолжал Борис Викторович. — Иногда и не поймешь. А Степан Григорьевич — живая душа Архангельска. Знал о нашем городе всю подноготную, каждый дом. Живая душа Архангельска — так о нем я думал всегда. Сейчас про Степана да и про меня говорят: говор, говор, северный говор. Мысль живая, живая душа дороже всякого говора...

Не так давно мне попала в руки книга Степана Писахова «Сказки, очерки, письма», изданная в Архангельске в 1985 году. Приятно было прочесть, в его письмах ответные отклики Борису Викторовичу: «...староверы за разрешением спорного места в писании обращаются к Шергину. Борис, прекрасно разбирающийся в древних писаниях и составивший сборник из житий святых острее Декамерона, делает подобающую рожу и разъяняет».

— Очень талантливый собеседник, — рассказывал о Писахове Шергин. — Он застольный рассказчик был прекрасный, а с эстрады выступать не мог. У него дикция была ужасная... Вот отпустил Степан бороду и стал похож на преподобного Серафима. С ним водиться — как на крапиву садиться. Вдруг обидится, не пишет ничего, потом сразу страниц шестнадцать, не знаешь, как и прочесть... Он у меня подолгу гостил. А в Москве знал одну Садовую. Кругом Москвы по Садовой бежит!

Борис Викторович засмеялся. Его смешило, как бежит Степан Писахов вокруг Москвы по Садовому кольцу, шарахаются прохожие, развевается писаховская борода. «Я — пейзажист, а вы-то кто такие?!»

Встречаясь с Борисом Викторовичем Шергиным, подолгу дружески беседуя с ним, я всегда получал только доброе, человеческое, положительное. Он почти не жаловался на судьбу, на слепоту. Он говорил так: «Глаза стали дрейфить».

Долгое время я не знал, что у него одна нога на протезе, спросить, отчего он так трудно ходит, стеснялся. Мне было дорого то, что сижу рядом с ним, слушаю. Видеть лицо его живое, вместе смеяться — было моим счастьем, оно затмевало мне глаза, и я забывал, что жилось ему очень трудно. Денег не было. Книги издавались редко.

Здесь надо вспомнить добрым словом Владимира Викторовича Сякина, редактора издательства «Молодая гвардия». Самоотверженно прошибал он косность сухих сердец, добивался выхода книг Б. Шергина. Владимиру Викторовичу — поклон от читателей, а Борис Викторович любил Сякина, посвятил ему свой лучший рассказ — «Для увеселения».

Журналы, радио, телевидение практически позабыли Бориса Шергина.

— Радиоцентр детского вещания записывал меня два дня. Раньше я по радио рассказывал много, потом там знакомств не стало... Телевидение хотело снять меня, приходили раз... но они с тех пор никто не бывал...

На литературном небосклоне вспыхивали тогда и отгорали звезды разной величины, они брали на себя все внимание бурлящего современного мира, а в самом центре Москвы кое-как сводил концы с концами Борис Шергин. Поразительно было равнодушие именитых писателей, летящих на гребне славы. Его ведь знали многие, да забыли.

А другие, к стыду нашему, не знали, не читали и даже не слышали этого славного имени, а если слышали фамилию, то произносили ее неправильно (правильно — Шёргин).

В те дни я ничего не знал, Борис Викторович не говорил мне о своих «Дневниках». Об этом памятнике русской культуры будут еще много говорить и писать. Мне же терзают душу горькие его записи:

«...Годами забрался, летами зажился. Имени доброго не нажил, дак хотя бы «положения в свете» или запасу про черный день... Ничего нет. Ни постлать, ни укутаться и в рот положить нечего. Нет знакомого человека, у которого не взял бы в долг, и, по-видимому, без отдачи... Иной раз встречу займодавцев своих. Что же... Без стыда рожу не износишь...»

Хорошо еще, что с ним был верный Миша — Михаил Андреевич Барыкин. Они прожили рядом очень много лет. Михаил Андреевич знал, что такое «дядя Боря». Творчество Шергина было и главным смыслом его жизни.

— Если уж я что не так,— говорил он,— то дядя Боря и за меня сделал.

Михаил Андреевич часто лежал в больнице, подолгу не бывал дома, но возвращался всегда к дяде Боре.

Борис Викторович никогда не был женат. Все отцовские чувства отдал он Мише, называл его «душевым собеседником», «племянником», хотя Миша был из дальних родственников.

Михаил Андреевич играл на контрабасе, и бросала его судьба по разным оркестрам. Так и жили они — то Миша заработает на контрабасе, а вдруг да Бориса Викторовича издадут.

Однажды Борис Викторович сказал мне:

— Была такая газета — «Культура и смерть».

Я засмеялся. Я думал, что он шутит так, чтобы повеселить меня. Разговор ушел в любимую северную сторону. Борис Викторович не стал разъяснять ничего. Он понимал, что мне нужно шергинское, а это было другое. Впрочем, я догадался, что речь идет о газете «Культура и жизнь».

И вот недавно писатель Сергей Михайлович Голицын, который знал и любит Шергина, спросил меня:

— А помните, как Борис Викторович называл газету — «Культура и смерть»? Так вы почитайте. Номер пятнадцатый от тридцатого мая сорок седьмого года.

Я прочитал. Не хочется называть автора статьи «Против опошления народного творчества». Впрочем, назову: Вик. Сидельников. Не знаю, что это — псевдоним или фамилия. Лучше бы псевдоним. Не хочу и цитировать статью, но надо:

«Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы ее пахнет церковным ладаном и елеем, веет какой-то старообрядческой и сектантской «философией». Редактор книги т. Циновский и издательство отнеслись к порученному делу безответственно».

Эта ложь по тем временам была убийственна.

Не знаю я судьбы т. Циновского, не знаю даже его имени, но думаю, что сейчас самое время сказать наконец ему спасибо.

Настал для меня час подать заявление в Союз писателей. У меня уже вышло несколько книжек для детей, «норму», нужную для вступления в Союз, я выполнил.

Бориса Викторовича я считал своим духовным учителем и мечтал, конечно, получить от него рекомендацию. Но заговорить на эту тему долго не решался. Не хотелось, чтобы он думал, что мне нужно от него больше, чем он мне уже дал. Вот как неловко записал, черт подери. Ну, ладно. Подъехал я к Мише с этой темой: так, мол, и так, прямо и не знаю...

Михаил Андреевич руками замахал, дескать, дядя Боря к тебе всей душой, а ты... короче, беги в магазин, а я буду котлеты жарить. Так и получил я эту чудесную рекомендацию за столом с котлетами и винегретом. Лариса Викторовна записывала, Борис Викторович диктовал, а Михаил Андреевич меня по спине хлопал.

Пораженный до глубины души тем, что оказался в рекомендации «неутомимым путешественником» и «истинным художником», я ел котлеты и думал: вот как... счастье-то наконец привалило! Дурацкая радость и гордость распирали меня тогда, как, впрочем, и сейчас распирают. Какие еще литературные медали нужны?

Бегу по Садовому вокруг Москвы:

— Вон как Борис Шергин мне написал!

Михаил Андреевич Барыкин был мне добрым другом. Душевный он был человек. Мягкий.

Вот как-то позвонил, а голос хриплый, сиплый, как из парилки:

— Дядя Боря скучает, печалится... намек понял?

И я побежал на Рождественский.

А Борис Викторович не скучал, курил папироску, клал бычки на пенек.

— Прилетел соколом,— сказал он.— Да от Красных ворот лететь недалеко.

Михаил Андреевич накрыл стол. Объявился портвейн. Мы с Мишей выпили.

— Это Миша скучал,— смеялся Борис Викторович.— Посидеть не с кем. Я-то ему надоел.

— Ну дядя Боря,— сипел Михаил Андреевич,— ну, несправедливо... Юрий Осипыч может подумать... а это неверно, да ты и сам говорил...

Здесь, читатель, я должен сказать, что Борис Викторович в рот спиртного не брал никогда в жизни, даже не пробовал. Это я пишу не для того, что сейчас модно не пить. Это — правда. Чокнется с нами, если пристанем: «Ух, крепка, забориста», — а не выпьет. Нас, впрочем, не осуждал никогда, а в назидание читал на память из «Устьянского правильника» — рукописной книги XVIII века:

— Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А скажешь: пьянство ум веселит,— да ведь так и кнут веселит худую кобылу.

Вдруг пришел странный человек. В очечках. Его звали Илья. Он был скрипач и пианист.

— Давай, Миша, сыграем,— сказал Илья.— Мы ведь с тобой старые лабухи.

Стали строить контрабас к роялю, у соседей нашлась гитара, стали ее строить к контрабасу.

Долгий, долгий вечер играли мы втроем «Брызги шампанского», «На сопках Маньчжурии», «Грустный бэби», «О, Сан-Луи». И пели!

Борис Викторович слушал нас и смеялся и никогда не сказал, что мы играем что-то чуждое ему. Он радовался, если у нас получалось. По всем законам песенного времени и пространства Борис Шергин — последний исполнитель тысячелетних былин — должен был сказать: «У нас на Севере поют не так».

— Хорошо,— радовался он.— Как у нас на Севере.

Долго сидели мы, и вечера не хватало. Прихватили ночь — все расстаться не могли...

...А дни, как гуси, пролетали.

Отпевали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела. Меншикова башня. На Чистых прудах.

Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глоцер, Владимир Сякин. Единственным членом Союза писателей оказался я.

Горько плачущая пожилая женщина — вдова художника Ивана Ефимова — все добивалась, есть ли кто из Союза писателей. Глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил так меня наказать. Женщина, не выдающая ничего от слез, накинулась на меня, ничего не выдающего:

— Я хочу выразить свое возмущение! Умер замечательный писатель, а где ваш Союз?

Спасибо Миша вступился:

— Это друг, а не представитель.

— Голубчик, простите,— говорила Ефимова,— но так обидно, нет никаких представителей.

«Да зачем они здесь?» — думал я.

Человек в клетчатой кепке подошел к дверям церкви, вынул венок от Детгиза, снял кепку, внес венок в церковь, вышел обратно, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление.

Был пасмурный промозглый день. Шел мерзлый дождь. Могильщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое, неземное теперь лицо.

«Придет день воскресения, яко светлое утро»,— прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названный брат Бориса Викторовича Анатолий Викторович Круг. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище. Участок № 80.

Холодный пронзительный ветер отогнал нас от свежей могилы. Шофер автобуса торопился, грозил вот-вот уехать и бросить нас. Добрались до Рождественского, никак не могли согреться... и ночи прихватили, вспоминая о русском писателе, святом человеке.

Пролетали гуси... И Борис Викторович продолжал к нам приближаться. Все веселей, дороже становилось его слово. Каждая запись, сделанная невзначай, обретала новый смысл. Я перебирал порою эти записи, вдруг терял их в своих бесконечных разъездах, переворачивал все вверх дном, находил. Писать о Шергине никак не решался, все казалось, это будет второе прощание. В ненаписанном есть жизнь, ненаписанное — это еще не пережитое окончательно. Как будто даже есть шанс снова зайти на Рождественский, услышать доброе слово.

Проходили годы, и вот я — один из самых молодых его друзей — стал одним из немногих. Уже обращаются ко мне как к знатоку, а все мое знание — преданность старшему другу.

Вот все думаю: что же произошло, почему литературные поделки времени заслоняли и заслоняют его имя, неужели «Культура и смерть»? Нет, конечно. Газета есть газета. Ударили сильно, но убийства не состоялось. Шергин остался, только русский читатель был его почти лишен. Да ведь и не только Шергина. Многие вернулись к народу, пусть и к другим поколениям. А творчество Бориса Викторовича как-то и не пропадало. Его ведь иногда печатали. Мало, но тоненькая струйка тиража текла, дотекла хотя бы до нас с вами.

Сейчас, грешник, беседую с литераторами и меряю их порой: знают Шергина, любят ли? Не обвиняю тех, кто не знает,— общая беда, а про себя неинтеллигентно думаю: «Знал бы — лучше писал бы».

В литературе, конечно, есть счет. Это все знают. Есть счет текущего времени и счет всевременного слова.

Вдруг вспомнил: заговорили как-то об аде. Шергин сказал:

— Ад — пустая душа. Душа, забывшая мать, предавшая отца. Другого ада я не понимаю, не принимаю.

— А рай? — спросил я.

— Это просто, — улыбнулся Борис Викторович. — Это — мое детство в Архангельске, живы отец и мать... Это — мы сейчас сидим вдвоем, и скоро Миша придет...

Зимой ли, осенью прохожу по Рождественскому бульвару, считаю лавочки: первая от его дома, вторая, третья. Их зачем-то передвинули — одну чуть влево, другую чуть вправо, неподвижны только два окна, заросшие пылью. После смерти Михаила Барыкина окна онемели.

Был жаркий июльский, какой-то асфальтовый день. Вдруг я вошел в подъезд. Остановился перед коричневой дверью и увидел обрезанные звонки. Видали вы? Кнопка еще торчит на косяке, а провод перерезан — звоните в небо... Я вышел вон, как-то позабыв, что существует метод стука в дверь.

Зашел и в другой раз, твердо и долго колошматил в дверь, наконец открыл ее какой-то мальчик. Открыл дверь и отбежал в сторону. Перепуганно глядел он на меня из глубины коммунального коридора. Я не знал, что делать, и тупо спросил:

— Где мама?

— На работе, — ответил мальчик, и я вылетел из подъезда.

Зачем ходил, зачем пугал детей? Нельзя, наверное, так бездарно бродить по квартирам из чужого времени.

Читатель станет смеяться, но все-таки я зашел туда и в третий раз. И опять был асфальтовый день, и долго не открывали, но хотя бы кричали через дверь: «Кто?»

Открыла женщина, охваченная стихией стирки.

— Здесь жил писатель Борис Шергин, — сказал я. — Скажите, кто-нибудь живет сейчас в его комнате?

Она не понимала ничего, никак не могла выйти за пределы мыльной пены.

Объявился какой-то дальний жилец.

— Да ведь это Екатерина Алексеевна, — сказал он. — Идите в квартиру двенадцать.

Поднимаюсь на другой этаж, я понял, что иду к вдове Михаила Андреевича.

Екатерина Алексеевна открыла мне и вдруг меня узнала — и обо мне слышала и книжки мои читала. Этого я никак не ожидал.

— Где же корабль? — спросил я.

— Здесь корабль, здесь.

Сидя на кухне, я успокаивался, что корабль на месте.

Появилась ее дочь Лариса, которой я хотел было объяснить про корабль, да она оказалась аспиранткой Литинститута и защищала диплом по Степану Писахову. Вот тебе и мои знания про корабль! Заварили и чай с травками.

— В комнаты Бориса Викторовича, — рассказывала Екатерина Алексеевна, — так никого и не поселили. До сих пор стоят там шкаф и рояль. А сейчас дом забирает какое-то министерство, вот мы и ожидаем, когда выселят.

Какое министерство? Когда заберут? Что будет с домом? На эти вопросы ответить, конечно, я пока не могу. А по Рождественскому ходить стало легче. Все-таки теперь известно, что здесь живут люди, преданные памяти Бориса Шергина, и чай они с травками пьют, и про корабль знают.

Никак не могу расстаться с этой рукописью, которая, по сути дела, давно уж кончилась.

Наверное, чтоб затынуть работу, я поехал в Хотьково.

Был август. Жаркий полдень. В речке Паже молодые люди купали большую черную собаку. Остановился с ними поболтать. Про Шергина спрашивать их не стал, чтобы не огорчаться. Поговорили мы с минутой, и я пошел дальше.

Тропинка, ведущая на бугор, справа и слева была обсажена картошкой. Фиолетовые картофельные цветы напомнили о хотьковских колдунах, были велики, как пионы.

Я поднялся на бугор и встал прямо перед домом, в котором много лет прожил Борис Викторович. Вдруг я засомневался. Дом обнесен был высоким глухим забором, которого я не помнил. В соседнем саду под яблоней пожилая женщина мыла в тазу морковь.

— Простите,— сказал я.— Где здесь дом Анны Харитоновны?

— Да вот же он.

— А забор-то вроде не тот.

— Так ведь дом продали сразу после смерти Анны Харитоновны.

— А Бориса Викторовича вы помните?

— Ой, да как же, как же не помнить! Заходите, заходите...

Так встретился я через много лет с Надеждой Сергеевной Козловой. И долго сидели мы под яблоней.

— Борис Викторович, он ведь одну зиму и у меня жил с братом... Все, бывало, ждал его, выйдет на бугор и жалобно так зовет: «Толя... Толя...» У меня тогда сын с Севера вернулся и пил сильно, и мы все ругали его, а Борис Викторович говорил: «Не ругайте, не ругайте его, вы не знаете, что такое Север». Борис-то Викторович уж слепенький был, вот выглянет из окна, вон его окно-то, а я в саду ли, в огороде что-то делаю, ну, как сейчас, морковь мою, Борис Викторович и скажет: «Надя, ты что делаешь?» А я скажу: «Да вот, Борис Викторович, морковь мою». А он скажет: «Надя, ты уж приходи вечером». Так всегда хорошо поговорим с ним, душевно... Не было такого человека, который бы мимо Бориса Викторовича в жизни прошел и не заметил, у всех к нему сердце лежало, это потому, что Борис Викторович святой был, его ведь и колдуны боялись. Я им и говорю: это вам не на картошку колдовать: сама-то в цвет, а в земле-то нет...

— Что ж, неужто есть еще в Хотькове колдуны?

— Да уж этого-то добра хватает... А туда вы, за забор, не ходите, там все изменилось, только вот окошечко Бориса Викторовича, посмотрю и поплачу...

За забор в бывший дом Анны Харитоновны я не пошел. Нельзя мне туда.

Посмотрел на окошечко, пошел обратно.

Главное — «не сронить бы, не потерять веселья сердечного».

Да разве потеряешь?!



АЛЕКСАНДР ЛАВРИН



НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Ночь наступила, и огни погасли,
Лишь буква «М», как огненные ясли,
Горела ярко. Милиционер
Бесштрафно отдал людям мостовую.
Чуть не попав под пару ломовую,
Перекрестился бывший землемер.
И то сказать: обидно умирать,
Когда вот-вот — уже недолго ждать!—
Мы царство Божье на земле построим...

Год тридцать пятый радостным покроем
Кроил красноармейское сукно.
Горело на Пречистенке окно
Писателя Агапова, который
Задерживал его зеленой шторой,
А по зеленому драконы шли
Из дальней и неведомой земли.
Художественным увлекаясь свистом,
Агапов слыл приличным журналистом.
В редакции задание вчера
Он получил: скитаться до утра
По улицам и это в репортаже
Отобразить. Его увидит даже
Товарищ Горький! Он решил издать
Такую книгу, где весь мир за сутки
Изображенным будет в промежутке
Меж сном и явью. Замысел на «ять»!
«День мира» книга будет называться.
Пора идти. Уже почти двенадцать.
Агапов встал и подкрутил усы.
С протяжным стоном пробили часы.

В час пятьдесят на улице Лесной
Зал опустел в подвальном ресторане.
Цыганский хор проплакал на прощанье
Любимую — про терем расписной
И наконец — про горы Воробьевы...
Ах, горы, горы, горы вы мои!
Скажите мне в угарном забытии,
О чем я плачу, глядячи в обновы?
Я не был там, но вижу я насквозь
Все, что гремело кровельным железом,
Все, что по коже проползло надрезом,—
Спустя полвека вспомнить довелось.

Все разошлись. Отшелестели танцы.
Лишь в уголке у пальмы иностранцы
Картаво говорили о своем.
Агапов заслонил дверной проем
И огляделся. Славные ребята!
Конгресса КИМ, конечно, делегаты,
На столике у них ни коньяка,

Ни балыка, зато кругом газеты,
 А в них — цитаты, мысли и портреты,
 Что бьют не в бровь, а в лоб — наверняка.
 Все разошлись, но все-таки в углу
 Сидел, как будто проглотив иглу,
 Замученный любовницей и астмой
 Чернобородый джаз-маэстро Фастман.
 Он целый день в измайловском кино
 Озвучивал немое полотно.
 И он решил сыскать хоть миг покоя
 От коммунальных клавиш, но какой
 Покой, когда не кончен вечный бой
 Кастрюль на кухнях и сердец средь зноя
 На пляжах черноморских, где звезда
 Прожгла песок насквозь и навсегда?

2.10. Крепко спит трамвайный парк.
 Сопят во сне вожатые вагонов,
 Кондуктора, не снявшие жетонов,
 И только в общежитье — шарк да шарк —
 Смирнов крадется, чтоб воды напиться.
 Он из деревни третий день — не спится
 Под теплым полосатым одеялом,
 Похожим на рубашку моряка,
 Все по привычке тянется рука
 За ржавую горбушкою и салом.
 Еще лунатик видится один —
 Он бродит, словно айсберг среди льдин,
 Меж фикусов и олеандров в кадках,
 Он ночь проводит в мыслях и догадках
 О первосути жизни мировой.
 Фамилия его Кореневой.

Он двадцать лет работал кочегаром,
 Пока однажды не хлестнуло паром
 Из лопнувшей от ветхости трубы.
 С тех пор он слеп по милости судьбы.

2.43. Из «Метрополя» пара
 С размаху опрокинулась в такси.
 Один, постарше, прохрипел: «Вези!
 Хотим взглянуть на отблески пожара!»
 Шофер присвистнул: «Этого товара
 Не держим мы, товарищи, мерси».
 Тот, что помладше, выглядел буржуем,
 Скривились дико губы седока,
 И пачку вверх подбросила рука:
 «Пожара нет? Так мы его раздуем!»
 За ним вскричал товарищ пожилой:
 «Катай-валяй по всем по трем, служивый!..»
 И, приседая задницей ленивой,
 Загрохотал «рено» по мостовой.
 «Вот сволочи!» — Агапов посмотрел
 Насмешливо им вслед. С небес летел
 Неясный свет созвездий и галактик.
 С афишных тумб взирал стратег и тактик —
 Блистательный Ботвинник Михаил.
 Подстреленный ретивым атеистом,
 Теряя силы в облаке слоистом,
 Над ним парил архангел Гавриил.

3.18. По Москве гудели
 Невидимые миру провода,

А у Кремля стоял в своей шинели
 Красноармеец Федор Борода.
 Конечно, под луной никто не вечен,
 Но был запасом добрым обеспечен,
 Хранившимся в казарме и на нем,
 Красноармеец: сумкой и бельем
 Исподним, шлемом и противогазом,
 Рубахами, что выдавали разом
 На целый год. Средь прочего к тому ж
 Ремень ружейный, скользкий, точно уж,
 Перчатки шерстяные, шаровары,
 Портянки, утиральники (две пары),
 Три носовых платка и сапоги —
 Чтобы дрожали родины враги!

3.29. Спицами сверкая,
 Педальная машина удаляя
 Вдоль Яузы плелась едва-едва.
 Велопробег Среднеколымск — Москва
 Закачивался, велосипедист
 Последним шел на финишную мету.
 От группы, днем прибывшей к Моссовету,
 Он оторвался, как от ветки лист.
 Цепь подвела, а цель была близка,
 Но не триумф нам важен, а участие...
 И все-таки — как близко было счастье!
 Пот капал бриллиантами с виска.

3.37. Агапова накрыла
 Огромная расплывчатая тень,
 Ботинки заскользили набекрень,
 Как будто под ногами было мыло.
 Глаза подняв, он увидел корабль:
 Мерцали реи, паруса и шканцы...
 Похожий на «Летучего голландца»,
 Над ним висел могучий дирижабль.
 Темнело небо, звездами сияя,
 В клубок свернулась темная Страстная,
 А наверху белело, словно соль,
 Аршинным шрифтом: «ТРЕГУЙТЕ СПЕРМОЛЬ!»
 Обрубленное зданье Госиздата
 На Пушкина глядело виновато,
 А он глядел на дирижабль ночной,
 Вот-вот шагнет, казалось, с пьедестала,
 Но ветер налетел — и все пропало,
 И только пыль взметнулась по Тверской.

3.43. Исчезли пешеходы,
 Но шли ночные важные работы.
 Работы шли. Их цель была одна —
 Чтобы предстало утро обновленным,
 Веселым, сытым и осведомленным
 И от дерьма очищенным до дна.
 Дерьмо бывает разным, и оно,
 Как все на свете, цифрам поддается,
 Хотя б и в яме сточного колодца,—
 Но есть еще духовное дерьмо!
 И чем его измерить — непонятно.
 Капитализма выцветшие пятна
 Еще на теле чешутся у нас...
 На Спасской башне бил четвертый час.
 Закрылись в это время наконец

Московские большие рестораны,
 И кабачки кавказские — духаны —
 Поотрыгали в шапках из овец
 Командированных на мостовую.
 Одних — ошую, прочих — одесную
 От памятника жертвам старины.
 А те, кто прибыл с севера страны
 Последними ночными поездами,
 Не отыскав свободных номеров
 В гостиницах, себе сыскали кров
 У ресторанных дамочек в «Шардаме».

4.7. Центральный телеграф.

Линейный ритм конторских строгих граф.
 Три девушки скучают в аппаратной.
 Агапову — по просьбе деликатной —
 Две телеграммы дали прочитать.
 Одна гласила: «Шаумяна 5
 Всеволжскому дорогой обокрали
 Сижу копейки денег Метрополе
 Пришли шестьсот Сысоев тчк».
 Ну, у кого поднимется рука
 Не выслать денег после этой ноты?
 А между тем за текстом слышно: «Что ты
 Все о деньгах?! Пора и о душе!..»

4.20. Жирные клише

Печатают ротаторы ночные,
 А линотипы, словно заводные,
 Расплавленный заглатывают гарт,
 Чтобы назавтра на миллионы парт,
 Станков, кроватей и прокатных станов
 Легли известья про людей-титанов.

4.40. Мойщицы метро

Из шлангов мыли мраморную стену.
 Гудел насос. За ним неясной тенью
 Ларек виднелся с надписью «Ситро».
 Одна из мойщиц, видно, шутки ради
 Направила трехглавую струю
 В Агапова, и выправку свою
 Он потерял — а был он при параде.
 Кто засмеялся, кто заголосил,
 Но журналисту не хватило сил
 Заплакать, засмеяться ли — отвагу
 Он растерял и лишь смотрел на влагу,
 Стекавшую по складкам пиджака,
 И вдруг почувал: женская рука
 С него пиджак снимает осторожно.
 И следом голос: «Разве ж это можно?
 Ведь вам же так недолго заболеть!
 Идемте вниз — чего на них смотреть.
 У нас в камерке есть утюг-фермент,
 Мы вас просушим там в один момент!»

Агапов глянул вбок и обомлел:
 Пред ним стояла рыжая Венера.
 Все рухнуло — безверие и вера!
 Он застонал и на скамейку сел.
 «Ты дура, Зойка! — девушка вскричала.—

Культурней нужно чувствовать момент!
 Не видишь, что ли, он интеллигент,
 Уж лучше голубей бы обливала!
 Идем, товарищ! — Руку подала,
 Открыла дверь и в темень повела.
 И по каким-то коридорам, лазам,
 По закоулкам, лестницам они
 Пробрались в комнатушку и одни
 В глаза друг другу посмотрели разом.
 И понял он, и поняла она,
 Что вместе встали нынче на пороге,
 Где не помогут люди или боги,
 Где нет греха, но есть одна вина —
 Вина пред тем, что всех и вся дороже
 И от чего, как ДнепрогЭС по коже, —
 Сто тысяч вольт, мильоны киловатт...
 Бессмертен только тот, кто виноват!
 И лампочки шестнадцатисвечевой
 Струился свет, уже соединясь
 С советской властью, — и такая связь
 Была, как прежде, гениально новой.
 Друзья народа щурились со стен,
 И накренился метрополитен,
 Загрохотали каменные своды,
 Сарматы, скифы, прочие народы
 Образовали сто девятый вал —
 Из тьмы времен протягивали руки,
 Вопили, выли, и дробились звуки,
 Как будто рядом шел лесоповал.

Он пробежал глазами по углам,
 Здесь был навален в кучу старый хлам —
 Мешки, веревки, ведра и лопаты...
 Венера улыбнулась виновато,
 С руками руки повстречались вдруг...
 Он прошептал: «Ну, где же ваш уютю?»
 «А вот он где!» — Она прижала руку
 Агапова к девической груди...
 Ударил жар! И вечность впереди
 Разверзлась, обреченная на муку!
 И понял он, что ненавидит свет.
 Там, наверху, любили и страдали,
 Детей качая, не подозревали,
 Что выхода ему отсюда нет.
 А наверху — там будет все, как прежде:
 Каналы лягут, встанут города,
 И пятипалой памятью звезда
 Всех поведет к немеркнувшей надежде.

«Я — вас — люблю...» А в голосе — провал.
 Шагнула вперед, ее поцеловал.
 Она качнулась. На железной дверце,
 Щекоткой звякнув, погасила свет.
 А он достал трофейный пистолет
 И выстрелил в распахнутое сердце.

В МИРЕ НАУКИ

МОРИС МАРУА, ИВАН ФРОЛОВ



ИНСТИТУТ ЖИЗНИ

Развитие техники, новые технологии, возможность воздействия на генетические свойства организмов, загрязнение окружающей среды, не говоря уж о возможной ядерной войне, начинают угрожать жизни, жизни на нашей планете и существованию человека.

Эта истина начала осознаваться уже в 50-х годах, и ведущие ученые мира стали открыто говорить о необходимости объединения усилий специалистов разных стран, работающих в разных областях науки для изучения возможных последствий практического использования результатов научно-технического прогресса.

Известен, например, так называемый Римский клуб, по инициативе которого были созданы первые математические модели глобального развития. К числу таких организаций принадлежит и Институт жизни. В деятельности Института жизни существовала одна особенность, качественно отличавшая его от других организаций подобного рода. Это было объединение ведущих ученых мира, среди которых насчитывалось несколько десятков лауреатов Нобелевской премии. Институт видел свою задачу в организации международных форумов, призванных стать трибуной ученых, внесших крупный вклад в развитие мировой науки.

Инициатором, организатором и бессменным руководителем Института жизни является Морис Маруа, известный гистолог, профессор Сорбонны. Весь Институт жизни в первое десятилетие его существования размещался в одной из комнат в квартире профессора Маруа на бульваре Сен-Мишель в Париже. Теперь Институт жизни имеет две штаб-квартиры — в Париже и Лозанне. Но штат его по-прежнему состоит из нескольких помощников профессора Маруа.

В институте существует своеобразный директорат, или, лучше сказать, ученый совет, члены которого избираются самим же ученым советом по представлению национальных организаций, играющих роль ассоциированных членов института. Совет определяет программу деятельности института, темы очередных семинаров, конференций. В состав ученого совета входят представители самых разных специальностей из самых разных стран мира¹.

Н. МОИСЕЕВ,
академик.

В августе 1987 года в Москве проходил VIII Международный конгресс по логике, методологии и философии науки, в работе которого принимали участие французский биолог профессор М. Маруа и его советский коллега — специалист в области философских проблем жизни и человека, член-корреспондент АН СССР И. Фролов.

Предлагаем читателям запись их беседы

И. Фролов. Прежде всего я хотел бы представить профессора Маруа и сказать несколько слов о его благородной деятельности на поприще служения науке в качестве руководителя Международного института жизни, основателем которого он является. Насколько мне известно (и я думаю, господин Маруа это подтвердит), хотя Институт жизни и называют иногда чисто символической организацией, в действительности это весьма действенная и авторитетная организация. Сошлюсь хотя бы на такой факт. Со времени создания института в 1960 году под его эгидой проведено шестьдесят международных конференций, в которых приняли участие свыше двух с половиной тысяч ученых из шестидесяти стран, включая пятьдесят нобелевских лауреатов. А в последнее время институт провел две очередные конференции на тему «Наука на службе жизни глобальные проблемы».

В начале 1986 года профессор Маруа обратился к Генеральному секретарю

¹ От Советского Союза членами Института жизни являются сейчас член-корреспондент АН СССР И. Т. Фролов и академик Н. Н. Моисеев.

ЦК КПСС М. С. Горбачеву и президенту США Р. Рейгану с письмом, где изложил предложение института о разработке программы «Наука на службе жизни: глобальные проблемы».

Напомню одно из положений ответа на это письмо Михаила Сергеевича Горбачева. Высоко оценивая деятельность института и его программу «Наука на службе жизни», он так охарактеризовал роль и предназначение науки: «Наука и техника нашего времени дают возможность в полном смысле слова украсить жизнь на Земле, создать условия для всестороннего развития каждой личности. И они же, эти творения ума и рук человеческих, угрожают самому существованию человеческого рода. Кричащее противоречие! Мы за то, чтобы наука перестала быть слугой двух господ — жизни и смерти, чтобы она служила только жизни».

Поскольку основная цель и задача института — объединение усилий ученых разных стран мира во имя служения науке, сохранения жизни на Земле, я думаю, правомерно начать нашу беседу с обсуждения именно проблемы жизни — этой общечеловеческой ценности

М. М а р у а. Я ученый-биолог и нахожусь сейчас в несколько затруднительном положении, общаясь с философом. Мне кажется, что диалог такого рода, как наш, и необходим и полезен. Для меня философия — наука наук: в ней анализируются, синтезируются и постоянно ставятся новые вопросы, она изучает смысл неизбежного хода событий, она пробуждает осознанную ответственность и осуществляет обдуманное упорядочение. Однако философия не замыкается в самой себе: она поддерживает внутреннюю созидательность за счет все возрастающего потока информации, получаемого от науки и достижений мысли. В этом длительном процессе, конец которому может положить только исчезновение человека, вклад философии является фундаментальным: это пытливым разум, аналитическая совесть, мудрость, выковывающая самое себя, самообогащающаяся и освещающая горизонты будущего. Мне думается, что философия впитывает науку во всем ее объеме. Как в свою очередь и наука, признавая, что на ней не сходятся все начала и концы, создаст картину Вселенной, распишет фресками историю жизни и человека и бросит философии дружеский вызов на уроках, извлеченных из этого процесса. Своим приглашением вы оказали мне честь, и хочу сказать, что как ученый и врач я также разделяю высказанную вами тревогу и озабоченность.

Героическая поступь жизни развивается более трех миллиардов лет. Условия существования жизни на Земле могут сохраняться еще на протяжении шести миллиардов лет. Из всех живых видов человек появился последним. Каждое человеческое существо неповторимо и потому незаменимо. С появлением человека раскрылись во всем своем богатстве его умственная деятельность, интеллект и духовность. Жизнь становится осознанной, возрастает свобода. От свободы приходит ответственность — ответственность по отношению к самим себе, к потомкам, ко всему живому миру. Такой человек, способный создавать моральные устои, любить и размышлять, достигает вершины своей человечности лишь тогда, когда к нему приходит достоинство, когда он осознает свои права и когда выполняет свой долг.

Повторяю, жизнь на Земле, состоящая из той же материи, что и весь космос, вероятно, зародилась около четырех миллиардов лет назад. Появление жизни — уникальное событие.

И. Ф р о л о в. И неповторимое, продолжающее и сегодня хранить свою тайну.

М. М а р у а. Несомненно.

И. Ф р о л о в. Раз уж вы ответили мне роль философа, то я бы вспомнил, говоря об уникальности и неповторимости жизни, и об уникальности или загадке познания и одновременно о его могуществе, поскольку стремление к познанию неистребимо в человеке.

Философский труд не измерим прямо и однозначно теми мерками, которыми пользуются обычно конкретные науки, в том числе, конечно, и биология. В этом вы правы. Здесь другие критерии, другой подход и другие цели. Я бы сказал так: философия влияет на познание концептуально и больше на стиль мышления, чем на его результаты. Она действует медленно, незаметно. Сфера действия

и проявления философии — сама жизнь, но не всякая, а лишь та, которая озарена интенсивной работой мысли.

М. Маруа. Да, да. Разумеется, у жизни есть своя собственная история. Но я говорю пока о жизни в теоретическом плане и хочу подчеркнуть, что гипотеза об уникальном явлении зарождения жизни базируется, как свидетельствуют об этом и данные физической химии, на доказательстве единства живого мира: единства структур и единства механизмов, обеспечивающих поддержание жизни и воспроизводство ее. Уровни организации различны, однако фундаментальные процессы одинаковы. С помощью электронных микроскопов сегодня удалось открыть единство структуры органических соединений в протоплазме. Все живые существа сформированы из изолированных или связанных клеток. Без клеток нет жизни.

И. Фролов. Да, это доказано наукой.

М. Маруа. Жизнь — неповторимая игра природы. Она следствие протекающих в ней процессов самоорганизации... И во всех клетках — от бактерий до растительных веществ и человека — могут быть найдены одинаковые элементы: цитоплазма и хромосомы. Клетки двух миров — животного и растительного — следуют одним и тем же законам деления. Нуклеиновые кислоты, имеющие одинаковую структуру, создают хромосомы как растений, так и животных.

Но эта идея единства должна быть дополнена взаимосвязанностью живого мира. Двойная взаимосвязанность с точки зрения эволюции показывает, что исторически все высшие формы создавались из более простых; с точки зрения сохранения жизни животный мир целиком зависит от мира растительного: благодаря усвоению хлорофилла последний выделяет органические вещества, которые он не может синтезировать. Другим аспектом этой взаимосвязанности является странный баланс страха среди видов, пожирающих друг друга, чтобы выжить.

У жизни есть политика, которую я назвал бы политикой сохранения, покорения, самовыражения и эволюции. Остановлюсь коротко на этом.

Сохранение. С физико-химической точки зрения жизнь представляет собой борьбу с возрастанием энтропии, то есть с увеличением беспорядка инфраструктуры, который ведет к нарушению термодинамического баланса, к смерти.

Жизнь, похоже, придает большое значение сохранению самой себя. Например, для того чтобы зачать одно человеческое существо, мужской орган выделяет за один раз 200—300 миллионов сперматозоидов, то есть такое количество, которое равно населению Западной Европы. Миллиарды сперматозоидов и сотни тысяч яйцеклеток создаются только для того, чтобы супружеская пара имела возможность родить двух-трех детей.

В борьбе за выживание жизнь отличается щедростью.

Говоря о сохранении, надо также отметить, что жизнь адаптивна, то есть отличается приспособляемостью. Это подтверждается примером таких прочных форм, как споры и некоторые виды семян, находящихся в спячке и затем вновь пробуждающихся.

Вторая политика жизни состоит в покорении.

Жизнь с ее поразительным прошлым проявляет удивительную стойкость и силу. Одна-единственная бактерия, делясь в благоприятных для нее условиях, может создать за восемь дней благодаря геометрической прогрессии репродукции массу живого вещества, превышающую по размерам Землю. Существующая в настоящее время живая материя, распростертая на поверхности Земли, образовала бы слой десятисантиметровой толщины, и из этих десяти сантиметров на долю человеческих особей пришлось бы ничтожная часть — две тысячных миллиметра.

Говоря о покорении, следует сказать, что жизнь, покинув свою колыбель, то есть океан, начала покорение суши, а в наши дни вторгается в космос.

Третьей политикой жизни является самовыражение.

Нуклеиновые кислоты, создающие наши хромосомы, используют алфавит из двадцати букв, роль которых выполняют двадцать аминокислот. Попробуйте представить число поэм, которые природа могла бы написать с помощью таких средств. При помощи этого алфавита жизнь создает, разрушает и воссоздает бесконечное разнообразие своих форм.

Наконец, об эволюции.

Появление около четырех миллиардов лет назад органического углерода

с пиритами возвестило о первом проблеске жизни. В кварцевых отложениях на территории южной Канады обнаружены следы голубых морских водорослей и грибов, чей возраст составляет миллиард восемьсот миллионов лет. В наиболее позднем слое первичной эры — кембрийском — уже содержатся высокоразвитые ископаемые; таким образом, эволюция всех разнообразнейших живого мира за исключением позвоночных закончилась к началу первичной эры. Затем началась хорошо известная последовательность появления рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Последним в этой цепи было появление человека, которое произошло около шестисот тысяч или одного-двух миллионов лет назад. Таким образом, жизнь создавалась тысячелетними усилиями. И самое поразительное, на мой взгляд, то, как жизнь использует крайнюю меру — смерть — в своих собственных целях. Для индивидов такая мера является, конечно, поражением: к смерти апеллировать невозможно. Индивид приносится в жертву ради дальнейшего блага вида. Таков один из уроков жизни. Индивид подчинен видам: индивид умирает, а вид выживает. Но и виды также подчинены еще более загадочным структурам, они тоже не бессмертны. Эволюционное вымирание существует: динозавры выросли до гигантских размеров и исчезли навсегда. Но жизнь продолжается.

Эволюция идет от простого к сложному. Миллиарды индивидов и миллионы видов умирают на благо жизни как чего-то более фундаментального, более масштабного, чем каждый из них в отдельности. Мы должны помнить, что непрекращающийся обмен между живым и безжизненным идет в обоих направлениях. Всегда существует равновесие между жизнью и смертью. Смерть возвращает наши останки Великому Целому. Новые живые существа создаются для дезорганизации и дезинтеграции смерти. Однако снова и снова перекладываются карты. Атомы и молекулы из наших останков становятся базисом новых жизней.

У жизни с ее легендарным прошлым, с упрямым желанием продолжать существование впереди большое будущее.

Нам говорят, что Земля будет пригодна для обитания людей еще шесть миллиардов лет, так что человечество с момента появления на Земле прошло только десятитысячную часть своего пути.

У жизни большое будущее, что бесспорно, но с человеком или без человека?

И. Фролов. Вы подошли к очень важному пункту, к очень важной проблеме, рассмотрение которой фактически выходит уже за рамки биологического познания. Но прежде чем обсуждать ее, я хотел бы вначале также коснуться вопроса о смерти. Точнее, конкретизировать его.

Вы совершенно правы в том, что сложнейшие проблемы социально-этического и гуманистического плана возникают сегодня не только в связи с познанием жизни человека, но и смерти. Как известно, есть такая наука — танатология, которая изучает биологические и философские аспекты этой проблемы. Скажем, в специальных биомедицинских аспектах, с чем вы знакомы, конечно, лучше меня, социально-этические проблемы смерти остро встают в современной реаниматологии, где успехи науки и техники приводят подчас к возвращению к жизни индивида, но не личности, если наступает смерть мозга.

Что это означает и как в связи с этим должны меняться наши привычные представления и практические установки?

Ученый переживает жизнь как высокую трагедию и приходит к выводу, что, может, потому она и прекрасна.

Современная наука действительно открыла многое в понимании биологического смысла жизни и смерти. Причем я бы заметил, что последняя анализируется в данном случае не только в теоретико-эволюционном аспекте, но и с опорой на идеи и представления молекулярной биологии. Известно, что наука внесла нечто новое и в познание социального смысла жизни и смерти, без чего исчезает их человеческая специфика. Вне этих полюсов — жизни и смерти — действительно невозможно понять то, что относится к будущему человека, в том числе и в биологическом плане, и что связано, например, с поиском им решения проблемы долголетия, увеличения продолжительности жизни индивида.

Поэтому столь важно, я думаю, обращение сегодня не только к философской мудрости прошлых веков, но и к фактам и выводам современной науки; внимание к тому широкому спектру проблем, который здесь возникает и который свя-

зан с комплексным подходом к изучению человека, его развития и его будущего.

Другими словами, поскольку человек выступает объектом научного познания в единстве его биологических и социальных качеств, то есть не только как индивид, но и как личность, его исследования должны, я считаю, включать также социологические, поведенческие и гуманитарные подходы и методы. Проблема жизни не может быть выключена из специфических человеческих отношений и оценок.

А теперь по существу поставленной вами проблемы.

М. Маруа. Простите, я вас перебыю. Борьба за жизнь для меня означает прежде всего отрицание опасной философии безысходности. С той силой, которую приобрел человек с помощью науки, безумие нигилизма способно разрушить наш вид, в языках его пламени мы горим. Хотя конец человечества не стал бы, разумеется, сигналом конца Вселенной, он даже не стал бы закатом жизни; это было бы просто угасание одного вида и небольшого числа других, которые исчезли бы вместе с человеком.

Мне кажется, что наиболее настоятельной потребностью наших дней является провозглашение важности и значимости жизни.

И. Фролов. Бесспорно.

М. Маруа. А это отвергает как ересь двойственность, создающую баланс между Эросом и Танатосом — этими олицетворениями Жизни и Смерти. Неправомерно считать, как писал об этом Фрейд, что инстинкт смерти равен инстинкту жизни. Смерть негативна, как зло, которое может быть определено только исходя из добра, или как ничто, определяемое лишь в связи с бытием.

«Является ли жизнь некоей совокупностью усилий, противостоящих смерти?» — этот вопрос Биша уже сам по себе звучит, я считаю, слишком пессимистично, как будто жизнь представляет собой скорее сопротивление, чем победу. Смерть — слуга жизни не только в деле возрождения наших останков для создания новой жизни, но и в озарении светом нашей собственной жизни.

Человек возникает из жизни, частью которой является, в долгой истории эволюционного развития как высшая современная форма. Он принадлежит человеческому роду и неотделим от него.

И. Фролов. Согласен. Я тоже против какого бы то ни было разделения человечества. И более того, полагаю, что диалектическое единство соревнования и конфронтации между двумя полюсами современного мира отнюдь не исключает, а как раз предполагает наличие общих интересов у человеческого рода. Как писал ваш соотечественник, философ Гастон Башляр: «Два человека, стремящиеся по-настоящему понять друг друга, должны сначала противоречить друг другу. Истина — дочь дискуссии, а не дочь симпатии».

Говоря о защите жизни, или, как вы сказали, о борьбе за жизнь, я думаю, нужно ясно представлять по крайней мере следующее. (Во всяком случае мне это кажется очевидным.) А именно то, что вопрос о защите жизни едва ли был бы сегодня столь актуальным, если бы не было реального или предполагаемого противника, скажем так. Ведь как обстояло дело в недалеком прошлом? Традиционно в качестве «противника» для ученого (если говорить о нем) выступали болезни, смерть, сама природа, которую стремились покорить. Сегодня же, как это ни парадоксально, в качестве такого противника выступает сам человек, вооруженный плодами предшествующей работы ученых, смертоносным оружием, которое грозит уничтожить все живое на Земле. Все это, конечно, требует радикальной познавательной переориентации.

У Марселя Пруста есть прекрасное определение жизни Жизнь, говорил он, — это у с и л и е во времени. То есть нужно совершать постоянное усилие, чтобы оставаться живым В наш ядерный век это звучит, на мой взгляд, особенно актуально Нам действительно нужно совершить сегодня некое совокупное коллективное усилие, чтобы защитить жизнь. Тем более что в нашей повседневной жизни мы не всегда можем отличить мертвое от живого. Ведь мертвым может быть и привычная стандартная мысль, стереотипное чувство и так далее. Мы страдаем от неподвижности нашего мышления, от его устарелости. Именно это препятствует взаимопониманию людей нашего времени.

Но это, так сказать, одна сторона проблемы. А если вернуться к области биологических исследований, то тут бросается в глаза следующее.

Я имею в виду то влияние, которое наука о жизни оказывает на общество, на развитие производства (биотехнология и тому подобное), а также непосредственно на самого человека (медицинские приложения и прочее), на ее зависимость от них. Речь, в частности, идет о допустимости или недопустимости по морально-этическим и гуманным соображениям тех или иных биомедицинских экспериментов, об этических принципах генетического контроля, генноинженерных работ, ряда психофизиологических исследований, включая психхирургию. То есть таких экспериментов, которые содержат угрозу для здоровья человека и среды его обитания, таят в себе опасность манипулирования личностью, покушаются на ее неотъемлемые свободы и права. Комплекс относящихся сюда проблем необычайно широк, что, в свою очередь, и находит, как известно, отражение в выработке различного рода этических кодексов, регулирующих научное познание жизни и человека.

Но дело не сводится только к этому. Ведь этика науки не является самодостаточной. Она не может выполнять функцию главного регулятора научного познания. Действенность этических принципов должна опираться и на определения социального установления, которые зачастую различны или даже противоположны в разных социальных системах. Однако здесь существуют и некоторые общие критерии и подходы, которые во все большей степени утверждаются в наши дни, определяя общую социальную ответственность ученых перед лицом угрозы для жизни человека и человечества.

Конечно, наиболее сложные проблемы этого плана возникают, когда мы обращаемся к биомедицинским исследованиям. Потенциальные возможности изменения человеческой индивидуальности с помощью генетических методов, пересадки органов, нейрохирургии или нейрофармакологии особенно в острой форме ставят перед наукой и обществом вопросы о гарантиях сохранности будущих поколений. Вопросы эти не простые. Не случайно они стали предметом серьезной озабоченности мировой общественности. Так, Всемирная организация здравоохранения во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Защита человеческой личности и физической и интеллектуальной неприкосновенности в свете прогресса биологии, медицины и биохимии» подготовила еще в начале 80-х годов специальный документ — «Права человека и здравоохранение в условиях прогресса биологии и медицины». В этом документе, в частности, рассматриваются и вопросы об экспериментах на человеке, о пересадке органов и тканей и тому подобном. В документе анализируются разные подходы и условия, при которых эти операции могут быть научно и этически мотивированы.

Конечно, это лишь одно из направлений разработки социально-этических и гуманистических проблем биомедицинских исследований.

М. М а р у а. Вы затронули необычайно важную тему — ответственности научного сообщества за плоды своей деятельности.

Я занимаюсь биологией. Биолог ежедневно общается с жизнью и полон стремления познать жизнь. Он никогда не испытывает разочарования, когда под его пристальным взглядом на свет выступают новые аспекты. Всегда в глубинах поразительного открытия биолога изумляет великолепие упорядоченности и волшебство законов Вселенной и живого мира. А на смену удивлению приходит чувство уважения. После таких наблюдений крепнет желание предохранить человека от разрушения жизни, за которую он несет ответственность.

Какова же должна быть роль науки?

Наука обогащает наши представления о Вселенной, жизни и человеке. Она вселяет в индивида уверенность. Она дает пищу для размышлений философам и моралистам. Она высвечивает решения, принимаемые современными правительствами. Наука служит основой промышленной деятельности. Однако во всем этом наука не претендует на подмену философа, моралиста, политического лидера или руководителя производства. Здесь проявляется сила совсем другого рода — сила мысли, как вы правильно заметили, исследующей Вселенную и формирующей технические решения практического применения базовых открытий.

Ученые, исследующие реальность, постоянно пытаются раскрыть законы природы, то есть ее интеллигибельный порядок. Они постоянно задаются вопросами. Они привыкают к строгой логике, ибо любое нарушение логики чревато опровержением теории или ошибкой. Существует несколько обнадеживающих

неоспоримых фактов — реальность изучаемого объекта, значение и эффективность разума, приученного к анализу, синтезу, систематизации и символизации.

Престиж ученых велик, ибо в их руках находится ключ к знаниям. Они дают человечеству инструменты, с помощью которых можно контролировать свою судьбу. Они являются героями и демиургами наших дней, ведя битву за интеллект. Как Прометей XX века они воплощают в жизнь самые лучшие чаяния человечества по расширению сферы влияния человека и изменению жизни. Они являются олицетворением вызова и отказа — борьбы разума за знания и его отказа признать современные человеческие условия окончательными и бесповоротными.

Ученые осознают силу науки. Они создают инструменты для коренных изменений и внезапно обнаруживают, что последние значительнее человека. Их можно назвать акушерами будущего. И эта роль вызывает у них озабоченность.

Наука представляет собой орудие человеческой судьбы, ее изменения в лучшую или худшую сторону. Оправданием ее участия в обсуждении стратегии развития человечества является универсальность процессов, четкость ее методов, ценность получаемого и имеющегося в ее руках знания. Совесть ученого вмещает все драмы и случайности мира. И он не может не сознавать, что наука участвует в изменении этого поистине мучительного и великолепного мира.

Оптимизм, внушаемый достижениями науки, не может, однако, изгладить трагедию условий существования человека. Угроза вездесущей смерти распространяется на все виды. Сражаясь с этой глобальной угрозой, коллективная память пробуждает долгий путь жизни, ее битвы, ее сопротивление силам разрушения и вечно сомнительные победы. Но желание жить усиливает ее контратаки.

На мой взгляд, современный человек имеет больше планов на будущее, чем воспоминаний. Его прошлое представляется не более чем узким порогом настоящего, и он всецело занят будущим.

При царящем смятении в современной истории можно почувствовать ожидание нового возрождения, наступление новых времен, наполняющих смыслом наши жизни и направляющих наше поведение. Этот свет придет от двух источников: осознания ценности жизни и утверждения величия, свободы и ответственности человека.

Поль Валери сказал пятьдесят лет назад: «Этот мир, чрезвычайно измененный и переполненный таким обилием силы, приложенной столь неосторожно, достигнет ли он когда-нибудь своего логического состояния? Скоро ли будет найдено допустимое равновесие? Другими словами, способен ли разум спасти нас от положения, в которое он нас ввергнул?»

Ускорение исторического развития ставит наше поколение перед лицом грандиозной задачи: побороть страх достижения определенности, «той страны покоя, где смерть является счастливой тишиной», как назвал ее Альбер Камю, чтобы приблизиться к более ясному видению того, что включает в себя уважение к жизни и приятие смерти, радость и скорбь, успех и провал, прошлое и будущее, знание и любовь, дух предприимчивости и поиск совершенства, созерцание и действие, эфемерность и вечность, часть и целое, атом и Вселенную.

На триптихе Гогена начертана следующая знаменитая фраза: «Откуда пришли мы, кто мы такие и куда идем?» Мы пришли из тьмы времени, и в жилах каждого из нас можно услышать шум времени. Нам столько же лет, сколько и Вселенной, мы ровесники жизни. Кто мы? Проблески совести, в которой обитают неугасимые любовь и надежда. Куда мы идем? У меня нет ответа на этот вопрос, ибо он лежит в области смирения, надежды и заклинаний.

Я люблю жизнь, ибо это величайший объект любви.

Я благодарен за дарованную мне жизнь.

Я благодарен всем, кто на протяжении миллионов лет носил имя живого существа. Они были и являются свидетелями жизни в ее единстве и красе, во всей ее силе и вместе с тем хрупкости.

Я благодарен всем мужчинам и женщинам прошлого и настоящего, которые, в хаосе истории пережив скорбь, слезы и кровь, надежды, любовь и победы, пронесли искру жизни через десять тысяч столетий.

Я выражаю благодарность ученым, героям, святым и простым смертным, во все времена движимым рассудком и сердцем, мыслями и верой, тем, кто

наблюдал, размышлял, постигал, исследовал, трудился, сеял и строил, всем мечтателям, первопроходцам, покорителям, искателям невозможного.

Незадолго до того, как Ромен Гари покончил жизнь самоубийством, его видение мира окрасилось отчаянием. Ему стало казаться, что человек лишен будущего, а любая попытка выжить так же безнадежна, как безответное бросание бутылки в море. «В море так много бутылок, — говорил он мне, — что уже не осталось самого моря». Поскольку я отвергаю такой пессимистический взгляд, я также бросил в море свою бутылку, имя которой Институт жизни.

И. Фролов. Я разделяю ваш оптимизм, хотя должен признаться, что после столь возвышенных и прочувствованных слов в роли философа оставаться довольно трудно. Но проблема слишком серьезная. Или я бы сказал так: поскольку научное сообщество лишь часть мирового сообщества, постольку поиск и возможности решения обсуждаемой нами проблемы становятся еще более трудными. Это очевидно.

Существующие противоречия и конфронтация в современном мире, я думаю, порождаются и связаны во многом с непониманием. С непониманием или нежеланием знать то, что происходит на самом деле. Имеет ли это отношение к проблемам биомедицинских исследований или к любым другим проблемам. Сошлюсь на пример.

Как я уже говорил, биология и медицина становятся сегодня все более весомой частью общей культуры человечества, влияя на многие его представления и ценности, на сам стиль нашего мышления. Однако это имеет, конечно, не только свои плюсы, но и минусы, поскольку, вовлекая биомедицину в сферу интересов широкой мировой общественности, этот процесс приводит к тому, что о ней судят все: с одной стороны, восхищаясь ее достижениями, а с другой — изображая ее подчас в виде своего рода «ящика Пандоры», грозящего бедами и несчастиями людям. Отсюда, кстати говоря, взрыв интереса к обсуждению нравственных, этических проблем познания жизни и человека. Но я бы хотел в этой связи подчеркнуть следующее.

Эволюция нервной системы и мозга человека на протяжении миллионов лет создавала механизмы психической деятельности, ее особенности и связанное с ними большое разнообразие личностных типов людей. И хорошо известно, что именно это разнообразие является важным фактором жизнеспособности человека как биосоциального существа. Мышление как интегративная функция головного мозга человека является наиболее консервативным его свойством.

Подсчитано, что за всю историю мыслящего человека более 90 процентов научного знания накоплено за последние семьдесят пять лет.

Так вот, это огромное несоответствие временных масштабов продолжительности развития науки и техники, с одной стороны, и мышления людей — с другой, и является, на мой взгляд, одним из главных источников тех трудностей, которые стоят на пути изменения нашего мышления, формирования его новой стратегии, соответствующей новым, принципиально изменившимся условиям.

Я уже говорил о том, что человечество — научное сообщество прежде всего — столкнулось в наши дни с беспрецедентной ситуацией. Если недавно мы считали, отстаивая свободу научного исследования, что имеем полное моральное право заниматься наукой, как бы не оглядываясь на последствия и результаты своей работы, то сегодня ситуация изменилась. Если ученый традиционно верил — и именно эта вера питала его свободу занятий наукой, — что борьба за жизнь и здоровье человека, за обеспечение его энергией и другими ресурсами и составляет смысл его деятельности, то теперь под сомнение поставлена сама эта деятельность. Угроза всеобщего уничтожения фактически обесценила и эту позицию. Но именно поэтому я думаю, что нам следует вспомнить простые и вечные истины, на которых зиждется жизнь человеческого рода. Эти истины не измеряются мегатоннами злой и неразумной разрушительной силы, но именно они могут противостоять ей. Это — разум, соединенный с гуманностью, с обычной человеческой мудростью, на что, видимо, и надеялся Поль Вальери.

Как вы знаете, наша страна выдвинула программу полной ликвидации ядерного оружия к 2000 году. Это было сделано в Заявлении М. С. Горбачева от 15 января 1986 года и затем подтверждено в программных документах XXVII

съезда нашей партии, во многих других предложениях и действиях, это нашло свое логическое завершение в договоренности между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глобальной угрозе человечеству противопоставлена глобальная мирная стратегия. В осуществлении ее необходимо, конечно же, участие всех государств и народов независимо от того, в какой части света они расположены и к какой социально-экономической системе принадлежат, какими мировоззренческими или философскими идеями вдохновляются.

Именно это, на мой взгляд, может означать начало нового этапа в развитии человечества, причем теперь уже не только с точки зрения роста его материальной и научно-технологической мощи, но — главное — его мышления и психологии, ценностных ориентаций и гуманистических устремлений. Почему главное? Да потому, что все другое больше подавляет, чем высвобождает основное в человеке и человечестве — его разум и гуманность, простое чувство самосохранения.

Новое мышление — что это? Утопические грезы, идеализм с его верой во «всемирный разум»? Наверное, это было бы так, если бы за этим не стояли конкретные, научно обоснованные исследования мировой ситуации и конструктивные предложения, составляющие суть мирной стратегии. Эта стратегия предполагает поэтапное решение проблемы ядерного разоружения, а значит, она рассчитана и на эволюцию мышления и особенно политической психологии, на их адаптацию к новым условиям и их динамике, диктующей прежде всего рост сотрудичества и международного доверия, воспитания в духе мира.

Разумеется, в полной мере это относится и к тому, что называют обычно экологическим мышлением.

М. М а р у а. Вы правы, сохранение природного наследия — это наш долг.

Земля стала свидетельницей подчинения всего живого и материального мира человеческой воле. Давние геологические катаклизмы привели к исчезновению некоторых видов. Но подобные катаклизмы могут быть теперь инициированы и человеком: он вырубает леса, оставляя на их месте пустыни, он подавляет тысячелетние биотопы, в которых виды смогли выжить благодаря условиям, теперь полностью измененным человеком. Человек истребил некоторые виды животных и даже некоторые человеческие расы. А сейчас он подвергает себя опасности исчезновения своим вмешательством в хромосомы зародышевых клеток. А атомным взрывом человек может уничтожить все высшие формы жизни на Земле.

Сегодня наш воздух, вода наших рек, озер и океанов, почва, возобновимые и невозобновимые ресурсы, природное равновесие мира, фауна и флора, физическая, биологическая, социальная и культурная среды подвергаются серьезной опасности. Планета страдает от действия кислотных дождей, озонного истощения, повсеместного опустынивания, глобального перегрева и вырождения видов.

Повсеместное использование ископаемого топлива ведет к неуклонному накоплению в атмосфере углекислого газа, что приводит к повышению температуры на планете, а это, в свою очередь, влечет за собой подъем уровня моря, величина которого может достичь шестидесяти сантиметров за столетие.

Гены живого мира не могут быть заменены или обновлены. Все их бесчисленное множество бесценно для будущих поколений. Их развитие и видоизменение длилось свыше трех миллиардов лет, а сейчас они разрушаются. Темпы угасания жизни на сегодняшний день возросли, виды живых существ исчезают с такой быстротой, что через тридцать лет такого штурма природы человеком будет уничтожена как минимум пятая часть всех живых видов, деревьев, животных и простых организмов. Качественный уровень жизни человека также тесно связан с культурными ценностями и с человеческой мудростью, зачастую заключенной в философиях, религиях и законах. Творения человеческого духа бесценны. Однако человека отличает беспечность и расточительность.

Среди различных форм жизни на нашей планете человек представляет собой уникальный вид. Если бы меня спросили, что нам следует сохранить и беречь в первую очередь, то я бы назвал не только памятники Нубийской пустыни, Парфенон и Сикстинскую капеллу, но и невидимые нуклеиновые кислоты в наших клетках, дающие нам всю историю утверждения нашего вида. А сейчас этим нуклеиновым кислотам также угрожает опасность...

И. Ф р о л о в. Но я хочу обратить внимание на следующее.

По оценкам экономистов, в последние десятилетия XX века государства планеты будут выделять на природоохранные мероприятия 3 — 5 процентов валового национального продукта, то есть не менее 150 миллиардов долларов в год.

Сейчас предпринимается многое в научно-технологическом и практическом решении экологической проблемы. Однако все эти усилия, вы правы, также могут свестись на нет в результате атомной катастрофы. Поэтому, мне думается, и здесь все очевиднее становится взаимосвязь экологии и политики не только в национальных, но и глобальных масштабах, социальный смысл и значение борьбы за чистую биосферу на Земле.

Кстати сказать, большое значение в этом плане имеет уже подписанная в Женеве представителями тридцати трех стран, в том числе СССР и США, конвенция о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду. Влияние различного рода экологических общественных движений на мировую политику очевидно. Причем стоит отметить, что в них принимают активное участие в последние годы ученые многих стран вне зависимости от их социально-политической структуры, предлагающие теоретико-методологические, общественно-организационные, культурно-воспитательные разработки, а также практические идеи, касающиеся проблем охраны природы и рационального природопользования в широком смысле слова. В частности, одно из таких движений сформировалось на основе постоянной международной конференции (экофорума), организованной журналом «Охрана природы» в Болгарии. Напомню, что еще в 1984 году в Варне состоялась встреча международного и болгарского руководства экофорума, на которой были обсуждены наиболее актуальные вопросы перспективных исследований социально-экологического характера: экономика и экология, наука, образование и экология, охрана окружающей среды и политика, охрана окружающей среды и сохранение мира и другие. Участники встречи приняли «Воззвание к экологам мира и всем деятелям в области охраны природы», которое было опубликовано затем во многих странах. В августе 1986 года в Болгарии же состоялась международная конференция, на которой были рассмотрены экологические императивы мира и вопросы, связанные с ответственностью ученых за охрану природы и мира на Земле. Было создано новое международное экологическое движение «Экофорум за мир», которое с тех пор во все большей степени расширяет свое влияние в мире.

Я хочу тем самым сказать, что экологические, как и другие глобальные проблемы и альтернативы, становятся сегодня осью международной политики, наука смыкается с политической деятельностью. Ученые, обладающие социальной ответственностью, начинают все лучше понимать: глобальные проблемы могут быть разрешены ныне лишь в условиях международного сотрудничества.

Глобальные проблемы влияют на все стороны жизни человечества — его материальную сферу и культуру, мировоззрение и мораль. И это влияние будет, конечно, усиливаться в перспективе 2000 года и далее. И от того, сумеем ли мы найти в максимально короткие сроки пути и методы если не полного, то хотя бы частичного решения или просто смягчения их угрожающей остроты, зависит многое.

Я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Сегодня мы сталкиваемся с проблемами и дилеммами ядерной энергетики и учимся мыслить и действовать по-новому. Но впереди новые и, может быть, еще более сложные проблемы и дилеммы, которые выдвигает новая, «высокая» технология — микроэлектроника, информатика, робототехника, биотехнология. Новая технология требует «высокого соприкосновения» с человеком, обществом и природой. Поэтому столь настойчиво мы говорим о новом мышлении, которое учитывало бы интересы личности и общества, прогресса познания и безопасности человечества.

Отвечая на ваше письмо, М. С. Горбачев, как вы помните, сказал следующее: «Последствия применения новейшей технологии для жизни людей; продовольственные ресурсы и питание; окружающая среда и живой мир; этика и биомедицина; наука, воспитание, телевидение и будущее человечества — эти и другие темы, над которыми работает Институт жизни, поставлены самой жизнью, становятся от года к году все более насущными, порою острыми и жгучими. Может, не все это осознали сейчас, но все это почувствуют и поймут завтра — не далее порога нового тысячелетия».

М. Маруа. Я уверен, что в интересах любой страны, проявляющей здоровую заинтересованность в благоденствии человечества, поддержать деятельность Института жизни, и я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы быть полезным. Будем надеяться, что мы сможем работать в направлении смягчения, если не устранения, вопросов, разделяющих сейчас наш мир.

Институт жизни можно назвать организацией жизнелюбов, группой индивидов, решивших поставить на повестку дня жизнь и предложить ее человечеству в качестве связующей нити. Институт жизни является научной организацией, осознающей достоинство человека и прелесть жизни, которая призывает всех людей к сохранению и повышению уровня жизни. Именно наука, я уверен в этом, может выполнить счастливую миссию служения жизни и человечеству. Институт жизни движет оптимизм и вера в величие человека, здравомыслие по отношению к прочности и хрупкости жизни, к силам добра, заключенным в человеке, и силам зла, которые тащат вид вниз, во тьму, если вид не способен управлять этими силами. Институт жизни — это провозглашение того, что мы являемся хозяевами Земли и частью Вселенной, а также призыв к бдительности, поскольку такое владычество бессмысленно, если развитие совести человека не соответствует росту его мощи.

Институт жизни призывает к тому, что есть лучшего в человеке — к свободе, и к тому, что является его основой и даже внутренним содержанием — к инстинкту сохранения.

Человек представляет собой не простой набор материальных потребностей. Физический голод и жажда могут быть утолены, но на смену им приходят другие виды голода и жажды. Жажда справедливости утолена, но появляются другие потребности — моральные, стремление к обладанию дарами, любовь.

Мы отвергаем крайний пессимизм, лишенный утопических надежд. Хотя мы наблюдаем признаки упадка, мы еще более внимательно вглядываемся в черты рождения и обновления. Мы более чутко реагируем на рассвет, чем на закат.

Вызов, брошенный нашим веком, необъятен, и даже самый рассудительный из нас может почувствовать некоторое головокружение.

Но в Институте жизни этот вызов укрепил тех, кто осуществил оценку человека путем оценки истории жизни. Воспитанные на этой богатейшей истории, эти ученые знают жажду жизни, упорство и жизненные запасы и рассчитывают на способность разума отразить трагическую судьбу. Желание понять, предсказать и сделать, лежащее в основе любви к жизни, направляет Институт жизни к свершениям на благо человечества.

Будущее принадлежит желанию народов жить. Каждая нация удерживает, подобно слабой искорке, частицу надежды на жизнь. Все эти искорки могут быть соединены, образовав яркое пламя.

Я верю: однажды стихийная примитивная сила — жизнь, приведенная в действие для продолжения себя и чувствующая угрозу, поднимется из глубин и соединит главные политические, экономические, профсоюзные, научные и технические силы.

Жизнь выдвигает политические проблемы — потребность обеспечения биологической безопасности добавилась сегодня к другим потребностям. Политическая игра будет вестись все с большим нарастанием биологических потребностей человека, а также его качественными, эстетическими и духовными нуждами.

Институт жизни не стремится к замкнутости. Мы верим в необходимость открытой организации, основным отличием которой является ее способность работать над новыми проблемами, поднимаемыми эволюцией истории, организации, философия и устремления которой должны быть постоянными и соответствовать в этом стремлениям самого человека, но которая должна обладать способностью к адаптации и самообновлению.

И. Фролов. Широкое международное сотрудничество ученых немислимо без этого, если они действительно стремятся к упрочению тенденций самосохранения человечества. Ведь речь идет, по существу, об одном из главных направлений разрешения противоречий, лежащих ныне в основе многих насущнейших общечеловеческих задач.

Собственно, под влиянием необходимости сотрудничества в решении этих задач и будет усиливаться интернационализация жизни человечества, которая

происходит по мере интернационализации его экономического и культурного развития. Интернационализация жизни человечества в перспективе может стать более прочной основой развития человеческой цивилизации и мышления, исходящего из признания самостоятельности и независимости каждой страны и народа и вместе с тем общности их интересов, единства рода человеческого перед лицом всеобщей термоядерной угрозы и обострения глобальных проблем настоящего и будущего.

Такая философия и такое мышление, утверждающие новый этос науки, безусловно будут способствовать нахождению новых форм практически-политического действия по укреплению глобального потенциала сохранения жизни и мира на Земле.

М. Маруа. Диалектическое видение является одним из ключевых средств в объяснении мира. Пожалуйста, простите философствующему дилетанту его попытку перечислить некоторые категории диалектики, которые кажутся не относящимися к делу. Это — диалектика небытия и бытия, нуля и множества, эфемерного и постоянного, ограниченного и превосходящего, величия и скромности, тайного и близкого, жизни и смерти, индивида и вида, общего и частного, полновластной простоты фундаментальных законов и изысканной сложности выражений жизни, случайного и неизбежного, подверженности живых существ — например во время эмбрионного развития — воздействиям извне. Этим объясняется разница между кодом и сигналом, генетической информацией и реальным фенотипом, который сам по себе уязвим к случайным событиям истории. Кроме того, существует диалектика науки и техники, науки и власти, силы и хрупкости, инстинкта и интеллекта, природы и воспитания, утопии и реальности. Как вы можете предположить, в своем воображении я поместил Институт жизни в центре всех этих диалектик, но чтобы вы й т и за их рамки. И я солидарен с примером вашего выхода, когда вы сказали, что вы «против разделения человечества». Что «диалектическое единство соревнования и конфронтации между полюсами современного мира не только не исключает, а предполагает наличие общих интересов человеческого рода».

Институт жизни подлинно действенная организация. Со своим капиталом всемирного доверия, науки и высокоразвитой техники, со своим знанием законов жизни и постоянных потребностей человечества, со своей позитивной философией служения человеку и человечеству, со своей автономией мышления, независимостью и энтузиазмом Институт жизни продолжит анализ условий человеческой жизни, направленный на оказание людям помощи в выборе их судьбы.

Когда я получил ответы от руководителей двух сверхдержав, я почувствовал, что Институту жизни доверена уникальная миссия: подготовить предложения, на основе которых может быть открыта дорога к согласию.

В октябре 1986 и в январе 1987 года ученые из одиннадцати стран, включая и вашу страну, собрались по приглашению Института жизни в Швейцарии. В результате был сформирован постоянный комитет, в который войдут ученые еще не менее чем из двенадцати стран.

Целью данных конференций была подготовка программы «Наука на службе жизни: глобальные проблемы». Главы правительств восьми стран оказали в этой связи честь Институту жизни, прислав специальные послания с выражением добрых пожеланий в нашей дальнейшей деятельности.

Нами было выбрано четыре темы для обсуждения: человек и окружающая среда; защита биологического разнообразия; молекулярные механизмы биологических реакций, связанных со здоровьем, болезнями, наследственностью и старением; наука и общество.

Институт жизни выступает за осознание ценности и красоты жизни. Наше послание — это наша мольба о жизни. Это призыв к единству и солидарности человеческого общества. Это приглашение к созиданию добра и справедливости. Ибо Жизнь — наша родина.

ПУБЛИЦИСТИКА

АНДРЕЙ НУЙКИН



ИДЕАЛЫ ИЛИ ИНТЕРЕСЫ?

По страницам газет и журналов

ПАРАДОКСЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Самое невероятное и «фантастичное» в перестройке — это то, что она началась и, несмотря ни на что, продолжается. Нет-нет, и про историческую необходимость, и про законы развития, и про волю масс я тоже слышал, но для мировой истории лишних сто — двести лет застоя — это «пустяк», на который она не обращает внимания. А демократия, жосрасчет, гласность и тридцать лет тому назад были для нас не меньше необходимы, чем сейчас. Что ни говорите, а просто не верится, что все это происходит с нами! Тем не менее: «Да, это мы. Это мы вчера мирились с тем, с чем сегодня не миримся. Это мы вчера молчали о том, о чем сегодня не молчим. Это мы вчера робели перед теми, перед кем сегодня не робеем. Это мы вчера и подумать не смели о том, о чем сегодня пишем в газетах» (А. Гельман — «Литературная газета», 10.09.86).

Столь резкого скачка в развитии общественного сознания наша страна, думается, не знала со времен Октябрьской революции. Мог он произойти в 20-е годы, но не произошел, потребность в нем была не меньшая, но сознание широких слоев населения было не готово, не захотело «скакать».

Право слово, ощущение такое, словно сидели мы в шахте, за завалом, и вот к нам дыру пробурили, шланг просунули, кислород качают — дышим мы не надыхшимся. Праздник, эйфория!.. Ох как бы нам, глотнув чистого кислорода из «шланга», не поддаться этой самой эйфории чрезмерно, не забыть, что завал-то еще пока не разобран, что порода-то над головой подрагивает, потрескивает, и порой очень угрожающе.

«Почему мне стало сейчас еще труднее работать? — с горечью и недоумением спрашивает ведущий конструктор махачкалинского сепараторного завода В. Старокожев. — Почему не могу с полезным предложением пробить стену равнодушия?.. Почему я не нахожу поддержки не только в своем городе, но и в Москве?.. Почему на родном заводе не вижу перемен к лучшему? Почему перестройка, в которую я сердцем поверил, приносит мне неприятности?..» («Правда», 23.06.87).

Частный случай? Естественное проявление провинциальной косности? Но вот оценка хода перестройки, прозвучавшая в самом эпицентре ее (в докладе первого секретаря МГК КПСС на партийном пленуме): «Москвичи твердо настроены на перестройку. Но... в письмах, беседах с трудящимися начинает чувствоваться их беспокойство за ее судьбу. У определенной части москвичей наступает даже разочарование. Возникает реальная опасность разрыва слова и дела: сказано немало, а результаты незначительны. Многие хорошие решения вязнут, как в вате» («Московская правда», 9.08.87). Неизбежное следствие идейной незакаленности этой самой «определенной части москвичей», их мелкобуржуазной неустойчивости? Помните, что говорилось в свое время о революционере этого типа? Он, как с иронией отмечал Ленин, «легко переходит к крайней революционности, но не способен проявить выдержки, организованности, дисциплины, стойкости». Увы, такая революционность обладает способно-

стью «быстро превращаться в покорность, апатию, фантастику...»¹. Все вроде бы соответствует сегодняшней нашей ситуации, а стало быть, тревожиться за перестройку нет особых оснований? Надо просто запастись терпением, стойкостью, учиться элементарной деловитости, уметь решать пусть не планетарные, но реальные практические задачи. Каждому на своем участке.

Без скорбных вздохов и криков «ура»
Давайте делать дело,
А то говорить мы все мастера,
Хватит, надоело,—

это я записал в дневник еще в начале 60-х. Уже тогда до смерти приелись пустые разговоры, неумеренные ликования и молиеносные разочарования. Дел-то нам история припасла — непереворот. Да каких! Разработать и опробовать экономические методы управления народным хозяйством в особых условиях общественной собственности на средства производства; восстановить в правах и освоить на практике демократию, законность, гласность; поставить науку на службу обществу, очистив от забивших все ее поры приспособленцев и бездарей; сравняться (хотя бы) с наиболее развитыми странами по производительности труда и качеству продукции; поднять благосостояние и бытовую культуру до уровня, за который было бы не стыдно; очистить от толстой корки наслоений наши социальные идеалы, создать атмосферу нравственной чистоты и взыскательности на всех этажах нашего общественного здания; разработать и внедрить действительно социалистическую систему образования, воспитания и профессиональной подготовки; найти способы остановить стремительное скатывание к экологической катастрофе; добиться перелома в международных отношениях — перейти от бесплодной и опасной конфронтации к конструктивному сотрудничеству в разрешении мировых политических, экономических, экологических, гуманитарных проблем.. И все это задачи не абстрактного будущего, а сегодняшние, неотложные задачи перестройки. Наивно было бы в разрешении их надеяться на быстрый успех, на неуклонное победное восхождение. Тут надо настраиваться на долгое усилие, на терпение, стойкость, уметь не паниковать по поводу любых (неизбежных) ошибок, неудач, срывов, развенчанных иллюзий.

«Мы только начинаем, мы только приступили к перестройке!» — очень резонная реалистическая формула, но... одновременно и очень коварная, чреватая утратой самокритичности, благодушием и снисходительностью к собственной вялости и неадекватности. И вот если подходить к каждому нашему сегодняшнему шагу с этих позиций — позиций неуспокоенности и бескомпромиссности, то придется признать, что у «определенной части москвичей», как и у жителей прочих наших городов и сел, накопилось вполне достаточно оснований и для тревог, и для разочарований, и для недоумений в связи с целым рядом парадоксов, загадок перестройки. Выделим хотя бы некоторые из них, выявленные и зафиксированные в нашей периодике, на которую я и попытаюсь опереться в осмыслении сегодняшнего дня нашей жизни.

«Дело ни с места, хотя все — „за“» — так озаглавлена заметка инженера Г. Уварова, посвященная развитию кооперации в сфере услуг («Известия, 1987, № 176). В заглавии этом сформулирован один из главных парадоксов перестройки вообще. Все мы в одной лодке, по одну сторону баррикады, всей душой бодем за демократию, правду, справедливость, экономическое и нравственное здоровье общества, а лодка... не сразу и поймешь порой, куда она движется. С одной стороны, вроде бы решительно преодолевает встречное течение, с другой — глянешь на берег, а кустик напротив все тот же маячит.

Повторюсь: не о тех задачах, которые заведомо требуют для своего решения времени и терпения, идет речь. Нет, только о тех, в решении которых мы вправе были ожидать результатов быстрых и очевидных.

Обратимся для примера к такому вот предельно простому факту. Трудно найти в нашей стране человека, который не намучился бы с нашим сервисом, со слесарями домоуправлений и ЖЭКов в том числе: ходи за ними, упрощивай, в лапу давай — все едино: краны текут, батареи не греют, сантехника журчит. А вот журналистка Н. Зенова засвидетельствовала: «Слесари-сантехники в ЖЭУ № 5 (Свердловска.— А. Н.) на работе не пьют, денег не берут, на вызовы жильцов спешат (два часа —

¹ В. И. Д е н и н. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 14.

вот максимальный срок, который они установили себе для выполнения любой заявки), в будни по скользящему графику дежурят до девяти часов вечера, в субботу и воскресенье — до шести» («Литературная газета», 7.08.85). Но заявок у них мало по причине методично проводимой профилактики Чудо? Пришельцы из иных миров посетили ЖЭУ № 5? Нет. Просто перешли слесари на бригадный метод, работают половинным составом, зарабатывают вдвое больше. Работой дорожат. Казалось бы, как не хватиться двумя руками за такое открытие? Да еще при столь острой (якобы) нехватке рабочей силы. Увы, два года минуло, а краны как текли по всей стране, так и текут, слесарей же даже рублевкой уже не подманишь к тем кранам. Пятеркой разве что. Не загадка ли?

«Представим на миг, что все соседи вышли на наш уровень. Куда мы будем деваться с мясом, молоком, зерном?» — такой вопрос задает нам с вами директор совхоза «Назаровский» А. Ф. Вепрев («Известия», 1987, № 76). Вопрос не праздный и не издевательский. Тут что интересно: совхоз «Назаровский» расцвел не на украинских жирных черноземах — в Сибири. Сливки, чтобы (по методике Лысенко) коров поить, ему государство не выделяет. Все тут сделано руками рабочих, подкрепленными талантом и стойкостью характера А Вепрева, двадцать семь лет бесценно занимающего пост директора. Каждый работник в совхозе производит продукции на 30 тысяч рублей в год (в три с лишним раза больше, чем по краю и по стране). Двадцать лет совхоз на самофинансировании, дает в год до 10 миллионов рублей прибыли. Один человек обслуживает тут 3 тысячи свиней, производя центнер мяса менее чем за час. На центнер молока затрачивается чуть более двух часов (в 3—4 раза меньше, чем по Союзу). А на центнер зерна — десять минут! И себестоимость его, как и мяса, вдвое ниже, чем в США.

В чем же секрет чудес в совхозе «Назаровский»? Директор дает такую лаконичную формулу, раскрывающую его: «Можно сказать, что весь совхоз находится на коллективном подряде».

И опыт «Назаровского» — отнюдь не первое свидетельство того, что названная форма организации труда (делающая работника реальным хозяином производства) творит чудеса. С неотвратимостью. И с легкостью необычайной.

Вспомнив об одном из первопроходцев безнарядно-звеньевой системы организации и оплаты труда (который «умер в колонии, раздавленный юстицией») — Иване Худенко, Ю. Черниченко назвал такие вот цифры: «В сравнении с обычными хозяйствами в опытном совхозе в четыре раза ниже себестоимость зерна, в семь раз выше прибыль на одного рабочего, в четыре раза больше зарплаты» («Литературная газета», 21.01.87).

Тут речь идет о совхозе в Акчи. Такие же чудеса сотворила разработанная Худенко безнарядная система в 1963 году и в совхозе «Илийский» Алма-Атинской области. Вот ведь какими лежащими на поверхности резервами мы располагаем! Даже весьма далекое еще от абсолютной справедливости приближение к оплате по конечным результатам приводило и приводит везде с неотвратимостью к чуду: без всяких капиталовложений, без дополнительной техники, без интенсивной технологии один человек оказывается способным делать то, что раньше делали... восемь! И урожайность при этом резко возрастает, и себестоимость резко падает, и о дисциплине исчезает необходимость вести безнадежные разговоры, и контролировать никого не требуется! И техники лишней оказывается пропашть

Чудо? Может быть. Но не загадка и не парадокс. Каждый, кто хоть немного разбирается в политэкономии и задумывался над проблемами социальной психологии, понимает: это естественно, это нормально, иначе и быть не может! Загадка тем не менее есть. И очень большая. Она вот в чем: почему же, если еще двадцать лет назад гонимый и преследуемый коллективный подряд увеличивал все показатели в несколько раз, сейчас эффект его, всеми одобренного и поддержанного, измеряют считанными процентами? И еще Опыт Худенко на практике доказал: с тем объемом работ по производству зерна, с которым у нас едва управляют 830 работников, вполне (при улучшении всех показателей) способны справиться 100 механизаторов широкого профиля. Но... слышали ли вы, чтобы в каком-нибудь колхозе или совхозе в результате применения безнарядно-звеньевой системы ныне оказались лишними хотя бы несколько десятков рабочих? Я вот впервые прочитал такое: в совхозе «Назаровский» раньше работало 1700 человек, сейчас работает 1000. А без этого откуда взяться скачку производительности, зарплаты, падению себестоимости? Это же азы.

Тем не менее миграции населения из села пока что-то не предвидится. Парадокс, да и только.

Впрочем, не такой уж замысловатый. Директор совхоза «Назаровский» разрешает его буквально двумя-тремя короткими фразами: «Не раз восставали против сомнительных установок, инструкций... Скажем, РАПО по своей сути исполнительный орган, но пытается вмешиваться в экономику хозяйств. С нами, правда, это не проходит» (разрядка моя.— А. Н.).

Вот вам и ответ на загадку: там, где это проходит, там о коллективном подраде лучше не говорить, чтобы не дискредитировать прекрасное начинание. Проходит же оно пока, пожалуй, в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи.

А ведь начиная с XXVII съезда со всех трибун, страниц, полос, экранов только и твердим: оценивать работу по конечным результатам, не командовать, не опекать, не регламентировать! Не понимают в областном и районном звеньях этих призывов? Но ведь есть среди тех призывов столь простые, столь однозначные, что и ребенку дважды растолковывать их смысла не потребовалось бы. Например: резко сократить управленческий аппарат! А что мы имеем?

«В нашем Полесском районе всего четыре маломощных колхоза и столько же совхозов,—пишет из Калининградской области А. Федосов.— За ними числятся многие миллионы долгов. Живут в нахлебниках у государства. На фермах не хватает доярок, а те, которые работают, пенсионного или предпенсионного возраста. Но загляните в конторы этих колхозов и совхозов. Как говорится, столы стоят чуть ли не в два яруса, за которыми сидят молодые цветущие женщины: бухгалтеры, их многочисленные замы, экономисты, главные специалисты. А далее — начальники отрядов, инженеры, электрики, агрономы по заготовке кормов и т. д. И это в убыточном хозяйстве. На четыре колхоза и четыре совхоза у нас имеется РАПО. Штат настолько раздут, что в последнее время в новом большом помещении начали делить кабинеты временными стенами, чтобы как-то разделить «руководящие» столы. В мизерном районе у председателя РАПО, кроме первого заместителя, появились еще замы. Как грибы, растут отделы, не счесть инженеров, инспекторов, ревизоров...» («Правда», 8.06.87).

А теперь помножьте все это на количество районов и ведомств в стране. Помножили? И что мы имеем? А вот что: «Появился на свет небольшой деловой документ об усовершенствовании оплаты труда на селе, потом был издан более подробный. Теперь... к последнему документу готовится 630 страниц разъяснений и инструкций... Видимо, те, кто издает подобные инструкции, всерьез считают, что... надо так закрутить, чтобы исполнители по струнке стояли не перед делом, а перед бумагой. К сожалению, на практике оно так и есть: до 80 процентов рабочего времени специалисты тратят на составление различных бумаг, поток которых, как сказали мне в РАПО, возрос в 8—10 раз» («Известия», 1987, № 23).

Неуправляемое разрастание канцелярских тканей и судорожного бумаготворчества экономистов не удивляет. Нас — тоже. Рыба ищет, где глубже, а обыватель ищет, где можно сидеть в мягком кресле, ни за что не отвечая. Так что загадка, связанная с цитируемыми материалами, не в том, что управленцы и канцеляристы не торопятся выполнять решения об отказе от администрирования, о сокращении аппарата, предоставлении предприятиям и хозяйствам самостоятельности и т. д., а в том, что они игнорируют все эти решения столь открыто, столь безбоязненно, даже нагло! Что ни говори, а ведь для того, чтобы неприкрыто игнорировать линию партии, выработанную съездом, одобренную всенародно, надо быть очень уверенным в полной своей безнаказанности.

Факты? Их более чем достаточно.

Широким фронтом начинаем поход за использование всех замороженных наших резервов, за развитие самодеятельности, инициативы, предприимчивости, и вдруг в разгар похода — Указ о борьбе с нетрудовыми доходами, отбросивший общество в решении этих задач далеко назад. По стране прокатилась лавина гонений на людей, пытавшихся и после заводского гудка не за домино усаживаться, а поработать еще немного на свой страх и риск.

«Почти все мы трудимся в совхозе. На приусадебных участках выращиваем для личных нужд овощи, фрукты. Излишки продаем,— пишут 49 жителей села Красное, что в Краснодарском крае.— Каждый из нас по многу раз слышал обвинение в том, что... мы все стяжатели, спекулянты. Имеем, мол, нетрудовые доходы и в этом видим цель жизни. Эти обвинения после Указа о нетрудовых доходах перешли в у-

розы, а затем и в прямые действия. Многие жители оштрафованы на 50 рублей административной комиссией сельсовета «за неправильное использование приусадебного участка». А у некоторых отрезали землю, хотя участки все были в пределах положенной нормы» («Известия», 1986, № 271).

Главное управление внутренних дел Мостгорисполкома устраивает облавы на цветочниц у вокзалов и гордо рапортует об одержанных победах: «Выявлено 29 лиц, длительное время торгующих цветами, в доход государства сданы цветы, владельцев которых установить не удалось,— на общую сумму около 450 рублей... ГУВД направило в исполком Моссовета предложения, в которых предусмотрено обязать иногородних граждан иметь при себе и предъявлять по требованию администрации рынка справку о наличии приусадебного участка, с указанием его площади, наименования и количества выращиваемых сельхозкультур; определить предельный срок торговли на рынках граждан — не более одного месяца; запретить для частных лиц в период с октября по май торговлю розами и гвоздиками...» («Московская правда», 30.07.86).

Это документ в стиле Кафки. А вот в стиле Гоголя: «Сейчас торговлю цветами в Ленинграде попросту запретили... Торговля все равно идет. Но время от времени приезжает — сам видел — наряд милиции и начинает разгонять старушек с цветами. Затем одна из них обходит своих товарок и собирает по рублю. Собранные деньги отдают, и наряд уезжает. Никаких квитанций старушки не получают. В отдельные дни бывает по два наезда. «Мы уже уплатили»,— доказывают цветочницы. «Ничего не знаем,— отвечают милиционеры,— приезжали, наверное, не из нашего отделения» («Литературная газета», 12.11.86).

И вот ведь что любопытно: в этом состязании «народной» милиции двух столиц по ударному искоренению цветов из быта советских граждан сердцу нашему милей ленинградцы. Понятнее как-то их действия, человечнее. Как же не брать, если тебе власть дадена? Нельзя не брать, каждый тут тебя дураком и шляпой называет. Да ведь и с пониманием берут в Ленинграде, не глупее чеховского злоумышленника себя показывают, который тоже не все гайки от реально отворачивал. Так, чтобы сегодня взял, но и завтра было чего взять! А в Москве? Вспомним хотя бы про справки, в которых где-то в каких-то инстанциях надо удостоверить, что у тебя на грядке на сегодняшний день значит... Нет, до такого садизма существо, рожденное женщиной, додуматься не смогло бы. Это или компьютер «смоделировал», или какой-нибудь пришелец с Альфы Центавра придумал, и то если он не гуманоид. А этот запрет на розы от октября по май? А эта загадочная месячная квота торговли?..

Не менее парадоксально выполняются решения о развитии индивидуальной трудовой деятельности, кооперации в сфере мелкотоварного производства и услуг. Уже в самом тексте закона об индивидуальной трудовой деятельности проблема неожиданно повернута так, что конституционное право каждого советского человека оказалось поставленным в зависимость от прихоти клерков в эшелонах местной власти, обставлено массой оговорок, ограничений, условий, поборов: легальных — в форме немисляемых налогов и цен на патенты и нелегальных — в формах, с которыми нам предстоит еще разбираться с помощью фельетонистов и судебных хроникеров длинную череду лет до тех пор, пока мы не поймем, что финансовым органам и органам правопорядка надо не о защите государственного аппарата от трудящихся пещься, а о защите трудящихся от государственного аппарата. В итоге же... В итоге вместо лавины товаров и услуг, которую мы предвкушали,— жалкие ручейки, с трудом пробивающиеся через мелкие промоины в запретительных дамбах.

А в газете — все новые и новые лирические рассусоливания о пользе инициативы и предприимчивости, полные неопитского энтузиазма рассуждения о том, что «стыдиться надо не труда, а безделья», что «труд — личный а польза — общая», что «равенство — это не уравниловка», что заработанные (не украденные!) деньги прилично считать только в собственных карманах

«Так было, так будет!..» Немало я перечитал газет в надежде встретить эту классическую фразу. Она ведь буквально витает в воздухе. Явно хотели произнести ее руководители Ленсовета в ответ на упреки по поводу демонстративного нежелания считаться со своими избирателями в деле сокрушения гостиницы «Англетер». Смягчил ее председатель: «Все делалось правильно». Тоже неплохо сказано, но классический лозунг все же выразительнее, сочнее.

Совсем приблизилось к нему руководство нашей академической науки. В частности, принцип выборности руководителей трудовым коллективом, закрепленный в тек-

сте Закона о государственном предприятии и проводимый в жизнь во многих местах, применительно к науке, где он необходим более чем где бы то ни было, в только что принятом АН СССР временном уставе научно-исследовательского института «полностью проигнорирован» («Литературная газета», 20.05.87). Так было, так будет! Есть основания предполагать, что и влияние науки на нашу жизнь останется, увы, таким же, каким было

И все-таки во всей классической чистоте знаменитую фразу предал гласности человек без ученых степеней. Комментируя факт, когда в облздрав долгое время не пускали плачущую женщину, привезшую из далекого далека по трескучему морозу больного ребенка, по той причине, что она была в брюках, заведующий общим отделом Днепропетровского облисполкома отчеканил: «В брюках женщинам вход в облисполком запрещен! Так было и так будет!» («Советская культура», 7.04.87).

Я понимаю, не в штанах тут дело, просто очень уж хочется, чтобы восторжествовал указанный лозунг.

Что же все-таки стоит за подобными фактами, за многочисленными загадками и парадоксами, сопровождающими ход перестройки? Неужели работать? Приверженность «старым методам»? Рвение не по разумению? Простая «бытовая» глупость?.. А может быть, прав писатель Л. Жуховицкий, намекнувший в одной из своих статей, что дураки скорее те, кто считает стоящих за такого рода фактами загадочных «неумельцев» дураками? «Из всех знакомых дураков при должности я не встречал ни одного, который дурил бы себе во вред. Чего не было, того не было. Только на пользу! И щепки почему-то всегда летят не в него, а в наше родное социалистическое государство. С чего бы, а?» («Литературная газета», 15.10.86).

А когда знакомишься с материалами, раскрывающими картину хотя бы той же самой быстро и дружно, как по команде развернувшейся на просторах необъятной нашей страны борьбы с «нетрудовыми доходами», право слово, не можешь отделаться от подозрения: а уж не нарочно ли кто-то старается вбить клин между высшими эшелонами власти и народом, чтобы вызвать у простых людей недовольство перестройкой, дискредитировать в их глазах идеи XXVII съезда КПСС? Кто?.. Почему?.. Зачем?..

ЧУДИЩЕ — ОГРОМНО И СТОЗЕВНО!

Хотел было я по поводу вопроса, прозвучавшего в финале предыдущей главы, воскликнуть: «Загадка!» Но чего уж тут в игрушки играть. Да и называли мы уже не раз тех, кому именно идеи эти, курс этот, перестройка эта поперек горла стоят. Однако слова-то мы говорим, а осознать значимость их, реальное их содержание и выводы, которые полагается делать, сказав слово, как-то робеем. И предпочитаем думать, будто ветер дует потому, что деревья качаются.

Пытаясь понять, почему перестройка идет так трудно, почему выгоды, очевидные даже полному профану, остаются столь часто совершенно нереализованными, а явные нелепости не устраняются, мы чаще всего не утруждаем себя идущим до конца анализом, ограничиваясь констатацией самоочевидных фактов, разве что иногда перечислим (произвольно состыковывая их) категории людей, которые не заинтересованы в перестройке и сопротивляются ей. Вот несколько подобных аттестаций, данных в ходе одного из «круглых столов»: невежды и мракобесы, консерваторы и راستяпы; те, кому эгоистические, карьерные, сиюминутные выгоды важнее судьбы страны и планеты; люди, стоящие на позициях местничества в самых разных его проявлениях... Неполный перечень? Конечно. Как, например, не назвать дельцов наживающихся на дефиците, нехватках? Хорошо обнажил их «интерес» А. Борин в статье «Почему я пишу о хозяйственных преступлениях»:

«По решению правительства в Воронеже, в Эстонии и в Минской области было разрешено в порядке эксперимента начать свободную продажу бензина всем государственным предприятиям и организациям. Подъезжай к бензоколонке и бери бензина столько, сколько нужно. Казалось бы, при нелегитимированной продаже горючего должно было уходить больше, чем при строгой карточной системе. А получилось наоборот, расходовать стали меньше. И это понятно: перестали брать бензин про запас. Ну и что? Прижился новый порядок? Как бы не так. Через несколько лет его без лишнего шума, не обсудив даже полученных результатов, похоронили. И хотя специалисты так и не могли толком объяснить мне, зачем понадобилось хоронить новое и, по всей видимости, полезное дело, догадаться нетрудно. Новое дело выгодно и по-

лезно для государства, для тех же, кто десятки лет занимался дележкой каждого литра бензина, кто зубы съел на такой дележке, для них новый порядок оказался, напротив, смерти подобен. Ибо давно известно: тот, кто не умеет приумножать, хотел бы весь век делить. Сложился круг людей, кровно заинтересованных в существовании дефицита... С трибуны громче всех станут эти люди кричать о перестройке, об ускорении, о том, как мечтают они, чтобы поскорее наступил у нас век изобилия, чтобы всего имелось у нас вдоволь — и насосов, и бензина... А были бы они честны и откровенны, сказали бы другое: нам лично никакого изобилия не нужно, мы лично мечтаем, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы всегда чего-нибудь не хватало. Нам такой дефицит удобен и выгоден, ибо, пока он существует, пока мы из центра диктуем, кому, чего и сколько давать, кому отпустить пять насосов, а кому только один, кому выделить тысячу литров бензина, а кому только сто, до тех пор сохраняются и наше положение, наша привилегия, наша безграничная власть» («Московские новости», 22.02.87).

Убедительно сказано. Не раскрыто только, а как именно рабочий бензоколонки оказывается способным влиять на составление инструкций общесоюзного значения. Да и те, что «делают бензин» в районном и даже областном масштабе, сами вроде бы не властны хоронить общесоюзные эксперименты!

Прав А. Егоров, когда призывает социологов и публицистов от «экстенсивного этапа гласности» побыстрее переходить «к этапу интенсивному — аналитическому, теоретическому, глубинному» («Московские новости», 27.09.87), а этого не достигнуть, не выявив, что же объединяет столь разношерстные социальные группы «сопротивления» в их неприятии перестройки.

И думается, что неоценимую помощь может оказать в данных исканиях очень простая методологическая рекомендация, данная в свое время Лениным для прояснения запутанных социальных ситуаций: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов»².

Впрочем, эта нить Ариадны помогала выбираться из политических и идеологических лабиринтов еще и его учителям. Маркс с Энгельсом, например, предупреждали, что «идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса»³. Отрадно, что современные наши экономисты и социологи все чаще и все увереннее оперируют этим понятием для преодоления вульгаризаторских схем и представлений.

«Интерес — вообще — ключевое слово в проблеме социального самосознания, — говорит Т. Заславская. — Когда интересы поняты и четко выражены в словах, людей уже нелегко обмануть» («Известия», 1987, № 111).

Так что научиться разбираться в особых, порой, увы, взаимоисключающих интересах разных социальных групп для нас сейчас одна из самых неотложных задач. Согласитесь, ввязываться в такое конфликтное дело, как перестройка, оставаясь «глупенькими» политически, — дело бесперспективное. Глупеньких просто грех не обманывать, да и невозможно их не обманывать, ибо быть обманутыми для глупеньких — естественное и любимое состояние духа.

И посмотрите, насколько более богатой и стереоскопичной предстала структура нашего общества, стоило академику Т. Заславской обратиться к категориям групповых интересов. Позиция целого ряда групп по отношению к перестройке тотчас стала понятнее:

«Третью группу составляют слои, объективное положение которых вынуждает их цепляться за старое и всемерно препятствовать прогрессивным преобразованиям, тем более что такая возможность у них имеется. Это прежде всего часть работников центральных хозяйственных ведомств, а также их местных управлений, образующая разросшийся за последние пятилетки бюрократический слой, пользующийся социально не обоснованными привилегиями и заинтересованный в сохранении прежних порядков. Сюда же следует отнести — хотя и с полным пониманием качественных различий — сильно потесненный, но сохраняющийся мир «теневых» дельцов, спекулянтов, перекупщиков, взяточников, казнокрадов... На первый взгляд это две совершенно разные группы. Однако печать систематически сообщает о раскрытии связей между «те-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 47.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 89.

невными» дельцами, с одной стороны, и коррумпированными работниками аппарата управления, с другой. Можно уверенно утверждать, что без подобной связи ни те, ни другие не могли бы с такой полнотой удовлетворять свои личные интересы» («Московские новости», 1.03.87).

Любого противника опасно как переоценивать (это парализует волю, сеет панику), так и недооценивать. Мы сейчас по отношению к сопротивленцам каким-то непостижимым образом ухитряемся совместить в своей душе и то и другое. И если говорить о недооценке, то прежде всего мы недооцениваем меру организованности и сплоченности лагеря сопротивления. А ведь перечисленные Т. Заславской социальные группы, похоже, уже вполне осознали кровную общность своих интересов. На этот счет пора нам избавляться от сладких, детских иллюзий. К тому же они весьма оперативно научились использовать лозунги перестройки для борьбы с ней. Как недавно выразился один мой знакомый, «Бюрократизм сейчас занят тем, что активно закладывает свои личинки под шкуру перестройки». А Леонид Лиходеев, который явно никогда уже не научится «обсуждать самые острые вопросы, уважая мнение друг друга», так по этому поводу высказывается: «Сегодня иные практические умы приспособляются к своим нуждам перестройку. Они объявляют противниками перестройки всех, кто мешает им владеть тем, чего они нахватали в темные дни. В те дни они отрывали голову всякому, кто пытался препятствовать их безнаказанности, их бездарности, их безнравственности, их вседозволенности. Они врали, чего хотели, назначали, кого хотели, издавали, чего хотели, величали, кого хотели, и кого хотели топтали» («Московские новости», 16.08.87).

«Практические умы» не заслуживали бы этого лестного названия, если бы они остались простым конгломератом разрозненных, тянущих в разные стороны индивидов и группок. И не о том речь, что они всё дружно тянут в одну сторону — к себе. Недолго бы им удалось тянуть, если бы они не умели в минуты высшей опасности групповой, кастовой интерес поставить выше своей сугубо индивидуальной корысти. И не хочется говорить приятное «практическим умам», но приходится.

У разношерстной касты «практических людей» сложилась и неплохо функционирует достаточно развитая система особых, неофициальных экономических отношений, своя, кастовая мораль, изощренная, двухслойная (для себя самих и для публики) идеология, свое искусство (производственным железобетоном наружу и шлаковой сентиментальностью внутрь, для души), своя наука (ведомственные научные учреждения, разумеется, творят не только ведомственную науку, но там, где наука ведомственная, — это их наука), своя юриспруденция («Работал я районным прокурором в одной из среднеазиатских республик... Помню, как-то повздорили в поле первый секретарь райкома и тракторист. Механизатор резко возразил чересчур горячим указаниям. И сразу же: «Привлечь к уголовной ответственности за оскорбление и саботаж!» Так просто трактовался закон в те годы». — «Московские новости», 22.02.87), своя система подготовки кадров и их распределения («...в течение семнадцати лет «правления» Мочалова Плехановский институт занимался воспроизводством «деловых людей». — «Московская правда», 28.02.87; это, естественно, только легкий мазок в картине, их множество — спецшколы для «элиты» и т. д.), своя, особая система взаимоотношений (субординации, каналов связи, способов решения вопросов и т. д.), далеко не всегда соответствующих отношениям официальным... Помните образ специалиста по этим скрытым для миллионов профанов связям, созданный Ольгой Чайковской?

«Нет, конечно, он ничего не смыслил в порученном ему деле — ни как работник Совета депутатов, обязанный понимать трудящихся и защищать их интересы, ни в строительстве, которым занимался. До этого он в исполкоме ведал сперва торговлей, потом культурой, во всех этих делах (иначе и быть не могло) равно ничего не соображал — и все же был профессионалом высокого класса. Он знал, как, не принося никакой пользы, занимать видные должности. Великий мастер интриги, мгновенно соображал, с кем заключить союз, с кем не связываться, а кого спихнуть. Виртуоз отчетности, знал, какую ложь пустить по отчетным каналам, а какую придержать (опасно все-таки)... Все протестующие и критикующие у него разом попадают в ряд врагов, это тоже у него профессиональное: поскольку пользы он не приносит, любая критика для него смертельна... Сколько подобных профессионалов встречалось мне в моей работе! Приезжаешь в город по письму человека, который столкнулся с кем-то из местных должностных лиц, убеждаешься в справедливости письма — и тут же начинаешь чувствовать противодействие, активное сопротивление, нет, не только

виновных в том, что произошло, но целого сплоченного союза. Можно прийти к любому из участников этого союза, и тотчас по особо невинному взгляду поймешь: созвонились. Подобрались и ждут. И лишь захлопнется за тобой дверь, снова возьмутся за трубки» («Литературная газета», 16.04.86).

Бюрократия... Полезно было бы отрешиться от многих заблуждений насчет нее. Пока не поздно. Это ведь не клуб сплоченных взаимной корыстью и кастовой солидарностью деловых людей. Это очень большой, разветвленный и многоярусный союз. Шпилья бюрократов прошлого, надо понимать, насколько их каста несопоставима с нынешней даже в количественном отношении. Когда Василий III в 1505 году вступил на престол, в «управленческом аппарате» его отца было 5 бояр и 5 окольных. К концу царствования Ивана Грозного, сотворившего «мощный государственный аппарат» нового, уже не средневекового, можно сказать, типа, в Боярской думе значилось 12 бояр, 6 окольных и 7 думных дворян. Смешно читать! Даже по официальным данным у нас сейчас в стране 18 миллионов управленцев!

Да и не в количестве дело, хотя и в нем тоже. Ни во времена Грозного, ни сейчас в странах, не прошедших через национализацию частной собственности, бюрократия не имела (не имеет) возможности распоряжаться основной массой средств производства. Это очень существенный нюанс для понимания специфичности этапа, лежащего между экспроприацией средств производства и их социализацией, то есть выработкой реальных механизмов народовластия.

Малую эффективность труда на наших предприятиях член Госплана СССР В. Сенчагов объяснил «устаревшим пониманием сущности и форм реализации социальной собственности, при котором она как бы отторгалась от трудящегося человека; все важнейшие вопросы ее использования раньше решались на верхних этажах управления. В результате она становилась как бы ничейной, лишенной реального хозяина» («Неделя», 1987, № 11).

Вот именно — как бы. На самом-то деле хозяин был, определял, куда вкладывать деньги, сколько кому платить, сколько с кого брать, каким быть расценкам, кому какие привилегии предоставить... Надеяться, что при этом хозяин будет о своих интересах печется в последнюю очередь, значит быть очень наивным идеалистом. А предполагался этот совокупный хозяин там — на верхних управленческих, бюрократических этажах. Думается, отнюдь не без серьезных научных оснований у нас сейчас заводится речь о нарождении в 20-е годы «класса бюрократических распорядителей» («Век XX и мир», 1987, № 7, стр. 37). Ибо прежде всего именно особенности отношения к владению средствами производства определяют членение общества на классы. Слов нам пугаться не надо, а вот что надо — так это осознать наконец: тревоги Ленина относительно опасности забюрокративания советского и партийного аппарата мы зря недооценивали. Проблема эта не частная, а магистральная для эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Может быть, даже ключевая.

В № 19 «Крокодила» за 1987 год бюрократам поддали как следует. В сатирическом диалоге, перепечатанном аж из журнала «Ньюсуик», есть такой вот выпад:

«Вопрос: Как бюрократы думают?»

Ответ: Мы не думаем. У нас нет мыслей. Мы обходимся их заменителями».

А на обложке журнала изображен в самой смехотворной позе бюрократ (легко узнаваемый по сатиновым нарукавникам), старательно проставляющий масляной краской на каждой из шпал уходящей за горизонт железной дороги отдельный девятизначный инвентарный номер.

Не задумывался ли ты, дорогой читатель, почему бюрократы, столь болезненно реагирующие вообще-то на критику, так снисходительно-доброжелательны в восприятии такого рода карикатур, диалогов, фельетонов, сатирических стишков и т. д.? Помоему, именно потому, что они умеют «думать». В отличие от нас с вами. И их вполне устраивают легковесные представления, насаждаемые такими карикатурами, убеждение, что бюрократия — это смешной конгломерат каких-то медлительных недо-теп-одиночек, пекущихся, неизвестно почему, только о соблюдении формы, инструкции, параграфа, буквы, что чудачков этих отличают неумение работать, непонятливость, косность, лень, трусость... Это мы проявляем непонятливость, если не сказать тупость, оценивая плоды их деятельности в соответствии с целями, которые будто бы они должны преследовать в своей деятельности (по нашим убеждениям). Недаром приобретенные к клану иронично кривят губы в разговорах с нами. Мы действительно тут

смешны. И все перечисленные выше неуважительные характеристики бюрократов сразу меняются на прямо противоположные, стоит только сопоставить плоды их деятельности с их целями. Цели эти ничего общего не имеют ни с благом государства, ни с интересами народа. Вспомним «первый закон Паркинсона» относительно бюрократической системы управления: «Количество служащих и объем работы совершенно не связаны между собой. Число служащих возрастает по закону Паркинсона, и прирост не изменится от того, уменьшилось ли, увеличилось или вообще исчезло количество дел». Ибо чиновники не работают на общество, «чиновники работают друг для друга»⁴.

О! Когда дело идет об опасности для интересов бюрократов (личных, групповых или общеклановых), они реагируют без малейшего формализма, без всякой волокиты, молниеносно, мыслят отнюдь не о форме, а всегда о сути, причем точно, действуют смело, без промедления, экономно, эффективно, безошибочно. Как говорит Лен Карпинский: «В конце концов и бюрократия ничего бы не стоила, если бы не умела защищаться. А она умела (и теперь, надо полагать, не разучилась)». Далее автор раскрывает это умение на примере собственной судьбы: «В 1967 году мною в соавторстве с одним видным публицистом была написана и опубликована статья „На пути к премьере“, где критиковались проявления того неестественного вторжения бюрократизма в творческий процесс, о недопустимости которого в полной мере сказано сегодня. Конечно, мне и моему соавтору тогда пришлось почти мгновенно расстаться с прежними (весьма видными) местами работы. Спустя некоторое время, работая уже в другом периодическом издании, я оспорил на внутриредакционном совещании политическую правомерность ряда публикаций. Реакция и на этот раз была достаточно оперативной, без „волоkitы“» («Московские новости», 1.03.87).

Миф об их глуповатости и нерасторопности вполне устраивает бюрократов. Они и сами всегда готовы посмеяться добродушно над своей необъяснимой страстью к волоките: что с нами поделаешь, уж такими чудаками мы уродились! Чудаков на Руси всегда жалели.

«Мы и раньше призывали к самостоятельности, активности, смелости. Призывали, ничего не предпринимая против мощного сопротивления некоей бюрократической силы,— говорит экономист А. Аганбегян.— О какой смелости в решении важных вопросов может идти речь, если у нас одновременно действует до двухсот тысяч инструкций, положений, методик и все такое прочее?! Причем неясно, какие из них устарели, какие действуют. Запутались те, кто учреждает инструкции, запутались хозяйственники. Речь идет о море бумажек. Тут любой пловец утонет. А какое это раздолье для многочисленных проверяющих и контролирующих организаций, которые сегодня под видом перестройки проявляют недюжинную активность! И, конечно, в условиях неопределенности, неясности положений и инструкций всегда можно найти криминал» («Литературная газета», 18.02.87).

Тонкость тут в том, что можно найти, а можно и не находить! Но в любом случае важно, чтобы инструкции именно не соблюдались, что, впрочем, предусмотрено самими их разработчиками: следуя одной, обязательно нарушаешь другую. Это не страшно, пока ты с вышестоящими инстанциями в ладу, то есть делаешь все, что велют⁵. А если засвоевольничал...

⁴ С. Норткот Паркинсон. Закон Паркинсона и другие памфлеты. М. «Прогресс». 1976, стр. 27, 28.

⁵ Надеюсь, читатель поймет узкий, иронический смысл слов «это не страшно». Наличие безбрежного моря указаний, инструкций, правил, где выполнимое соседствует с заведомо нереальным, нужное и важное с абсурдным, существенное теряется в массе пустяков и раздражающих мелочей, таит в себе в довершение всего еще одну опасность, которую мы все еще в должной мере не осознали. А. Борин в статье «Святая простота» рассказывает леденящую душу историю о том, как врачи задушили больную. Нет, ими не овладела мания убийства, просто обеспечивающие их кислородом должностные лица презирали формализм: начальник кислородного цеха не вел учета баллонов по номерам, в аптеке же баллоны принимали, не обращая внимания на клейма, цвет баллонов и прочие «пустяки». В итоге женщине надели на лицо маску, подключенную к баллону с углекислым газом! («Литературная газета», 11.09.85).

А вот еще одно свидетельство того, к чему ведет девальвация инструктивных норм и правил. Оно принадлежит чудом оставшемуся в живых пожарнику из Чернобыля подполковнику Л. Телятникову: «Вы знаете, Чернобыль среди прочего очень четко проявил порочную практику легкомысленного отношения к правилам, инструкциям, так или иначе связанным с безопасностью... Стало чуть ли не доблестью слишком вольно

Очерк А. Плутника «Человек на моем месте» на судьбе конкретного хозяйственника наглядно раскрывает механику увязания директора совхоза в паутине неподуманных или вынужденных нарушений, паутине, из которой через какое-то время уже невозможно выпутаться. «Мог ли... Воробьев отказать областным или районным организациям в каких-то «деликатных» просьбах, с которыми они обращались? Мог, если бы хватало характера. Но вот вопрос — осталось бы это без последствий?..» Вопрос чисто риторический. Ибо «он многое замечал с началом, но не учитывал, что и за ним многое замечается. Слышали, знали, вплоть до...» Впрочем, не учитывал ли? Учитывал, поэтому «держался, как и другие, — был послушен, делал, что говорят...» («Известия», 1987, № 13).

И. Худенко в свое время попробовал быть непослушным. Не помогло ему ни то, что сэкономил государству сотни тысяч рублей, ни то, что себестоимость зерна снизил в 4 раза, а прибыль на рабочего поднял в 7 раз. Посадили! Впрочем, тут, думается, были причины посерьезнее, чем простое непослушание. Но не в том дело, конечно, что его безнарядно-звеньевая система грозила 600 рабочим совхоза «безработицей», — она грозила обнажить ту очевидную истину, что из 132 управленцев совхоза, копошившихся деловито в сфере инструкций, учета, нормирования, тарифов, разрядов, отчетов, практически нужны были лишь двое! Этого допустить было нельзя, ибо подобный прецедент мог вызвать соблазн задуматься: а на более-то высоких иерархических ступенях управленческого аппарата сколько их, реально необходимых?

Характерно, что А. Вепрев, говоря о неотложных задачах, выдвигает на первое место резкое сокращение управленческого аппарата: «Скажем, в том же РАПО у нас 60 человек на 10 совхозов Зачем? Плодить бумаги? Надо сократить аппарат в десять раз. Шести толковых специалистов вполне хватит на район. Зачем, скажите мне, в сельском районе сельхозотдел? И чем тогда заниматься секретарям, если не селом? Многовато этажей у аппарата Советов, профсоюзов...» Видите, куда заводит идея коллективного подряда? Можно ли терпеть подобное «вольнодумство»? Бюрократы не терпят. И, оказывается, для укрощения подрядного «мятежа» вовсе не обязательно упрятывать носителей заразы в тюрьму. Кто-кто, а бюрократы знают, что бумажные пути крепче железных цепей.

В чем сила подряда? В четкости стимулов к труду: больше и лучше сделал — больше и получал. Притом система учета получается столь простая, что даже неграмотный в ней разберется (Ленин считал эту простоту важнейшей и обязательной чертой в системе оплаты).

Задача, стало быть, в том и состоит, чтобы не допустить подобной ясности. Как этого добиться? Искушенных канцеляристов здесь учить не требуется.

В совхозе «Старомарьевском» пять повышений закупочных цен государства на молоко ни на литр не повысили надоев. Вот он, «крах» стимулирования рублем! — скажут противники перестройки с удовлетворением Алексей Черниченко же в своем очерке («Литературная газета», 23.07.86) показывает, как ловко бюрократы кастрировали рубль. Деньги они готовы выдавать на развитие производства в любых объемах, но только так, чтобы они все попадали хоть и в производственную сферу, однако не в фонд заработной платы. Совхозу за молоко стали платить в 1,7 раза больше, а на заработки доярок это практически не повлияло. При этом считается, что оплата ведется в совхозе по конечной продукции! У главного экономиста совхоза для подсчетов оплаты есть целая кипа таблиц, в которых и с высшим образованием не разберешься. За один и тот же вид продукции — чуть не до десятка расценок! Добро бы дифференциация зависела от качества зерна или молока. Нет, цена определяется тем, в счет которого по счету процента плана сдается тот или иной килограмм или литр

— Неужели кто-то из рабочих действительно может в этом разобраться?! — поражается автор.

— А зачем это нужно? — не меньше его удивляется экономист. — Пусть каждый занимается своим делом. Кто-то должен пахать, доить, а кто-то считать.

обращаться с правилами, вольно толковать их Не надо забывать: есть Инструкции и инструкции Порядок требует уважительного к себе отношения» («Известия», 1987, № 15).

Чем кончилось неуважение к Инструкции в этом случае, мы знаем Но когда инструкций свыше 200 тысяч и большая часть из них чинит лишь помехи в работе, а многие просто невыполнимы, легко ли исполнителю выделить в бумажном цунами инструкций эти вот жизненно важные Инструкции?

А главная задача при подсчетах, как оказалось, — не выскочить случайно за пределы лимитов на зарплату. И не выскакивают. Совхоз получает за продукцию на 105 процентов больше, чем раньше, а рабочие что получали, то и получают. Страна от них, естественно, тоже что получала, то и получает.

Таков он, главный противник перестройки. Серьезный, опасный, хорошо организованный и оснащенный. И готовый на все ради сохранения своих привилегий, своего могущества. Не стоит его недооценивать, но и переоценивать тоже не стоит. Даже у Кощея Бессмертного можно разыскать ту иголку, в которой спрятана его погибель. Погибель для бюрократизма не в гласности, как может показаться на первый взгляд. Гласность — главная радость наших дней и главный стимулятор происходящих в жизни страны изменений, но, к сожалению, она внутри самой себя гарантий на свой счет не содержит. Сегодня она есть, завтра ее может и не быть. Погибель для бюрократизма — в выработке экономических механизмов социализма, в отработке демократических методов руководства народным хозяйством, в выработке политических и организационных структур народовластия. Что тут важнее? Все важнее, ибо одно причинно обуславливает другое и существовать без него не может.

КУДА ВЕЛО АДМИНИСТРИРОВАНИЕ?

Делающие важный социальный выбор очень часто, увы, предметом споров избирают какую-то одну деталь системы. Скажем, элемент А. Всесторонне анализируют этот элемент, оценивают все его плюсы и минусы, но никак не хотят понять, что выбирают при этом не букву, а весь алфавит. Что, сказав «а», они уже вынуждены будут сказать и «б», и «в», и «г»... Хотя знать ничего о них не хотели, делая свой выбор.

Вот и сейчас снова мы спорим до пены у рта, что лучше: хозрасчет или планирование сверху, стимулирование рублем или справедливое выравнивание уровня жизни?.. При этом многие (слишком многие!) убеждены, что мудрость состоит в отсутствии перекосов, перегибов, что если взять все хорошее от администрирования и все хорошее от экономического регулирования, как следует перемешать, то получится как раз то, что нам надо. Не получится! Мы снова на переломе, на развилке. Но сзади-то полная трагических ошибок дорога, которая уже вроде бы доказала: путь администрирования ни с экономическими методами руководства не совместим принципиально (они антагонисты!), ни с демократией, ни с самоуправлением, ни со справедливостью, ни с нравственностью.

Общество — это живой организм, а не механическая конструкция. Ну и что? А то, что даже из самого расчудесного трактора вертолет путем постепенного усовершенствования и переконструирования создавать в миллион раз труднее, чем пусть из плохого, но вертолета же. С организмами еще сложнее. Из семени лютика не вырастить арабского скакуна, сколько ни удобряй и ни пропалывай грядку. С самого начала надо иметь зародыш скакуна, а не семья лютика.

Так получилось, что статья В. Фомина «Как они хоронили нас» («Литературная газета», 7.01.87) была опубликована в то время, когда я читал роман А. Бека «Новое назначение». И я поразился не просто внешнему сходству, но внутреннему родству двух «демонстраций протеста», между которыми пролегла бездна в тридцать лет. Необычность данной переключки эпох усугубляется и тем, что сами-то демонстрации для нашей жизни уникальны, что протестует не какая-то там «шшшера», а сильные мира сего, и при этом — против линии высшей государственной власти. Каково!

Одна из демонстраций произошла, если вы помните, в Ростове. Заклучалась она в том, что местный истеблишмент устроил вызывающе пышные публичные похороны безвременно почившему (не в бозе, правда, — в колонии усиленного режима) начальнику областного управления торговли Будницкому, который вместе с разнокалиберными сообщниками — от разрубщика мяса до начальника главка республиканского министерства — нагло и безнаказанно многие годы обворовывал покупателей, расхищал народное добро. От возмездия же эта шайка спокойно откупалась крупными взятками. Пятнадцать лет с конфискацией имущества Будницкий воспринял на суде с большим облегчением, боялся худшего. Церемония похорон уголовного негодяя в воскресный день в самом центре Ростова. Сначала часа полтора шел многолюдный митинг во дворе дома, где на табуретках, застеленных красным покрывалом, был установлен гроб. Потом труп преступника, усыпанный живыми цветами и сопровождае-

мый бесчисленным количеством венков, пронесли на руках чуть не полкилометра по Кировскому проспекту, потом повезли на кладбище, где простых смертных давно уже не хоронят, и предали земле на центральной его аллее, продолжающей Аллею Славы.

Основную массу воздавших почести вору и взяточнику составляла «добропорядочная публика»: руководители солидных коллективов, заведующие больничными отделениями, адвокаты, научные работники... На венках были такие вот надписи: «Человеку необыкновенной души от друзей и товарищей по работе». Среди этих «добропорядочных», не очень прячась, несли на лицах скорбь «товарищи по работе» — директора магазинов и торгов, покровители, пособники, рядовые исполнители. Солидарность демонстрировали и представители смежных «неформальных объединений» — подпольные квартирные маклеры, местные строительные боссы, заведующие плодоовощными базами, обслуживающие ростовский «бомонд» врачи, коррумпированные чиновники из партийных и государственных органов.

И вот эти «деловые люди», люди, которые «умеют жить», вышли на улицу, демонстрируя свое единство, свою силу, свою солидарность с «безвинно пострадавшими» коллегами, свое несогласие с курсом на перестройку, очищением, восстановлением законности и морали. Демонстрировали нагло, открыто, вызывающе.

В романе А. Бека мы встречаемся с чем-то весьма похожим. Демонстративное несогласие с новым курсом, взятым руководством страны, публичное (с риском для будущей карьеры) выражение солидарности с сотоварищем, попавшим в опалу, пострадавшим от «новых веяний».

Очень неоднозначен и любопытен рисуемый писателем групповой портрет этой нестигаемой когорты сталинской выучки: «Будто одетые по некоей форме, почти все они носили, как и Онисимов, мягкие темные шляпы... Все здесь как будто разные, и, однако, что-то в них есть схожее. И, разумеется, не только в шляпах. Да, тут сошлись работяги. И в отошедшие годы, и ныне они тянут, вытягивают взваленную на них ношу. С гордостью несут свое звание: кадры хозяйственного руководства. В газетах их называли еще так: бойцы за выполнение директив Онисимов, впрочем, не пользовался этими красотоми стиля, предпочитая... лаконичное определение: солдат партии. Избегая банальностей, автор все же обязан повторить здесь ходячую истину, что людей такого склада в истории еще не было. Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их девизом, их «верую» стало правило кадровика-воина: приказ, и никаких разговоров! Толки о близящихся переменах, о пересмотре, ломке прежних принципов строго централизованного управления, о ликвидации министерств, ведающих различными отраслями хозяйства, об инициативе с мест, инициативе снизу ими встречались настороженно» («Знамя», 1986, № 10, стр. 42).

Они все хорошо помнили, чем кончалось совсем недавно любое выражение сочувствия опальному, однако пришли в аэропорт проводить снятого с высокой должности своего коллегу Онисимова. И не просто пришли, но и «марш протеста» себе позволили. Пройдя через особый (депутатский) выход, прошагали гурьбой по освещенному рефлекторами мокрому летному полю к «ТУ-104». «Получилась,— отмечает автор,— своего рода небольшая демонстрация... Конечно, пределы дозволенного ничуть тут не нарушены. Но все-таки... Все-таки колеблются, колеблются еще весы истории. Быть может, поухает, поурчит гром и угомонится» (там же, стр. 47).

А ргоров можно вспомнить, что так и произошло. Недооценили тогда (в 1956 году) замаяхнувшиеся на перестройку деятели силы этой «солидарности», сдержанного, но нестигаемого сопротивления реформам «вышколенных государственных людей». Но это еще дело будущего, а в описываемый период А. Бек, хотя и не проходит мимо издержек солдатской психологии «бойцов за выполнение директив», не может не любоваться их преданностью общегосударственным интересам, их бескорытием.

На самом деле контраст с нравственным обликом более поздних популяций «деловых людей», описанных в очерке «Как они хоронили нас», разительный. Так что сопоставление двух описанных нами демонстраций, увы, не в пользу сегодняшнего дня. Тут — уголовники, хапуги, растленные, беспринципные дельцы, там — государственные деятели. Старомодно одетые, но личности! Живущие мировыми проблемами, смело берущие на плечи ответственность за порученное им дело, «работяги», презирающие барахло, жизненные удобства, даже карьеру. К власти они шли не для славы, не для денег, не для обеспечения родственников, а ради интересов державы!

Вспомним гнев Онисимова, увидевшего в голодное военное время, как референт Серебрянников выходит из министерского буфета с куском масла. Он чуть не уволил

референта за эту «пакость», а когда узнал, что масло предназначалось заболевшему сыну Онисимова, заставил вернуть сверточек в буфет. Вот какие это были титаны!

А как четко вникали они во все детали порученного им дела! Бывая на местах, нарком лично инструктировал, как наблюдать при разливке металла за «состоянием корочки», даже приказ издал, где перечислял все правила разливки. Толковый, квалифицированный приказ. А появившись в заводской столовой, сам проверял, не слишком ли толстую срезают кожуру с картофеля.

Трогательно? Очень. Только... Сколько же картофеля было за войну очищено бесконтрольно! Картофель ведь много, а нарком один! Прошу прощения за иронию, я, конечно, не ставлю на одну доску бескорыстного, самоотверженного Онисимова и циничного хапугу Будницкого. На одну доску — нет, в один же ряд — могу. Контраст между ними отражает не несовместимость, а просто разные стадии развития одного и того же явления. Один представлял героический апогей ложного пути, другой — его финал. Логически неизбежный, железно predetermined генетической программой данного явления, имя которому — система административного, приказного управления экономикой.

Восхищаясь бескорытием и самоотверженностью Онисимова, давайте не забудем все-таки, в чем же состояли его слабости, такие «частные», такие «обусловленные» объективной ситуацией!.. Да и страдал ведь от них бедный Онисимов, не упивался ими. Итак:

а) слепое исполнительство, доблесть солдата: приказано — не обсуждать, исполнять! И как квинтэссенция этой фельдфебельской психологии — лозунг: «...превыше всего дисциплина, верность Сталину, каждому его слову, указанию» (там же, стр. 60). Цена этого «принципа» слегка проинфляционирована в романе эпизодом, когда Сталин уверяет Онисимову судьбу избрения, того самого, которое Онисимовым было отвергнуто, ибо (как выразился академик Чельшев), «если такие заводы начнем строить, без штанов будем ходить» (там же). «Будет исполнено!» — отвечает без запинки Онисимов. Тот самый, который якобы жизнь готов отдать ради интересов страны. А мы его бережливостью к картофельным очисткам умиляемся;

б) предательство. Не частое, нет — вынужденное, обусловленное, как принято говорить, эпохой И, само собой, совершаемое не ради корысти, а чтобы делу вернее потом служить. От брата и запальчивой, но полной обаяния жены его отрекся. Да и покровителя своего, очень нежно относившегося к нему Серго Орджоникидзе, Онисимов, если помните, предал

Нюансы биографии одного спеца? Нет. Неизбежное следствие системы отношений, системы управления, основанной на полной централизации, приказе, волевых решениях. Вспомним: почему министром он сам поставил простака-уваляню, покладистого, во всем послушного Цихоню? А потому что «Онисимов не терпел возражений... он и сам никогда не прекословил тем, кого был обязан слушаться, но зато вспыливал, обрывал, если какой-либо подчиненный отваживался ему перечить» (там же, стр. 44).

Но и этим счет, предъявляемый историей Онисимову, не исчерпывается. Из романа он предстает человеком пусть непомерно преданным Сталину, зато ненавидящим его Малюту Скуратова. Что это? Попытка вызвать симпатию к герою, оправдать перечисленные его недостатки? Или капля бальзама на души современных сталинистов, заверяющих нас своим честным словом, что в сталинском терроре повинен вовсе не доверчивый Сталин, а коварные Ежов и Берия? К счастью, не то и не другое. Г. Попов в своей прекрасной статье «С точки зрения экономиста» очень точно, думается, определил место Берия и в системе культа личности и в Административной Системе: «В романе сделан шаг вперед в нашем взгляде на ту эпоху — Берия постепенно воспринимается и как продукт, и как обязательное, необходимое звено Системы. Без Берия Сталин никогда не мог бы стать Хозяином, а без них обеих Административная Система не смогла бы приобрести логичную завершенность, цельность, практическую эффективность» («Наука и жизнь», 1987, № 4, стр. 62).

За это именно Онисимов и ненавидит Берия? Отнюдь. Ненависть и страх между руководящими работниками — необходимая и продуктивная часть Административной Системы. А для Дела Онисимову Берия нужен не менее, чем Сталину: «Не имея достаточных рычагов материальной и моральной мотивации, Онисимов эффективно командует своими подчиненными не в последнюю очередь и потому, что над теми тоже

занесена «рука Берия» — в лице каких-то из его подчиненных. Онисимов скорее всего не хочет об этом думать, но ведь подчиненные это сознают...»

Заметьте, речь идет о лучших представителях системы администрирования! А мы все еще тешим себя тем, что если бы к нашей плановой экономике приставить нос... простите, порядочность и компетентность «хороших администраторов», то мы бы... Никак не поймем простую истину, высказанную А. Стреляным в статье «Приход и расход»: «Вопрос о грамотности директивного, приказного управления хозяйственной жизнью вообще имеет столько же смысла, сколько вопрос о грамотном передвижении на руках: как бы грамотно мы ни научились ходить на руках, все же на ногах — будет лучше, удобнее, быстрее» («Знамя», 1986, № 6, стр. 191).

Короче говоря: сейчас мы пожинаем в экономике то, что было в ней посеяно в годы отречения от принципов нэпа, то есть где-то в 1927—1929 годах.

Зато, говорят, система «военного коммунизма», к которой мы негласно вернулись, очень помогла нам в годы войны, когда вся воля должна быть собрана в кулак, когда приказ командира — закон для подчиненного! И не только на фронте, но и везде.

На войне без единоначалия не обойтись, что и говорить. Легендарный наш подводник А. Маринеско так говорил: «На подводной лодке командир, особенно в боевом походе,— царь и бог, видит, слышит и решает он один. По-другому и быть не может, иначе лодка утонет. Ни митинговщины, ни двоевластия море не терпит». Убедительно? Конечно. Но даже в ситуации, когда секундное промедление в принятии решений может стоить всем жизни, успех предопределяет не сама по себе концентрация власти в одних руках, ибо: «Но беда, если командир заберет себе в голову, что он всесилен, а все прочие — пешки» (А. Крон, «Капитан дальнего плавания» — «Новый мир», 1983, № 2, стр. 34). Разве не обернулось бедой для нашего народа именно в войну то хотя бы, о чем было вскользь упомянуто в романе А. Бека, — «полоса тяжелого разлада, расстройств» («Знамя», 1986, № 11, стр. 37) (вызванного арестами 1937—1938 годов) в промышленности и на транспорте? Только ли там? А в самой армии?..

В печати не раз уже появлялись письма, авторы которых открыто встают на защиту методов управления, утвердившихся у нас в 30-е годы, требуют запретить «хулу» на эти методы: ведь с их помощью были заложены основы экономической мощи нашей страны (пятилетки, коллективизация), укреплена армия и т. д.

Не будем касаться интересного для социальной психологии вопроса, насколько разительно может отличаться восприятие одних и тех же событий в зависимости от такого «пустяка», как — по какую сторону лагерной проволоки находился человек, вспоминающий былое. Хотя очевидно: авторам подобных писем ни сидеть в лагерях по обычному доносу, ни стоять в очередях возле зарешеченных окошечек со скудными узелками для самых дорогих людей не довелось. Тут другая проблема: насколько же мы не развиваем в школах мышление людей! Я уж не толкую о глубинах исторического мышления или высотах диалектики, но хотя бы азы-то элементарной логики ее выпускники должны знать! «После того — значит, по причине того» — типичнейшая школярская логическая ошибка. Мы победили фашистскую Германию в условиях культа личности, после проведения коллективизации — стало быть.. Ничего не «стало быть»! Причинно-следственные связи сложнейших социальных явлений при помощи двух правил арифметики не выявляются. Более позднее может состояться не только благодаря, но и вопреки, несмотря на. А может вообще не иметь к нему отношения.

Укреплена армия.. «Вот перед нами подсчеты, сделанные генерал-лейтенантом А. И. Тодорским: сталинские репрессии вырубili из пяти маршалов трех (А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер); из пяти командармов 1-го ранга — трех; из 10 командармов 2-го ранга — всех, из 57 комкоров — 50; из 186 комдивов — 154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга — всех, из 28 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизионных комиссаров — 58, из 456 полковников — 401» («Огонек», 1987, № 26, стр. 6).

По какому же моральному праву мы вновь начнем с непринужденностью шагать в своих исторических рассуждениях по такого рода «щепкам»? Вот что думал об «укреплении» нашей армии в ходе сталинских преобразований в стране 30-х годов К. Симонов: «Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими (военачальниками, погибшими от репрессий.— А. Н.). Надо помнить, что творилось в душах людей,

оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара... Не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, и в этом корень вопроса» («Наука и жизнь», 1987, № 6, стр. 44—45).

Столь же безуспешными представляются мне предпринимаемые некоторыми историками попытки облагородить катастрофу коллективизации путем сведения критики в ее адрес по старинке к пресловутому «головокружению от успехов», от которого-де быстро излечили «решительные меры», принятые в 1930 году ЦК ВКП(б). И ведь что интересно: не стесняются при этом цитировать Ленина, который еще в 1919 году пришел к выводу, что *«действовать... насильем»* в деле социалистического преобразования села *«значит погубить все дело»*⁶ Очень однозначная и безусловная формула, не правда ли? Ее вроде бы и не ставят под сомнение, но поворачивают разговор так, что жизнь все-таки показала другое, что никак нельзя было нам обойтись без насилия в коллективизации — кулак обострил классовую борьбу, международный империализм опять же усилил свои происки. Да и чудесенко, в общем-то, все закончилось, хотя трудности и были. Крестьянство в результате коллективизации стало классом социалистического общества — классом тружеников-коллективистов, объединившихся в производственных кооперативах, совместно владеющих средствами производства и ведущих общее хозяйство. Исчезли последние рычаги эксплуатации, а война показала жизнестойкость полученной системы.

Рассуждения эти, в общем-то, не удивляют, они нам знакомы еще по «Краткому курсу истории ВКП(б)». Одно хочется посоветовать тем, кто к ним прибегает, — не вспоминать при этом Ленина! Иначе читатели наши оказываются перед странной альтернативой: или Ленин в своих мрачных пророчествах относительно применения насилия к мужику был близорук, или ради спасения народов от эксплуатации, превращения крестьян в коллективистов и тружеников и победы в войне с фашизмом нам надо было погубить начатое Лениным дело.

Впрочем, пусть сторонники такого рода исторических реабилитаций сталинизма сами выпутываются из логических лабиринтов, в которые они забираются, чтобы доказать, что Сталин для своего времени был не просто «Лениным сегодня», но даже чем-то гораздо большим. Нам интереснее вернуться к вопросу о «спасительности» директивного, волевого руководства в экстремальных условиях войны. Ведь как бы то ни было, а мы в ней одержали победу! Одержали, но какой ценой и не в результате ли поразительного для условий культа личности взлета самодетельности, децентрализации, инициативы народных масс, компенсировавших (но какой кровью!!) нелепости сверхцентрализованности предвоенных лет, да и той, что оказывалась порой непомерной даже в условиях войны.

Только очень не искушенный в социологии человек может отождествлять демократию, самоуправление, свободу дискуссий с анархией, пустым митингованием, отсутствием четкости и дисциплины. Даже в смысле единоначалия глубокая демократия создает такие возможности, о которых самый ретивый фельдфебель и мечтать не смеет. Если люди заинтересованы в своем деле, они и за четкость, и за порядок, и за оперативность решений двумя руками голосуют.

Странно предполагать, что мощная экономика и чувство хозяина страны у каждого ее трудящегося могли бы вдруг стать помехой в ходе нашей войны с фашизмом. Но... «Не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года...» — со скорбью констатирует К Симонов, имея в виду те страшные людские, материальные и территориальные потери, которые понесла наша страна, дезориентированная уверениями «величайшего гения всех времен и народов», что фашисты останутся верны пакту о ненападении. А ведь есть достаточно оснований утверждать, что «не будь 1929 года, то не было бы и 1933 года». Я имею в виду, что пойдя мы в сторону, намеченную нэпом, — и вся мировая ситуация могла бы быть иной, фашизм в Европе (и в Германии) вряд ли одержал бы победу. Слишком смелое утверждение? Не думаю.

В печати уже высказывалось суждение, что в 1928—1929 годах у нас «произошел фактически государственный переворот, подготовленный группой Сталина» («Век XX и мир», 1987, № 7, стр. 37) Какими именно бывают перевороты там, где состоялась революция, всем известно — контрреволюционными. И когда они имитируют при этом величайшую революционность, это ничего не меняет в сущности. Но в этом случае возникает дополнительный сюжет, ведущий к дезориентации революционных

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 38, стр. 200.

сил в мире, путанице умов, расколам и прочим бедам, которые в данном случае и помогли фашистам в Европе одержать верх и над коммунистами, и над социалистами, и над демократами, не сумевшими, даже не пожелавшими создать единый фронт против общего врага.

Я затрагиваю этот вопрос не из исторической любознательности. Нам сейчас крайне важно осознать масштаб того выбора, перед которым снова стоит наша страна, все мы вместе и каждый в отдельности. И цену возможных ошибок тоже надо осознать. Именно для этого нам и необходимо открытыми глазами взглянуть на наше недавнее прошлое. Сейчас от того, каким путем пойдет СССР, вновь ставший флагманом социализма, зависит не просто качество нашей с вами жизни и качество жизни наших детей, но во многом, очень во многом — весь ход дальнейшей человеческой истории. За этой констатацией стоит не ура-патриотизм, не романтический утопизм, не пустая словесная спекуляция во имя того, чтобы сделать приятное сердцу идеалам. За ней уже — опыт нашей истории, слишком дорого обошедшийся не только миллионам трудящихся нашей страны, но и всему человечеству. Не осознав этого, мы, наверное, так и не поймем, чего это во всем мире такой переполох вызвала наша перестройка. Вот и такой скептик, как Г. Маркес, вдруг заявляет нечто хоть и приятное, но неожиданное: «Если перестройка, есяя то, что вы делаете, будет доведено до конца, это окажется самым важным событием в современной истории» («Правда», 16.07.87).

Что же эпохальное произойдет, если мы доведем перестройку до конца? Не с нами, а с миром? Люди снова поверят в социализм. И это позволит им сплотиться для решения всех глобальных проблем, не разрешив которых им просто не выжить. Вот почему, надо полагать, зарубежные деятели говорят: если ваша перестройка не удастся, мир может погибнуть. Может. Это вполне реально.

Чем соблазняли в былые годы и продолжают соблазнять ныне (и себя и других) поклонники административных методов управления? Быстротой и легкостью разрешения социальных проблем. Но такое возможно только на путях принуждения, насилия. Я отнюдь не собираюсь ставить под сомнение необходимость того и другого в определенных исторических ситуациях для решения определенных исторических задач. Революций без насилия не бывает. По доброй воле никто еще пока от власти не отказывался. Но вот на что обратите внимание — творцы бюрократической машины после революции, после гражданской войны декларировали-то необходимость принуждения и насилия якобы во имя трудящихся, в то время как идеи «закручивания гаек», «государственного регулирования, доведенного до каждого крестьянского двора», «огосударствления профсоюзов», «беспощадной дисциплины» и т. д. адресовались уже самим трудящимся! Разумеется, не всем, а тем, кто «не понимает», кто «попал под влияние», «тянет назад»...

У вопроса о применении насилия к крестьянству в ходе коллективизации, кроме социально-прагматического аспекта (о котором шла речь в уже приводившихся словах Ленина) есть и особый, нравственно-исторический аспект. Социалистическая революция одержала у нас победу, как известно, только благодаря поддержке ее крестьянством (в стране, где из 120 миллионов жителей около 100 миллионов были крестьянами, иной вариант исключен!) У поддержки же этой очень простой причине: земля. Мужик пошел с большевиками ради земли. И все особенности его дальнейшего поведения определялись, в общем-то, именно этим мотивом. И первоначальная бескровность нашей революции объясняется почти полным единодушием крестьян в данном вопросе.

В молодости я как и большинство моих сверстников, многочисленность и озлобленность белых дивизий объяснял только полной темнотой крестьянства, которое «обманули» «настроили» против, которое только поэтому упрямо не хотело понять своего собственного интереса и т. д. Но как-то в руки мне попала книга И. Тепера (Гордеева) «Махно» изданная в 1924 году, когда статистика еще обладала качествами полноты и правдивости. В ней я прочитал, в частности, такое вот: «До 20-го года махновщина сосредотачивала в своих рядах большей частью крестьян, которые еще сильно были связаны сохой и плугом. В 1919 году Н. К. З. Украины предполагал оставить за государством 65% помещичьей земли и в конечном итоге после урезывания этого плана он все же оставил за собой 1700 бывших помещичьих экономий с площадью земли свыше миллиона десятин, что составляло 600 десятин на один совхоз. Эта мера была продиктована земельной политикой Соввласти, направленной к

переходу к социалистическому землепользованию и к строительству с.-хоз. коммун и артелей, но она шла вразрез с крестьянством, в частности с кулачеством и середнячеством, которые пытались получить всю без исключения помещичью землю и знать не хотели о „коммуниях“⁷.

Знаете, эти вот случайно попавшиеся на глаза цифры дали мне для понимания сути гражданской войны и многих ее загадок куда больше, чем все учебники моей юности, вместе взятые. Не надо обладать буйным воображением, чтобы понять, что значили для украинских крестьян эти 65 процентов помещичьих земель, которые из самых прогрессивных, самых социалистических соображений наши революционные нетерпивцы, убежденные, что мужик — дурак, а они лучше его понимают его интересы, попробовали у крестьян отнять. Да, отнять. Ибо не для того же крестьяне прогоняли в ходе революции помещиков, чтобы тотчас же какое-то «Н. К. З» начало без них делить тысячи экономий с миллионами десятин вожделевского чернозема!.. Да, добрыми намерениями вымачиваются не только дороги в ад, но и кровавые дороги братоубийственных войн.

С первых шагов в сторону социализма «темные мужики» лучше всяких докторов социологии разобрались, чем грозят им административные методы руководства сельским хозяйством, проголосовав и за неспешность и за добровольность, то есть за экономические методы! Дальнейший ход событий показал, насколько они оказались большими социалистами, чем те, кто клеймил их как главных носителей мелкобуржуазной идеологии.

В условиях, когда земля и средства производства национализированы, вопрос о способах государственного управления экономикой перестает быть просто «управленческим» вопросом, его решение предопределяет (а не просто влияет на) все стороны человеческих взаимоотношений. Приглядеться же к нему всерьез с этих позиций мы до сих пор как-то не пробовали. Поэтому сейчас попытки перейти на методы экономического управления народным хозяйством воспринимаем как чисто экономический, локальный по своим целям эксперимент, в результате которого мы, что-то выигрывая в хозяйственной сфере, с неизбежностью должны-де утратить кое-что в области формирования социалистических отношений, идеологии. Настолько вот замусорили наши головы трубадуры «лучезарного» казарменного коммунизма. А ведь факты не просто говорят — они кричат о противоположном!

Когда в воспоминаниях о Ленине начинают преобладать розовые и голубые тона, когда он начинает выглядеть таким добрым дедушкой Лениным, ничем больше после революции не занимавшимся кроме раздачи конфеток детишкам на новогодних елках, я не знаю, что делать: ругаться или смеяться? Ленину часто приходилось после революции быть суровым политиком. Но он никогда не поэтизировал этой суровой необходимости военного времени и тем более не мечтал превратить насилие в универсальный метод утверждения всеобщего счастья на земле. Его ликование по случаю открытия безболезненных, приемлемых для всех, всем выгодных путей к утверждению социалистических общественных отношений связано во многом с тем, что Ленин увидел возможность резко сократить роль насилия в управлении обществом.

Трудно счесть случайным совпадением тот факт, что именно в 1921 году, с рождением нэпа, резко активизировались поиски и в области права, укрепления законности при четкой тенденции к сокращению и смягчению насильственных мер регулирования общественных отношений. «В тот же день, 1 декабря двадцать первого года, когда был опубликован декрет об ответственности за ложные доносы и создание ложных доказательств обвинения, Ленин внес в Политбюро предложение преобразовать ВЧК, сузить круг ее деятельности и ее компетенции сузить право ареста, повысить роль судов, усилить начала революционной законности провести через ВЦИК общее положение об изменении „в смысле серьезных умягчений“»⁸ Пойди страна этим путем, ни о каких массовых репрессиях, лагерях и посмертных реабилитациях нам бы и услышать не довелось. Экономические методы регулирования не нуждаются в политическом насилии. Администрирование же скатывается к нему рано или поздно (обычно рано) с неотвратимостью рока.

Не надо ответственность за негативные явления, связанные с культом личности, за массовые репрессии, беззаконие и т. д. взваливать на одного Сталина — говорят

⁷ И Т е п е р (Гордеев). Махно Киев «Молодой рабочий». 1924, стр. 35—36

⁸ Елизавета Драбина, «Зимний перевал» («Новый мир», 1968, № 10, стр. 85).

достаточно часто. К Сталину у истории и народа особый, неоплатный счет. Но действительно, моральные качества одного человека сами по себе не могли привести к столь роковым последствиям в масштабах целой страны.

Сталина призвало время — так вот еще говорят.

Нет! Время криком кричало, призывая Ленина. Сталина призвала и подняла на пьедестал приказная административная система управления, идеология волевого построения социализма сверху, оказавшиеся, к сожалению, ближе и понятнее тем социальным силам, которые определяли и определили выбор на переломе истории, на развилке путей.

Сейчас, чтобы разобраться в сути «загадочных» и «необъяснимых» преград, возникающих на пути нашей перестройки, первоочередной задачей которой как раз и является переход на методы экономического управления народным хозяйством страны, чтобы разобраться в «механизмах торможения», в идеологии, психологии и физиологии того явления, которое именуется в народе сопротивлением, нам жизненно важно понять, что же это были за силы и чем был предопределен тогда, в 20-е годы, принесший столько бед народу выбор.

Обращаясь к событиям тех лет и оперируя привычным понятием «ошибки», «трудности» и т. д., мы не задачу решаем, а факты под ответ подгоняем. Вот как художник М. Савицкий мотивирует право на правдивый показ коллективизации (речь идет о фильме «Знак беды»): «Неприкрашенное отражение истории в искусстве как раз «работает» на социалистический закон правды, отображает жизнь с ее сложной диалектикой, с просчетами, заблуждениями, но и с неоспоримыми достижениями. Годы коллективизации — это реальность нашей жизни, это судьба народа со всеми противоречиями. Нельзя забывать, что мы были первыми в дотоле неизвестном деле строительства нового мира» («Известия», 1987. № 47).

Я за неприкрашенное отражение истории, хотя и не понимаю, что это такое — «социалистический закон правды». Это, по-моему, закон элементарной порядочности. Но не в этом суть. Не пора ли нам расчленить наконец это лукавое слово «мы»? Для меня, к примеру сказать, «мы» включает в себя Ленина, Макаренко, Вавилова, Булгакова... Но исключает Сталина, Берия, Лысенко, Рашидова. А для тех, кому они до сих пор «мы», я категорически отказываюсь быть своим, с чем они, думаю, охотно согласятся. Мы действительно совершали ошибки, у нас были заблуждения, просчеты, и именно потому, что мы не накопили еще тогда опыта. Но в двадцать девятом, а тем паче в тридцать седьмом году не мы делали ошибки, а они совершали преступления. Наша же ошибка в том, что значительно раньше просмотрели мы момент когда они набрали силу, сконцентрировали слишком много власти в своих руках, стали бесконтрольными со стороны народных масс. Коллективизация как «судьба народа»? Ах, как трогательно и печально! От судьбы ведь не уйдешь, ее надо кротко принимать и терпеть! Но Ленин видел судьбу народа не в раскулачивании всякого, кто смеет раз в день наесться досыта, а в свободном кооперировании, в зажиточности мужика и в его хозяйском достоинстве. При этом, заметьте, Ленин, делая выбор, на самом деле был среди первых «в дотоле неизвестном деле строительства нового мира». Однако не искал в этом оправдания допускаясь до 1921 года ошибкам. А вот те что шли намного после что были отнюдь не первыми, весьма охотно взваливают на себя терновый венок первопроходцев. Очень уж им их преступления хотелось бы выдать за наши ошибки, просчеты, заблуждения, идущие от горячей увлеченности революцией, помноженной на молодость и неопытность. Но, думается, лучше подойти к событиям тех лет, опираясь на упомянутый выше методологический совет Ленина, и прикинуть, кому же были выгодны эти самые ошибки, во имя чьих и интересов в совершались перегибы, просто ли неумение логично мыслить порождало заблуждения.

Кому было выгодно в 20-е годы похоронить нэп, особой тайны не составляет. «Нэп,— пишет Лев Воскресенский,— вызвал замешательство у «столоначальников»: разросшийся до огромных размеров аппарат управления государственным хозяйством (практически при отсутствии хозяйства как такового, если иметь в виду, что государственная промышленность в начале 20-х годов бездействовала) опасался сокращения штатов и перевода администраторов на практическую работу, оплачиваемую по результативности трудового участия и по квалификации» («Московские новости», 30.11.86). Открытие, сделанное с позиций накопленного исторического опыта? Да нет, противник

был четко выявлен и обозначен еще тогда, в 20-е годы. Вспомним: «Самый худший у нас внутренний враг — бюрократ...»⁹.

«...Государство у нас рабочее с бюрократическим извращением... Наше теперешнее государство таково, что поголовно организованный пролетариат защищать себя должен, а мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства»¹⁰.

Удалось достичь этого за прошедшие с той поры шестьдесят с лишним лет? Стоит просто оглянуться вокруг, чтобы стало очевидным: нет, не удалось. Поразительно сходство тех социальных групп, что оказывали сопротивление нэпу, с нынешними, перечисленными А. Аганбегяном: «Сопротивление (пассивное и активное), оказанное новому курсу отдельными группами работников — частью аппарата управления, у которых отбираются права, привилегии с целью расширения самостоятельности низовых хозяйственных звеньев. Сопротивление оказывается также слабыми хозяйственниками, которые боятся самостоятельности и привыкли жить по указке сверху, отсталыми трудящимися, привыкшими получать незаработанную плату и противящимися переходу к последовательному распределению по труду. Я уж не говорю о лицах, получающих нетрудовые доходы» («Литературная газета», 18.02.87). Как видим, все вполне соответствует ситуации начала 20-х годов.

Язва бюрократизма порождена не социализмом, разумеется. Но нельзя забывать, что историческая эпоха перехода от частной собственности на средства производства к народовластию (и особенно тот ее отрезок, где полностью или частично произошла национализация, а социализация еще готовится) создает для расцвета бюрократии невиданные доселе по своей благоприятности условия. Тут за чиновничьим аппаратом глаз да глаз нужен, иначе... Поучителен в этом отношении опыт Индонезии, претендовавшей даже в свое время, если помните, на звание страны, строящей социализм. Чем это кончилось, известно. А почему кончилось именно так, поняли немногие. Чтобы чуть-чуть приоткрыть завесу над событиями, приведу несколько свидетельств, взятых из весьма поучительного сборника статей «Общество, элита и бюрократия в развивающихся странах Востока», изданного «Наукой» в 1974 году.

Возникновение бюрократической прослойки буржуазии в Индонезии «связано преимущественно с государственным аппаратом. Не имея адекватно развитой экономической базы в виде средств производства, торгового предприятия, акционерного капитала и т. п., бюрократическая буржуазия наживается в результате злоупотребления своим служебным положением. Это, короче говоря, обуржуазившееся привилегированное чиновничество. Обуржуазившееся именно по той причине, что оно находится у рычагов власти.

В конечном итоге бюрократическая буржуазия, как и обычная предпринимательская буржуазия, наживается за счет присвоения прибавочной стоимости, эксплуатации трудящихся. Это роднит обе социальные категории эксплуататоров. Разница лишь в том, что предприниматель выступает в роли непосредственного эксплуататора, присваивая прибавочную стоимость на принадлежащем ему предприятии. Эксплуататорская роль капиталиста-бюрократа опосредована через сложные механизмы различных звеньев государственного аппарата» (книга первая, стр. 140).

«Стремление основной массы чиновничества к обогащению способствовало распространению и такого зла, как круговая порука, основывавшаяся на родственных, клановых, земляческих, партийных связях. Влиятельный чиновник обычно стремился подбирать аппарат не по деловым качествам, а по мотивам личной преданности из числа родных, друзей, близких соратников по партии. В этих условиях вышестоящий обычно покрывал нижестоящих. Злоумышленники делились незаконными доходами со своим патроном, полагаясь на его покровительство» (там же, стр. 147).

«С 1960 г. по 1963 г. расходы на содержание государственных чиновников (включая службу безопасности, полицию, суд, зарубежные представительства) возросли с 44% до 66,4% бюджета, тогда как на нужды хозяйственного развития страны в 1963 г. отводилось лишь 8% бюджетных расходов» (книга вторая, стр. 244).

«Занимая ответственные посты в рамках госсектора, гражданская и военная бюрократия с помощью различных незаконных сделок, махинаций и коррупции наживала капитал, который переливался из госсектора в сектор частного предпринимательства. Выступая, как правило, не в производительной, а в торгово-спекулятивной фор-

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 15.

¹⁰ Там же, т. 42, стр. 208.

ме, такого рода предпринимательская деятельность сдерживала рост производства» (там же, стр. 245).

«Паразитический характер бюрократического капитала выражался и в том, что разрушительному воздействию подвергался и частный сектор, который в условиях инфляции, нехватки сырья, оборудования вынужден был переориентироваться на торгово-спекулятивную деятельность. И это было одной из существенных причин экономического кризиса, с которым столкнулась страна в последние годы правления Сукарно» (там же, стр. 246).

Столь опасен враг, столь тлетворно во всех отношениях его влияние. И Ленин не устал напоминать об этом, призывая к самой беспощадной борьбе с бюрократизмом. Почему же столь слабой оказалась эффективность этой борьбы?

Бюрократизм — как радиация. Губительность его воздействия видна на каждом шагу, а сами излучения не видны, не слышны, без вкуса и запаха. С прежними социальными противниками трудящимся бороться тоже было нелегко, но те хоть имели четко уловимые отличия, границы, приметы. Рабовладельца легко было выявить по наличию рабов, феодала — по наличию крепостных и вассалов, капиталиста — по наличию наемных рабочих. Бюрократ же — часть функционирующей системы управления, системы в целом необходимой и неизбежной до тех пор, пока не отомрет государство. Его не вычленишь, не изолируешь, не сократишь, ибо это элемент прежде всего качества аппарата. Социального качества, состоящего в особой направленности его действий. В этом отношении опаснее всего трактовать бюрократизм как некий психологический дефект, нравственную недостаточность или неумение работать правильно, которые «каждый сам в себе должен вытравлять» с непримиримостью Павки Корчагина. Конечно, бюрократия как социальная сила формирует и психологию, и привычки, и нравственную неполноценность, и стиль работы. В том числе и в каждом из нас. Но упаси нас бог свести борьбу с радиоактивным заражением к подлечиванию тех, у кого уже выпадают зубы, и захоронению умерших. Главное в этом деле все-таки — ликвидировать источники излучений, снять и дезактивировать смертоносный слой... Ну а лечить облученных, разумеется, надо, кто же против!

Продолжая медицинскую аналогию, можно еще так сказать: бюрократ, как раковый возбудитель, проникает в живую, функциональную, необходимую клетку общества и заставляет ее (а стало быть, и все общество) работать на себя. А поражает он в первую очередь самые жизненно важные органы, которые не вырежешь, не выбросишь! И метастазы умеет вокруг себя распространять. И раннему диагностированию плохо поддается... По всем этим причинам, думается, здоровые силы общества тогда, в 20-е годы, и проморгали болезнью, недооценили последствия первых симптомов. Тогда! Сейчас для диагноза материала накопилось более чем достаточно. И от благодушия нас история отучила. Должна отучить. Свидетельства нынешней периодической печати по крайней мере дают столь отчетливую клинику, что в характере основного заболевания и в названии его возбудителя для сомнений не остается места.

ОТКУДА ЖДАТЬ НАСТУПЛЕНИЯ?

Все мы в одной лодке, спору нет, но гребем-то кое с кем в разные стороны. Оттого, думается, и вертится наша лодка на месте, хотя вроде бы и неплохо разобрались мы за последнее время, куда нам плыть. Это все-таки сказочка для Хрюши и Степашки, будто мы путем братания с коррупционерами и казнокрадами доведем объявленную революцию до победного завершения. А нам кое-кто даже спорить с ними предлагает исключительно деликатно, с полным уважением к их казнокрадской позиции. Да как предлагает! С угрозой в голосе, показывающей, что в случае непослушания нашу-то позицию очень даже просто могут и перестать уважать. И это вполне правдоподобно, ибо большая часть механизмов реальной власти находится в руках бюрократии. Конечно, ситуация для бюрократии неожиданно сложилась не совсем благоприятная — целый ряд высших ключевых позиций вышел из-под их контроля, да и народ по причине гласности пришел в нервное состояние — напрямую, открыто его в прежнее состояние безразличия и апатичного послушания возвращать рискованно. Возможны конфликты, при которых трудно предугадывать ход событий. Лучше переждать. Вторично в XX веке в России сложилась любопытная ситуация своего рода «двоевластия», когда ни одна из сторон не готова пойти в решительное наступление и ждет своего часа, ограничиваясь отдельными вылазками в целях раз-

ведки Очень наивно было бы с нашей стороны полагать, что бюрократия (как социальная сила) теряет сейчас время даром. Она, надо отдать ей должное, уже нащупала наиболее уязвимые места перестройки и, не афишируя этого, тщательно замуфлировав свои планы славословием в адрес объявленных реформ (в том числе и в адрес экономических методов управления вместо административных), готовит широкое наступление. Направление его выбрано, как мне кажется, безошибочно.

Стремительный рост количества продуктов и услуг, который в сфере индивидуального и кооперативного труда по законам рыночной экономики мог бы со временем привести к резкому удешевлению и того и другого, всячески тормозится. Откровенно, любым — вплоть до абсурдных и уголовных (читайте «Криминальный помидор» И. Гамаюнова. — «Литературная газета», 12.08.87) способов И заметьте — чаще всего именно на том основании, что «частники» норовят-де брать слишком высокую цену. В государственном же секторе, где царит монополия экономика и стихийного снижения цен за счет конкуренции быть не может, на неуклонное взвинчивание цен нас приучают смотреть как на проявление высшей (скрытой от наших непосвященных умов) целесообразности. Трудно в связи с этим не присоединиться к тревоге, высказанной журналисткой М. Александровой: «Боюсь, что в случае подорожания продуктов люди могут отвернуться от перестройки как от «говорильни», при которой цены скачут выше отметки. И тогда поднимут голову истинные противники перестройки, которым гласность и демократизация поперек горла стоят» («Литературная газета», 12.08.87).

Надеюсь, читатель поймет правильно — вовсе не о нашем нежелании выделиться на общее дело лишний рубль ведет речь М. Александрова, а о попытках воспользоваться волной пробужденного перестройкой энтузиазма и переложить на плечи трудящихся плату за бездарное руководство нашей экономикой на предыдущих этапах истории, сохранив тем самым для бюрократов возможность жить так, как они до сих пор жили.

Такой вариант вовсе не исключает использования новых идей и новых терминов. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы опыт Пруссии середины прошлого века, о котором Энгельс писал не без сарказма: «Чтобы Пруссия еще раз могла себя показать как образцовое государство, в ней было введено так называемое самоуправление. Задача заключалась в том, чтобы устранить наиболее вопиющие остатки феодализма и в то же время на деле оставить по возможности все как было»¹¹.

Судьба перестройки будет решаться прежде всего в сфере экономической, для любого серьезного социолога это истина, не требующая доказательств. Как говорил Ленин, «мы ценим коммунизм только тогда, когда он обоснован экономически»¹². Но... Впрочем, здесь мы вынуждены прерваться, с тем чтобы без спешки поговорить про это «но» в следующем номере журнала.

¹¹ К Маркс. Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, стр. 476 Поучительно, насколько идеологические жупелы и ритуальные стороны жизни оказываются при этом для людей важнее прямых выгод «Но что сказать о тупоумии господ юнкеров, — комментирует отношение к идее «самоуправления» тогдашних хозяев жизни Ф. Энгельс, — которые, точно избалованные дети, стали отбиваться руками и ногами от этого положения об округах, выработанного исключительно в их же собственных интересах, в интересах дальнейшего сохранения их феодальных привилегий лишь под слегка модернизированным названием?» (там же, стр. 478).

¹² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 179.

(Окончание следует)

ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

СТРАНИЦЫ ИЗ ПЕРЕПИСКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

«Мне потребовалось тридцать лет жизненного опыта, чтобы я сумел кое-что рассказать о своих главных жизненных переживаниях» — этими словами Виталий Семин заканчивает «Нагрудный знак OST» — роман о каторге, о трудовом лагере в фашистской Германии, куда Семин был угнан пятнадцатилетним подростком.

Роман был опубликован за два года до смерти писателя, в 1976 году, а еще в 1975-м он напряженно работал над ним и писал, как развивается у него «сопротивленческий сюжет».

Сопротивление — это не только сюжетная линия семинского романа, но сюжет его жизни и творчества, одно из «главных жизненных переживаний» писателя. В письме к своему другу поэту Л. Григорьяну он писал в октябре 1977 года: «Писатель не может писать, не испытывая сопротивления. Если есть в литературе универсальные законы, то этот, конечно, главный. Борется ли писатель со здравым смыслом... незнанием и т. д. — сопротивление ему необходимо. Он сам его ищет. Твои письма так интересны сейчас потому, что ты испытываешь колоссальное сопротивление жизни... Ни один сюжет не держится без сопротивления. Если книгу не станешь читать ночью или в трамвае — значит, снято сопротивление, которым она была жива. Как снято — другой вопрос. Временем, наукой, сменой предрассудков, новым здравым смыслом, который из этих предрассудков состоит. Но книга жива жизнью сопротивления, которое когда-то вызвало ее появление. Древних цитируют, но не читают. И цитируют как раз то, что живет сопротивлением жизни и сейчас...»

В 1953 году Семин был исключен из Ростовского педагогического института — при поступлении он скрыл, что был угнан в Германию и работал в арбайтлагере. После исключения он уехал на строительство Куйбышевской ГЭС. Здесь ему стало ясно, что не писать он не может. Из письма к матери, Вере Федоровне Лисановой (1953 год): «Ведь если нет действительно прежней базы под ногами, то нет и ничего особенно прочного в отношениях людей.. ходишь день очумелый, мыкаешься то туда, то сюда, и нет уже того утешения, которое было даже в Германии, что я еще мальчик, что еще кто-то позаботится и все будет хорошо. Теперь я знаю, что надеяться надо только на свои силы — в прошлом не нужно тяжелый груз, который вечно будет рожать ко мне недоверие, и горе мне, если у меня только средние силы, — никогда мне его не побороть. Сегодня целый день писал, а вечером с отвращением перечитывал написанное, и такое отчаяние меня охватило, как зубная боль».

Среди рабочих записей к роману «Плотина», продолжению «Нагрудного знака OST» (роман опубликован посмертно), есть запись о потере человеком социального лица. Это все тот же семинский сквозной сопротивленческий сюжет:

«Потеря «социального» лица, потеря качества. Сам себя как будто ни в чем не можешь обвинить, но чувство вины испытываешь Сталинский и другие терроры эксплуатировали вот это чувство вины. Особенность его в том (для интеллигента, привыкшего к рефлексии), что, не чувствуя себя виноватым в том, в чем его обвиняют, он винит себя за что-то другое. Ведь всегда в чем-то виноват перед судьбой,

совестью, ближними. Перед идеалом, наконец. Перед идеалом тоже ведь испытывают сильнейшее чувство вины. Я, во всяком случае, испытывал. Такой, каким я себя хотел видеть, всегда имел что сказать такому, какой я был. И на этот крючок меня всегда было легко поймать. И ловили! И кто только не ловил!»

Публикуемые письма относятся к семидесятым годам, к последнему десятилетью жизни Виталия Николаевича Семина. В 1965 году в «Новом мире», редактором А. Т. Твардовским, была опубликована повесть В. Семина «Семеро в одном доме», горькая и блистательная проза о послевоенной ростовской окраине. Повесть вызвала огонь критики и принесла Семину успех у широкого читателя. Художественное дарование Семина стало одним из открытий журнала. Семидесятые годы — годы окончания работы над «Нагрудным знаком ОСТ» и мучительно сложной его публикации, время напряженной работы на КАМАЗе, куда Семин ездил по командировке «Нового мира». «Напряжение это очень сильное,— писал он с КАМАЗа домой.— Разбираться во всем очень трудно, все очень сложно, морозно, красиво, холодно, исполнено всяческих героических усилий, неразберихи... размаха... Сажу на различных планерках, заседаниях, стенографирую или слушаю... Езжу на автобусах, машинах, обедаю в рабочих столовых, хожу в общежития, задаю вопросы, все более точные и квалифицированные, но все еще недостаточно точные и квалифицированные...» Он работал над очерком «Строится жизнь», напечатанном в «Новом мире» (1972, № 9), и, погружаясь в большую современную стройку, гумал о стройке пятидесятых годов, вынашивал замысел нового романа «Плотина», который не успел дописать.

А. М. МАРЬЯМОВУ¹

Дорогой Александр Моисеевич! Литература прекратила течение свое, и теперь, когда это все-таки случилось, видно, как много сделал «Новый мир»², тот самый, в котором Вы работали. Вот она — историческая периодизация! Целая эпоха в литературе, и дай Вам бог здоровья за то, что Вы — один из ее создателей. Честное слово, и раньше все, конечно, было ясно, но теперь-то, когда все кончилось, видно, что такое «Новый мир», Ваша редакция. Право, ходишь с таким ощущением, будто потерял смысл жизни. Знаете, ликования не чувствуется даже в том стане. По-моему, понимают, что им самим скучнее будет жить. Как там по Герцену — понизится температура образованности? Что же эти-то читать будут? Для саморазвития? Может быть, я и ошибаюсь, но не чувствую я радости у тех, кто всегда готов был осудить «Новый мир», — они тоже, наверное, понимают, что присутствуют при погребении.

А на что надеяться? Александр Моисеевич, если у Вас появится желание написать письмо, напишите его мне. Очень хочется знать, что же все-таки произошло. Или по крайней мере что случилось. Что осталось? Совсем ничего? Никого? «Новый мир» — это же не только направление (какое теперь направление!)...

Ах ты ж, боже мой, неужели там, где надо, не понимают, что не станет литературы, будет одна трясина и всеобщее снижение умственных способностей! Умственной активности... Не нужны, что ли, умственные способности?

Л. Г. теперь жалеет, что разрывал экземпляры «Нового мира», выбрасывая неинтересное, а интересное переплетал. Теперь все стало интересным. Слава богу, у меня сохранились все экземпляры за много лет.

Желаю Вам здоровья и бодрости, кланяюсь Е. В.

Любящий Вас Виталий.

27.2.70.

¹ Марьямов А. М. (1909—1972) — прозаик, очеркист в редколлегии А. Твардовского — член редколлегии по отделу публицистики

² Февральский номер «Нового мира» за 1970 год был последним, который подписал А. Т. Твардовский.

Ю. О. ДОМБРОВСКОМУ¹

Дорогой Юрий Осипович! Твою книгу² прочел залпом, спасибо тебе за нее и за добрейшую надпись (следуя совету Гамлета, ты относился ко мне лучше, чем я этого заслуживаю). Несколько раз пытался закончить письмо, которое несколько раз начал, но тут пошли такие события, что, право, тоска заела. Ты там ближе, у вас это все с подробностями и потому, наверное, острее, а у меня тут — вроде утраты смысла

существования. Не знаю, как тебе это переживается, а у нас тоска. И еще, конечно, чья-то радость, хотя не очень заметная,— просто некоторая успокоенность. Вроде можно выпить, а с другой стороны, на поминках не напиваются. Все чувствуют себя как на похоронах. Даже те, кто «Н. м.» всегда ненавидел. Хотя тут я, конечно, могу видеть то, что хочу, а не то, что есть на самом деле.

Я знаю, что у тебя отношения с «Н. м.» были не простые, да и у меня было не все просто — что-то печатали, чего-то не печатали, но ведь дело не в этом. Теперь-то видно, что это были за люди, целая литературная эпоха с ними связана. В 1866 году закрыли «Современник», в 1868 начались «Отечественные записки». Но не верится что-то мне, что у нас после «Н. м.» может объявиться что-то интересное. Вот и косноязычен я с горя стал.

Книжку ты написал славную. Не знаю, как Шекспир, но сам ты в ней полностью отразился. Твоя интонация, твои словечки, даже привычные для тебя цитации. Я так это и читал — как бы с твоего голоса. Теперь бы прочесть вторую часть «Хранитель» или просто что-то (не частями, а само по себе), что ты еще обязан написать. Ты хоть и историк, но не исторический, а живой, кровотокающий писатель.

Был бы тебе очень благодарен, если бы ты написал, что знаешь о московских делах...

Твой Виталий.

28.2.70.

¹ Домбровский Ю. О (1909—1978) — прозаик, автор романа «Хранитель древностей». Опубликовано в «Новом мире» (1964, № 7, 8)

² «Смуглая леди Три новеллы о Шекспире» (М. «Советский писатель», 1969).

А. Л. КАШТАНОВУ ¹

Дорогой Арнольд Львович! <...> Повесть моя уже дважды набиралась и дважды снималась. Она о немецком лагере, в который я попал в пятнадцатилетнем возрасте и в котором пробыл три года. По каким-то причинам антифашистская повесть вызывает настороженность. Вам знакомо такое выражение — неконтролируемый подтекст? За это время она сильно выросла. От трех до тринадцати листов. Для меня это уже большой объем. Я готов на нем остановиться. Дело за редколлегией и цензурой. Поскольку с увеличением объема в повести увеличивалось и количество оптимизма, то соответственно уменьшалось и количество нежелательного неконтролируемого подтекста. Об общей идее вы сказали правильно. Я много лет читаю поток рукописей и очень сильно ощущаю эту всеобщую тоску по общей идее. Для писателя это ведь и профессиональная тоска. Без концепции нет сюжета, нет композиции. Бессюжетность — это признание, что у вас нет концепции. Я вам завидую. Недавно я прочел прекрасную книгу Эйдельмана о Лунине. У него там есть славное замечание: потребовалось, пишет он, два поколения русских людей, которых не парализовало бы одно упоминание о татарине, для того, чтобы третье поколение смогло разгромить Орду. В двух поколениях забывается страх, неуверенность, восстанавливается естественное желание строить концепции, писать сюжетно. Славно также, что вы молоды. Молодость также концептуальна. Кроме того, она количественно щедра. Используйте свою молодость в полной мере. У вас еще есть одно верное замечание. О физическом напряжении, которого требует большая работа. С возрастом это понимаешь все больше и больше. Хорошо, если у вас это пока только теоретическое прозрение... Я вам желаю большой удачи. Всего вам доброго.

Ваш Семин.

19.2.74.

¹ Каштанов А. Л. (р 1938) — прозаик.

А. А. ЛЕВИЦКОМУ ¹

...С другой стороны, и перспектив никто у нас не отнимает. И вот тебе доказательство Муля ² вышла замуж. Ее познакомили с семидесятилетним вдовцом. И тридцать лет сомневавшаяся Муля вдруг переехала к деду. После первой брачной ночи она вернулась домой, села на порожек и сказала своей племяннице Инке, с которой всю жизнь ссорилась и ругалась, дралась даже: «Ну вот, Инка, на шестьдесят пятом году жизни меня... и по-офицерски!»

Инка заплакала, обняла ее и поздравила.

А старичок не офицер, а столяр-краснодеревщик. Так что у каждого из нас на шестьдесят пятом году жизни может оказаться свой старичок-краснодеревщик. Важно только дожить.

Правда, и тут есть свои «но». Старичок, конечно, хорош, приходит к Муле утром и вечером, говорит ей: «Нина, я не курил, не пил, не развратничал».

Но Муля не в состоянии оценить старика. А старик великолепный. Мы недавно нанесли визит. Старик — книголюб, фотограф, множество старинных изданий, альбомы с портретами русских писателей XIX века: Полевой, Помяловский, Булгарин, Греч, Вяземский... Альбомы с фотографиями старого Ростова, с портретами героев 1812 года. Наполеон и его маршалы. Во дворе вольер с согней попугаев. Неординарный старик. Муле же все это попросту нечем охватить и почувствовать. «Копается,— говорит она,— как жук в дерьме». Я даже был потрясен, когда увидел, как потускнела здесь героическая и бездуховная Муля. Нашла свое счастье, а не услышать, не понять. За шестьдесят пять лет не выработала в себе соответствующих органов слуха и зрения. И, разумеется, уже наметился жуткий конфликт. Духовный старик — и бездуховная, моторная, энергичная женщина. Так-то, друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат.

Старик таки произвел на меня сильное впечатление. Он вымирает. Жену похоронил. Было два друга — тоже умерли. Списался с друзьями за кордоном. То есть стал разыскивать после войны тех, кто мог сохраниться из друзей детства, с кем когда-то учился в Цимле, в Новочеркасске. Списался. Один друг живет в Канне (я не уверен, что это тот же город, где происходят фестивали). В доме престарелых. Бывший офицер, потом таксист от завода «Рено». Сорок лет в такси. Сорок лет в гостиницах. Теперь в доме призрения. Есть и благополучные (вернее один благополучный), с семьями (таксист — холостяк). Пишут нашему старику: «Ты счастлива, ты живешь со своим народом. А здесь все чужое и все чужие». Это после сорока лет! Один хоронил жену. На похороны с предприятий отпустили на час двух профсоюзных функционеров. Наш старик не остался в долгу. Пошел на местное кладбище и сфотографировал номерной знак на могиле друга. Знак есть, а могилы нет — семья не следит, хотя все живы, здоровы. Фотографию отослал...

Вот видишь, куда можно пойти, если слишком продолжить разговор о перспективах. Поэтому давайте — та-та-та — веселиться, давайте жизнью играть!

Нет, Лев Абеlevич, по этому письму нельзя составить себе сколько-нибудь верного представления о состоянии моего духа. Я поднимаюсь в шесть, бегу в гору 40 минут, потом душ, работа, вечером бег или настольный теннис. Стихи Д. Самойлова: «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь... Приобретают остроту — как набирают высоту. Дичают, матереют. И где-то возле сорока вдруг прорывается строка». И т. д. Очень хороший собеседник для меня. Прекрасный поэт. Ни в чьих стихах я еще так не нуждался...

Твой Виталий.

19.9.74.

¹ Левицкий Л. А. (р. 1929) — критик и литературовед.

² Муля — Н. С. Кононыхина, мать жены В. Н. Семина, прототип главной героини повести «Семеро в одном доме».

Л. И. ЛАВЛИНСКОМУ¹

Дорогой Лера! <...> Разговор о старости и ее болезнях отдает такой безнадежностью, что, должно быть, я напрасно каждое письмо начинаю отчетом о состоянии твоей бабушки и мамы. Есть в этой задаче неразрешимость. Поэтому и бегаю марафонскую дистанцию и закрываю глаза на то, что говорят древние о преклонном возрасте. Если бы меня спросили, с кого бы я хотел на этом этапе сделать свою жизнь, не колеблясь бы ответил: с сэра Френсиса Чичестера. Помнишь, конечно, этого человека, который один на яхте обогнул земшар. Было ему тогда за семьдесят или под семьдесят. Я видел красочную обложку журнала с его фотографией. На фоне паруса, веревочных блоков человек обливает себя из ведра морской водой. Мышцы живота, грудь, руки — весь торс у человека так могуч, что не сразу замечаешь старое лицо. Фотография висела у Л. Усенко² в журнале «Дон», и я соблазнился ее украсть. Потом она исчезла. Исчез Усенко. Исчезло многое другое. А вот желание иметь такую фотогра-

фию у меня не пропало. Да только где ее взять! Сэр Френсис, конечно, идеал. Он где-то там мерцает вдали. Как всякий идеал. К нему не подойдешь. Но сколько-то приблизиться можно. Тем более что у сэра Френсиса был идеал, к которому он не мог приблизиться. В Сиднее папу Чичестера встречал сын Чичестер. Журналисты все это успели отщелкать, и папа Чичестер был этим чрезвычайно недоволен. Он считал, что рядом с гигантом сыном он на этих фотографиях очень проигрывает.

Посетив твою маму, я в тот же день посетил свою мачеху, о которой ты имеешь некоторое представление по рассказу, опубликованному в «Дружбе»³. Так что передо мной в тот день, увы, прошел парад старости и болезней. Мачеха лежала с пневмонией. Второй раз в этом году! Ее сестра (тоже героиня того же рассказа) умерла в Клайпеде, куда ее перед тем увез сын. Пришел я домой и...

Естественно, все это тянет на какие-то философские обобщения. Например, на такие. Мы о чем-то думаем, к чему-то стремимся, а это постоянно ложится на все, о чем думаем, густой тенью. Не ново? Или на такие. Будущего у нас все меньше. Следовательно, все сильнее надо ценить настоящее. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Но инерция и обстоятельства таковы, что мы все торопим это настоящее: скорей бы жара прошла, скорей бы напечататься, скорей бы сын сдал вступительные экзамены <...>.

На закуску я тебе расскажу трагикомическую историю, которая несколько дней назад разыгралась в среде моих персонажей. Я еще не знаю, что делать с этой историей, но ты сам поймешь, что два раза в жизни такие истории не случаются. Назвать ее можно так: «Человек, который все устраивает». Или: «Истинная жизнестойкость», «Жизненная цепкость». Что-то в этом роде. Героя зовут Станислав. Он фотограф. Плохой. То есть не художник. Но очень хороший заробитник. Своему приятелю, директору крупной городской конторы, он, например, предлагает: «Бросай ты свою жалкую работу. Вдвоем мы с тобой заработаем в несколько раз больше, чем ты сейчас получаешь». Станислав ищет человека с золотыми руками, поскольку у него самого они отнюдь не золотые. У него талант гешефтмахера. Он идет в школу, бесплатно фотографирует учителей, бесплатно оформляет им стенгазету. Они же разрешают ему фотографировать учеников. А какая мама откажется заплатить 2—3 рубля за групповые портреты, на которых просматривается дорогое лицо? Так вот этот Станислав, фотограф-заробитник, непренемный тамада на свадьбах (тосты в стихах), постоянно разводящийся и сходящийся со своими первой и второй женами, устраивающий им квартиры, ремонтирующий квартиры тещам и т. д., устраивающий свадьбы своим дочкам и дочкам своих жен (это не всегда одно и то же), на этот раз решил помириться со второй женой. В своей квартире на первом этаже он накрыл стол и стал прислушиваться к тому, что делается на втором этаже, в квартире второй жены. Вторая жена запаздывала. И тогда Станислав стал тревожить тещу. Он поднялся на второй этаж, стучал в дверь, ломился — взревновал. Теща вытолкала его. Тогда он полез на балкон. Теща — в обморок. В это время явилась жена. Она пришла обычным путем, через парадное, через входную дверь. Увидела Станислава, который хлопотал над поверженной тещей, вызвала «скорую помощь» и стала выталкивать Станислава. На помощь ей пришла шестнадцатилетняя дочь, схватившая огромный кухонный нож. Надо сказать, что сам-то фотограф не только не хулиган, но вообще, должно быть, человек, ни разу в жизни не прибегнувший к кулакам. Тут есть некий национальный колорит, который ты, должно быть, уже почувствовал. В нож он просто не поверил — и напрасно. Дочь жены ткнула его, и так ловко, что когда появилась «скорая помощь», спастись надо было именно Станислава. Его отвезли в реанимацию. Сшивали легкое, сердце. Следователи брали у него показания. Первая жена сидела у него дни и ночи. Вторая робко стояла у порога больницы. А дочь — гуляла. Как только Станислав немного оклемался, он вызвал одного своего знакомого и сказал: «Поезжай возьми у меня на квартире мешок с 250 огурцами и перевези первой жене. Пусть посолит». Видишь ли, решив мириться с первой женой, он сразу же начал с хозяйственных забот. Но, как ты сам понимаешь, человек, который на смертном одре помнит об огурцах, — бессмертен. Станислав, перефотографировав всю больницу, всех заинтересовав, очаровав, проев всем печенки и селезенки, прогнал первую жену. «Я ей не доверяю». Забрал заявление у следователя, помирился со второй женой. Опять все устроил. Вот, друг мой, какая простота и какое жизнелюбие. И подумать, как все удачно складывается! Его бьют ножом в сердце, а тут распаивается дверь и появляется «скорая помощь»! Фантастическое везение! Он не поверил в нож, не поверил в собственную смерть, выжил, женился на той же женщине

еще раз, еще раз переделает квартиру и все устроит. И на новой свадьбе прочтет жизнеутверждающие стихи.

Вот, пожалуй, и все. Привет Наде, желаю вам всех благ и хорошего отдыха. Сами мы никуда не поехали. Так что вся жара от звонка до звонка наша.

Крепко жму руку.

Виталий.

28.7.75.

¹ Лавлинский Л. И. (р. 1930) — поэт, критик. В настоящее время главный редактор журнала «Литературное обозрение».

² У с е н к о Л — ростовский журналист, литературный критик.

³ Рассказ «В гостях у теток» («Дружба народов», 1972, № 6).

Л. И. ЛАВАЙНСКОМУ

Дорогой Леонард! <...> Есть предметы, к которым я предпочитаю относиться аксиоматически. Все народы равны. Это аксиома. И в хорошем и в дурном. Попытка отвернуться от этой аксиомы... ведет к неисчислимым бедствиям. Я сам, как ты знаешь, был жертвой пересмотра этой аксиомы. О чем и написал в известном тебе произведении. Я сам слышал каждый день: «русская свинья», «польская свинья», читал надпись: «Нур фюр дейч». «Братья славяне!» — для меня клич защитный. Славянофильство я не ставлю выше германофильства. Вообще чем больше я живу на свете, тем больше становлюсь марксистом. И в национальном вопросе я придерживаюсь ортодоксальной позиции. Для меня это даже не философия, а бытовое сознание. Так я воспитан. Так мне подсказывает жизненная практика, которая в этом отношении у меня богаче, чем у некоторых чистых теоретиков. Я полагаю, что преимущества по рождению — приманка для слабых. Развитый человек сам за себя постоит. Есть солидарность малой нации. Часто гипертрофированная, даже агрессивная. Великой нации все равно не развить в себе этих внутренних, действующих на сжатие, на концентрацию мелочных сил.

Сейчас мы не защищаемся. Поэтому фильм «Рублев» не вызвал у меня желания защищаться. Не вызвал защитной реакции. Мне кажется, что рассматриваются в нем совсем другие вопросы. Вопросы складывания государственности, например. А это уже совсем другое дело.

Может быть, я провинциально отстал, и в столице бушуют другие страсти. Может быть, они опалили бы и меня. Но, право, как только я оглянусь окрест себя на своих славян... Чего только о них можно сказать! Ту самую правду, которая хуже всякой лжи. <...>

Твой Виталий

25.12.75.

Л. И. ЛАВАЙНСКОМУ

Дорогой Леонард! У вопроса о Макьявелли есть и медицинский аспект. Не удивляйся, что я так начинаю свое письмо. Некоторые разговоры «западают», проходят внутренний цикл, а затем возвращаются из подсознания в сознание. Тут дело в одном душевном противоречии. Я говорю о противоречии между многоликостью и цельностью. Цельность — природная потребность. С этим ничего нельзя поделать. Нарушается цельность — разрушается душевный комфорт. Начинаются страдания. И т. д. Душевным комфортом жертвуют, добиваясь каких-то целей. Цели могут быть почтенными, героическими. Какими хочешь. Даже Штирлиц страдает из-за вынужденной многоликости. Не страх перед гибелью его главное страдание. Все это практика. Практика многолетия, устойчивая, нашедшая своих теоретиков. И каждая революция обещает разрушить эту практику и дать наконец гражданам душевный комфорт, душевное равновесие. Писатели же, как известно, охотники за лицемерами. К чему мы пришли? Многоликость — инструмент, которым мы вынужденно пользуемся, и только полный дурак прошибает лбом стену. Стене-то что за дело до дурака! Вот тут многие из нас совершают крупную методологическую ошибку. Казалось бы, как прост и короток путь от посылки до вывода, если... следовательно. Но как раз на этом коротеньком, освещенном логикой пути и совершаются самые капитальные ошибки. Последствия их бывают катастрофическими. И в историческом масштабе. И в масштабе одной жизни Правда, и тут, как всегда, требуется поправка. Что русскому здорово, то немцу —

смерть. И наоборот. Но ум, логическая последовательность, которая иногда бывает тем приятнее (рельефнее выделяется мужество ума), чем больше она противоречит нашему непосредственному чувству, частенько заводят нас как раз туда, куда мы совсем и не стремились. И даже, может быть, вообще отказались бы идти этим путем.

Странное я испытываю ощущение, встречаясь с А. и Б. Будто не трое нас в комнате. А по крайней мере пятнадцать. Стараюсь сосредоточиться на одном давно мне известном лице, а вижу сразу несколько. А ведь было время, когда это зыбкое чувство не возникало. И нет виноватых. И, может быть, вообще нет вины. Но есть в комнате еще кто-то, кроме нас троих. И все это чувствуют. И потому множатся значения простых слов. Говорят: «да» — слышится: «нет». Может, конечно, и нет у слова «да» такого странного эха. Но уже дробится каждая словесная молекула. Уже нет слова, которое не отбрасывало бы какую-то странную тень. И не изгнать чертовщины из комнаты. А ведь мы испытываем друг к другу симпатию. Но симпатия ко мне нематериальна и часто на практике повернута так, будто она активная антипатия. А антипатия к Н. повернута так, будто это активнейшая симпатия. А ведь когда-то сети плелись сознательно. Было стремление овладеть какими-то механизмами. Но оказалось, что утрачена власть над непосредственным чувством, над цельностью, выпущен из-под контроля механизм размножения собственных лиц. Нельзя сказать, что цели, которые в самом грубом виде формулируются как материальное благополучие, не достигнуты. Но достигнуты они именно в самом грубом виде. Компенсация за потерю цельности, за борьбу с собственными симпатиями слишком слаба.

Тут есть одно визуальное впечатление. И А. и Б. — люди крупные, рослые. И все <...> рослые, значительные. И возраст уже не детский, а ни одного решения принять не могут, даже занимая посты, на которых решения принимаются. И проигрывают людям невзрачным, мелкорослым, неодаренным, глуповатым вроде бы. Может быть, А. и кажется, что он плетет интригу, чего-то добивается, а на самом деле уступает позицию за позицией, увеличивает число своих личин и сам уже, наверно, не очень разбивается, где он настоящий, а где лишь ведущий игру...

Все это я, Леонард, написал в том письме, которое обещал тебе отправить и не отправил. Писалось и под влиянием минуты, и как следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. <...> День уплотнен до предела, машинка, к сожалению, простаивает. Но все же иногда мне удается ударить по клавишам. Строки ползут медленно, поторопить их не удается. Поторопишь — завтра все равно переписывать. Вот тоже противоречие, которое никак не разрешить. Хочется быстро и много — не получается. Сколько раз я пытался увеличить темп — он все равно остается одним и тем же. И темп этот никак не устраивает меня. Ведь пишут же люди, думаю я, по роману в год. Каждому, конечно, свое. Но трудно, трудно с этим согласиться. Тем более что есть замыслы, есть черновики, но и это не слишком-то убыстряет работу. Гарри мне сказал после того, как мы с ним прожили неделю в Коктебеле: «Старик, я сделал г л а в к и три. Правда, небольших». «А я,— сказал я ему,— едва три страницы». <...>

Виталий.

10.8.76

Л. И. ЛАВЛИНСКОМУ

Дорогой Леонард! О себе я знаю гораздо больше плохого, чем о других. Других я могу только наблюдать. О себе я знаю все. Именно поэтому мое письмо об А. и Б. не вердикт и не камень, который со свободной душой бросает человек без греха. Не в компромиссах дело. Человек, не вступающий в компромиссы,— монстр. Есть только один способ избегнуть компромисса — принудить к нему другого. И в семье и в обществе человек со склонностью принуждать других к компромиссам — тиран. Сам понимаешь, что такие люди не могут вызывать у меня симпатии. Многоликость же нечто другое. Если мы будем пренебрегать оттенками, мы многое упустим. Многолик актер. Лицедейство в жизни — не свободно избранная профессия. На компромисс идут, чтобы сохранить себя и сохранить другого. Человек, идущий на компромисс, понимает, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Если мы отделим от компромисса трусливую уступчивость, малодушное желание угождать, то с компромиссом все станет более или менее ясно. Это совершенно необходимый посредник в отношениях между людьми. Это вовсе не значит, что инструмент прост, что овладение им проходит без срывов и что каждый раз необходимый компромисс можно

отличить от вынужденного. Срывы тут могут быть и в трусливое малодушие и в посягательство на силу, на тиранию. Короче говоря, тут нужны и мудрость и характер. И понимание, что сам ты, кто бы ты ни был, не без греха. Если помнишь, Толстой говорил, что нет таких преступлений, которых бы он не совершал. По крайней мере в сердце своем. К Толстому можно прибавить Достоевского, к ним Гёте. И т. д. Великие люди очень часто на этом настаивали. И не бесчеловечности же, а именно человечности ради.

Компромисс труден. Он требует самовоспитания и связан с мудростью. С пониманием того, что те, кто окружает тебя, не только имеют право существовать, но и отличаться от тебя. Терпимость — продукт высокой цивилизации. Лицедейство же — попытка обойтись и без самовоспитания и без мудрости. Оно проще компромисса по целям, примитивней по побудительным мотивам. Компромисс признает, что мир сложен, что самоограничение — единственный способ сохранить его приемлемым для всех. Лицедейству же до мира вообще нет дела. Компромисс настаивает на мягкости, на терпимости. Лицедейство же часто требует бескомпромиссности, твердости, выступает под маской негибкости. И то и другое — способ адаптации. Признание, что мир скроен и шит не по нашей мерке и что — хочешь не хочешь — с этим приходится считаться.

Все это общеизвестно, и я начал с этого, чтобы яснее обозначить тему.

Разумеется, компромисс и лицедейство связаны многими промежуточными ступенями. Из-за этого их часто путают. Хвалят за бескомпромиссность. Хотя за что же тут хвалят? Рассчитывают прожить без компромиссов. И т. д. Идущий на компромисс испытывает страдания, вполне естественные, впрочем. Ибо человек с чем-то расстается.

Лицедей же в какой-то момент замечает, что есть способ избавиться от страданий и потерь. Достаточно лишь зажить другим человеком. Вписаться в другие координаты. Отталкивается же он чаще всего от компромисса: «Все равно без уступок не прожить». Вот это «все равно» очень часто играет самую губительную роль.

Разумеется, все это подхлестывается различными соблазнами. Практические дела начинают удаваться. Мир теряет свою пугающую сложность. Возникает ощущение превосходства над другими, которые, конечно же, из глупости только не могут усвоить известных правил игры. Появляется соблазн посвященности. Помнишь авгуров, которые при взгляде друг на друга не могли, по словам историка, удержаться от смеха и подмигивания?

Тирания и лицедейство — это лишь два способа обойтись без компромиссов. Как ты знаешь, даже тирании это никогда не удавалось. А что уж говорить о лицедействе! Лицедейство держится за посвященность, за тиранию.

Бывают лицедеи прирожденные (не о них, понятно, речь). Бывает лицедейство благоприобретенное. Природное естественно, как дыхание. Благоприобретенное только иногда кажется победой над косной средой, над недалёковидным окружением. В какой-то момент человек пожалует о себе таком, каким он задуман при рождении. <...>

Письмо это не похоже на человеческое письмо. Трактаг какой-то! О цельности А. Г. напишу в следующий раз. Вон как затянул!

Обменные дела отсутствуют. Никто не хочет переезжать из Москвы в Ростов. Обнимаю тебя, желаю здоровья всей твоей семье.

Виталий.

9.9.76.

А. И. ЛАВЛИНСКОМУ

Лера! Получил два твоих письма. Сегодня предпоследний день в Коктебеле. <!...> А о чем же написать тебе в этот предпоследний коктебельский день? О вкусе воздуха и винограда? О местных названиях? Тут есть горы: Святая, Дырковатая, Татар-хабурга, Сюрю-кая, Эчки-даг и Библейская долина. В Библейской долине мы нашли захоронения X века. Каменные гробы. Гробы из каменных плит, стоящие тесно друг с другом. Вода смыла землю. Потом прошел бульдозер — и захоронения в Библейской долине обнажились. Вышли на поверхность берцовые кости, остатки черепов. Вика взяла в руки челюсть и поразилась — эмаль на зубах цела. Мы шли из Старого Крыма по лесной дороге 10 км. Вышли в Библейскую долину — и увидели эти захоронения, рядом с которыми в землю вкопаны огромные пифосы — керамические кувшины для хранения вина, масла, зерна. Ночью — обвалный шум волны. Утром — низкие над морем облака, красное солнце, южный ветер из Турции. Поразительно!

Вчера ходили чимбалосить. Промышленный сбор винограда уже прошел. Сторожа сняты, виноградники открыты. Приходи, собирай что осталось. Занятие потрясающее. Никогда бы не поверил. Виноград привял и обызюмился. В каждой ягоде произошла концентрация вкуса и запаха.

«Да что ж это такое! — воскликнула моя жена. — Виноград, горы, Библейская долина, а в сторону посмотришь — еще и море!»

Переспелый боярышник в лесу ем прямо с ветки. Собачонок Оська, которого мы взяли с собой, шуршит в лесу дубовой листвой, собирает колючки и клещей. От него пахнет осенним листом и полынью. Потом он обморочно спит на наших кроватях.

И ни одного человека по 18-километровой дороге из Старого Крыма в Коктебель! Тишина, обзор, поразительные краски.

Тут у меня объявился поклонник — инженер из Донецка. Сказал, что ему нравятся мои книги. Оказывается, он прошел несколько немецких лагерей. В 1941-м попал в плен. Бежал, попал в штрафной лагерь. В конце войны угодил в «Нойен гамм» — двадцатитысячный лагерь под Гамбургом. Лагерь существовал с 1934—1935 гг. Вначале там были только немцы — политические и уголовники. Потом, понятно, нагнали французов, бельгийцев, голландцев, русских. Немцы-коммунисты носили красный треугольник основанием вверх. Дезертиры — вверх острием. Дезертиры жили недолго. Через несколько дней после того, как они поступали в лагерь, их расстреливали. Когда расстреливали немцев — высшую расу, — всех запирали в бараках. Когда казнили бельгийцев, русских и т. д. — наоборот, выгоняли всех на плац. На плацу была постоянная виселица. Веревка от нее была пропущена через блок. Веревку надо было тянуть. Кого-то из заключенных вызывали в самый последний момент из строя: «Держи!» И держал. Ежедневная проблема Сотников — Рыбак на практике. Блоковыми, капо, были, естественно, немцы. И коммунисты и уголовники. Немцы-бандиты носили зеленый треугольник. И были зверюгами. Но опасными были и немцы-коммунисты. Лагерь всех изменил. Крематорий дымил постоянно.

За несколько дней до конца войны их вдруг подняли и погнали в гамбургский порт. Там погрузили на два корабля — «Капарконе» и второй, название которого я забыл. Вот на этом втором оказался и мой Никифоров Евгений Леонидович. Они держались вдвоем с приятелем, которого тоже звали Женькой. Тот был крепче телом, перед войной занимался акробатикой. О себе Евгений Леонидович сказал: «У меня замедленная реакция. Часто это плохо, но иногда — хорошо». Когда их загоняли в трюмы — а трюмы многоэтажные, — Евгений Леонидович сказал Женьке: «Вниз не пойдем». Они отбивались и остались на верхнем этаже, под верхней палубой.

Несколько дней их не кормили. Они отдирали доски обшивки и там, между досками, нашли остатки сахара-сырца и сахарной пыли, который когда-то перевозил транспорт.

3 мая к транспортам подошли буксиры и потянули их от причалов в море. Движение шло медленно. Никто не знал, куда везут. Говорили, что в Норвегию или на какие-то острова. Но большинство понимало, куда все клонится. Евгений Леонидович сказал Женьке: «Когда все начнется, ни в коем случае не беги к выходу». Трап был крутой, люк узкий, там не пробиться. Они искали грузовые люки и расположились так, чтобы они были у них над головой. Часа через два после того, как отчалили, услышались взрывы. Кто-то сумел выглянуть на палубу и закричал: «„Капарконе“ горит!» Потом и над их кораблем заревели самолетные моторы. Несколько бомб упало с бортов. Потом вспышка, удар, темнота и вопли людей, кинувшихся к трапу. Началось смертоубийство, которое Евгений Леонидович предсказывал. Он увидел, как у Женьки отвисла челюсть. Он его растормошил, забрался ему на плечи и попытался выломать грузовой люк. Но сил у него не было, и они поменялись местами. Женька сумел сорвать доску и вылезть наружу. Потом он вытащил Евгения Леонидовича. Когда тот вылезал, он видел, как самолеты шли на бресте и секали из пулеметов по открытому люку. Женька бросил в море доску, прыгнул и позвал Евгения Леонидовича. Тот прыгнул за ним. Учти, это 3 мая, в ледяном море. Температура воды близка к 4 градусам.

Доска держала двоих, но рядом никого не было. «Капарконе» горел, на нем вопили, а самолеты продолжали его расстреливать. Ходили они над морем низко, и Никифоров ясно видел на их крыльях английские опознавательные знаки.

Через несколько минут корабль Евгения Леонидовича опрокинулся и сразу ушел под воду. Доску, за которую они держались, повело по кругу — начался водоворот.

Вместе с кораблем ухнуло 2900 человек. Цифра эта точна, насколько вообще могут быть точны такие цифры. Ее установили уже после войны. На «Капарконе» было 5000 человек. Их продолжали расстреливать, пока «Капарконе» тоже не погрузился.

Евгений Леонидович и Женька держались на воде неопределенное время, когда увидели, что к ним подходит катер. Сам понимаешь, что они почувствовали. То ли топить, то ли спасать. Им протянули багор. Бывший акробат схватился, его вытащили. У Евгения Леонидовича руки разжались. Он упал с высоты в воду. Ему еще раз протянули тот же багор и все-таки вытащили. Катер был цивильный, портовый. Евгения Леонидовича и Женьку засунули в какое-то помещение. Ни чая, ни одежды, вообще ни слова. Они стояли, прижавшись друг к другу, и трясись.

Катер довольно долго ходил по морю, и это было счастье. На берегу немцы оставили заслон Автоматчики расстреливали всех, кому удавалось добраться до берега. Затем катер все-таки причалил. Им крикнули: «Р-раус!» Они побежали на берег и забили в какую-то будку.

Все остальное тоже интересно. Но главное я рассказал. Удивительная история. Я ее записал для себя. Думаю, что и тебе она будет интересна.

Будь здоров, привет Наде, обнимаю.

Виталий.

13.11.77.

И. А. ДЕДКОВУ¹

Дорогой Игорь Александрович!

Возможно, о «Нагрудном знаке...» еще напишут, но лучшая рецензия уже опубликована — Ваша. Я это несколько раз говорил. Повторяю и Вам. О том, что Вам удалось, я могу судить не только как автор романа, но и как человек, много лет занимающийся внутренним рецензированием. Автору романа Вы оказали неоценимую услугу пониманием. И, странно сказать, мне уже трудно представить себе свою книжку без Вашей рецензии. Выявленный смысл романа сократится. Уменьшится его значение. Самое дорогое — не в зеркале я увидел свой роман. Ощутил, как он заинтересовал значительного человека. Читателю рецензии естественно рассуждать от обратного. То, что породило такую интересную статью, само по себе не может быть слишком плохим. Я мог бы загордиться. Но прекрасно знаю, как щедро иногда умный рецензент награждает собственной значительностью не очень-то интересного автора. Трудно удержаться!

Вы одинаково хорошо владеете умением доказывать и с легкостью начерчиваете (так, кажется, когда-то выразился Лунин) слово, убеждающее без доказательств...

Виталий Семин.

6.2.77.

¹ Дедков И. А. (р 1934) — критик, литературовед.

Л. А. ЛЕВИЦКОМУ

Дорогой Левка! Вот прекрасный случай сказать «помни!». И если нужны компромиссы, не позволяй своему самолюбию делать глупости.

Когда, однако, на обеих ногах двадцать лет носишь компромиссы, начинаешь понимать, что эта обувь невыносимо жмет. И когда утром нагибаешься, чтобы натянуть и зашнуровать свой компромисс, предстоящий день начинает тебе казаться пустыней или раскаленной плитой. Не о компромиссах речь. А о том, можешь ли ты носить обувь, которая на пять номеров меньше, чем тебе нужно <...> Здесь меня... томит одиночество. Но здесь я работаю. Эпицентр далеко. А как сказал один известный человек, можно жертвовать всем, кроме стержневого. Работа меня только и вывозит...

Виталий.

Дубулы, 26.5.77.

Л. Г. ГРИГОРЬЯНУ

В прошлом письме я тебе написал, что видел сон к чьей-то смерти. Стал перебирать, к чьей же. <...> Забыл я, однако, что сон я мог видеть о себе. Ночью меня

прижало. <...> Так, должно быть, чувствует себя самолет, попавший во флаттер. Все дребезжит, все разваливается — вот-вот рухнешь. И я не испугался. Машинка и бумаги на столе. Как-то не верится, что — там! — не дадут мне доработать. Но все-таки переживания были итоговыми, и я подумал, что что-то плохо мы с тобой строили, если я здесь один и ты там один. В такие минуты жизнь видишь как единое целое, как сюжет. Но видит бог, я все равно не знал, в чем виноват. Может, человек платит за непокорность. За непокорность власти, обстоятельствам, жене. Может, вознаграждается в самом этом последнем итоге полная покорность? Но потом, поискав среди своих друзей покорных и не найдя никого, кроме А., я не захотел видеть себя на его месте.

Целую ночь я шлялся по своему номеру, к утру утихомирился, сегодня сделал свои полстраницы, завершил тянувшийся на 20 страницах эпизод...

Виталий.

<Дубулаты, конец мая — начало июня 1977 г.>

А. И. ЛАВЛИНСКОМУ

Дорогой Лера! <...> В феврале я дважды звонил тебе. Проездом в ФРГ и на обратном пути. Разговаривал с Игорем и его женой. Что такое ФРГ, ты знаешь. Я выступал в мюнхенском Доме искусств. Пришло более двухсот человек, треть из них — эмигранты. Но это тебе тоже известно. Однако, как ты понимаешь, в ФРГ у меня свой сюжет. «Зюддойче цайтунг» назвала статью обо мне «Второе пребывание». Издательство «Бертельсманн» устроило мне поездку по тем местам, где я с 1942 по 1945 год набирал материал для романа Сбылась. таким образом бредовая мечта побывать в тех же местах, но уже в новом качестве. Представляешь? Переводчик моего романа сказал, что нашел в телефонном справочнике Вупперталя упомянутые мною в романе фирмы. Я все назвал правильно и даже в транскрипциях обошелся без ошибок. Из Мюнхена поездом меня с В. И. Стеженским, которого ты, возможно, знаешь, переправили в Доргмунд, оттуда машиной в городки Фельберт и Лангенберг. Они не были разрушены войной и сохраняются как памятники старонемецкой архитектуры. Так что через несколько минут я мог ориентироваться сам. Встречали меня представители магистрата. Глядя на меня, отцы города расчувствовались и сами как бы подключились к сюжету. Правда никакой справки о Франце Метцгере — хозяине самой страшной для меня фабрики «Бергшес Мергшес Айзенверк» — они мне дать не могли. Фабрика сносится, поскольку она не архитектурная ценность. Меня подвели к руинам, и я смог прочесть на фасаде и ее название и имя хозяина. О нем я сказал немцам: «Это была настоящая большая свинья». Немцы ответили дипломатично: «Да, это были тяжелые времена!»

Сатисфакция, сам понимаешь, не слишком большая. Но и это было сказать приятно.

В Лангенберге я сошел с машины и двинулся пешком. Сопровождающие поспешили, все более подключаясь к сюжету. Их поражало, что я все узнаю и называю правильно. Кульминация была у фабрики «Фолькенборн», тоже подробно описанной в романе. Она не увеличилась и не уменьшилась! В том же дворе стояла та же самая продукция — дисковые пилы. Они были новой конструкции, но пилы есть пилы.

Чуть модернизировалось само здание, прибавилось стекла, асфальт обновился, но, в общем, все осталось тем же.

«Я хочу туда!» — сказал я немцам «Частное предприятие!» — сказали они, но побежали к хозяину за разрешением. Я ждал во дворе, а хозяин шел ко мне, протягивая руку. Еще на подороге он понял, что руки я не возьму, но не решился убрать ее. И так с полупротянутой рукой подошел. Это был сын старого Фолькенборна. Тот был голстяк, капиталист, какими их когда-то рисовали Кукрыниксы, а этот — пятидесятипятiletний безитцер — молодежавый, спортивный.

«Меня здесь тогда не было. — сразу сказал он. — Я был солдат». «Могу я?» — позвал я на цех. Он кивнул, и я побежал.

Все было тем же! Выщербленные тачками старые деревянные полы, те же перегородки. На второй этаж — то же самое!

Прощаясь, я попросил В. Стеженского перевести Фолькенборну-младшему, что его отец был не худшим из тех капиталистов, которых я здесь знал, что в Мюнхене вы-

ходит книга, в которой я рассказал и о его фабрике. Должен тебе сказать, литература влияет на жизнь. Фолькенборн помрачнел.

Вот, дорогой Лера, какие события произошли в моей жизни. Право, чудеса! Долго я их ждал, да и не ждал вовсе. Все было уже в области нереального. И именно оттуда выплыло.

И на месте лагеря я побывал. Теперь там автостоянка. Но и мост, и лестница с него, и въезд — все, как было в лагере. Даже клозет стоит будто бы на том же месте и так же примерно выглядит.

Местный корреспондент тоже тиснул статейку, в которой сообщил, что я посетил Лангенберг и что готов посетить его еще раз и принять участие в дискуссии по «Нагрудному знаку...». Он местный и очень хорошо помнит, как при американцах мы грабили крестьян. Спросил меня об этом. Я сказал: «Было», но о своей доле умолчал. Мне он сказал, что мать его давала бутерброды русским. Я ответил: «Из этих бутербродов ни один ко мне не попал».

Должен тебе сказать, немцы сочувственно воспринимали такие мои ответы.

В общем, множество впечатлений. <!...>

Обнимаю. Наде привет.

Твой Виталий.

29.3.78.

Это одно из последних писем В. Семина. В том же году 10 мая в Коктебеле Виталий Николаевич Семин внезапно скончался от разрыва сердечных сосудов.

Последние семь лет жизни В. Семин рецензировал рукописи, самотеком приходящие в «Новый мир». Публикуем его отчет о работе, написанный в феврале 1974 года по просьбе редакции.

«Из самотека, который мне привелось читать, пришли в журнал В. Козько с повестью «Високосный год» и А. Каштанов с романом «Заводской район». Из этого же самотека — повесть А. Кривоносова «Гори, гори ясно», которая тоже как будто бы должна выйти в свет. С некоторым приближением можно получить такое отношение — 3 : 30. Из тридцати рукописей, прочитанных мною примерно за два с половиной — три года, выделились три рукописи, которые смело можно назвать значительными. Думаю, что уже это отношение говорит об уровне самотека, идущего в «Новый мир». В этом смысле мало что изменится, если знаменатель в приведенном мною соотношении увеличить на пятьдесят рукописей. Важно, однако, отметить, что вплотную к В. Козько, А. Каштанову, А. Кривоносову примыкают и другие авторы. Очень надеюсь, что полезными журналу окажутся Ю. Шищенко с его интереснейшими «Записками Гороховцева» и Ф. Поваго с романом «Гражданская жизнь». Где-то рядом находится М. Гиршин с повестью «Жених и невеста». И все они — чистый самотек. Из работ профессиональных писателей, которые мне пришлось читать, новомирского уровня достиг, на мой взгляд, только О. Черный с романом «Варя».

Однако и ниже безусловного для рецензента «рекомендую» находится множество интересных работ, много перспективных имен. Это В. Гридин с повестью «Я был моржом», А. Филиппович с романом «Житие», Г. Скобликов с повестью «Варвара Петровна». С некоторыми оговорками сюда можно отнести Б. Лапченко «На краю Асанова», К. Лаврентьева «Лесорубы», Е. Башенко «После войны», И. Иванцова «Вечно живой». И т. д. Вообще говоря, интересны все рукописи. Малограмотные, непрофессиональные, бесперспективные для печати, неудобные для чтения, плохо литературно выстроенные, рукописи самотека представляют, на мой взгляд, живейший интерес для социологии, филологии, социальной психологии и даже для литературоведения. Возможно даже, что именно эти идущие в знаменатель, возвращаемые авторам работы и представляют особый интерес для перечисленных мною отраслей знания, поскольку многие проблемы, которые в большой — скажем так — литературе являются нам в претворенном, преобразованном и отредактированном виде, здесь сохраняют всю первозданность. Большая литература выработала известные сюжетные схемы (скажем, тип производственного романа) — любящий следовать за тем, как авторы самотека усваивают эти схемы или отталкиваются от них. Вообще авторы самотека, как правило, полемизируют с большой литературой, с ее официальным оптимизмом и в то же время неволь-

но копируют ее приемы, конструкции, схемы, штампы. В этом смысле авторы самотека, грубо говоря, делятся на две категории. На тех, кто как можно скорее хотел бы профессионализироваться и напечататься, и на тех, кто берется за перо потому, что уж очень сильны его жизненные переживания, потому, что наболело. Авторы, у которых наболело, очень часто возвращают нас к проблемам, которые, казалось бы, давно были преодолены советской литературой. В этом смысле характерна повесть М. Кострова «Осторожно, листопад!». Произведение это трудно отнести к какому-нибудь определенному литературному жанру потому, что признаки жанра здесь как бы полностью отсутствуют. Это можно назвать исповедью, психологическим исследованием, можно назвать повестью, записками. Одно несомненно — здесь есть характер. И, прямо скажем, такой, что отвернуться от него хочется, чтобы его не видеть. Таких людей наша литература много лет тому назад вычеркнула из списка литературных персонажей. Считалось, что и в жизни и, следовательно, в литературе у нас с такими людьми покончено навсегда, как, например, с чумой или холерой. Любому отрицательному персонажу нашей литературы последних лет за глаза хватало бы сотой доли грехов и преступлений Павла Тимофеевича Максакова. А он об этих своих грехах и преступных, уголовно наказуемых деяниях рассказывает с а м. То есть не считает их чем-то таким, что как-то особенно пачкает его, что далеко выходит за нормы обычной, повседневной жизни Павел Тимофеевич воровал всю жизнь, и когда к старости захотел завязать, вынужден был расстаться со своей профессией колбасника, уйти с колбасного завода потому, что там воруют в с е. Автор сам называет причину живучести максаковых — бездуховность. Некий вакуум духовности, который заполняют водкой, гулянками и т. п. Закрывая такую рукопись, думаешь: что же рассказал нам автор? Как, право, хотелось бы написать ему, что все это не типично и т. д. Но почему-то рука не поднимается. Монстром бы назвать Павла Тимофеевича — так ведь тоже не получается. Собственный жизненный опыт, некоторые наблюдения над жизнью показывают, что не монстр Павел Тимофеевич, а самый настоящий живой человек. Можно, конечно, «не замечать» максаковых, вычеркивать их из литературы, но рано или поздно придет время «открывать» их потому, что из жизни — это уж точно — они что-то не торопятся уходить.

На уровне самотека разыгрываются настоящие трагедии. Я говорю не о графоманских притязаниях на литературную славу. Бывают авторы одаренные, необычайно работоспособные, преданные литературе, наделенные призванием, самосожженцы по нравственной своей природе и абсолютно бесперспективные из-за полной, всесторонней, если можно так сказать, малограмотности. Романы (не романы), повесть и рассказы И. Радченко, на мой взгляд, были бы бесценным материалом для социального психолога, их надо было бы прочесть (особенно роман «Мигрирующие гнезда») в Министерстве угольной промышленности. Странно, но малограмотность оберегает автора от множества подводных литературных камней. Он достоверен потому, что ничего не знает о недостоверности. Значение рукописи в непосредственности, с которой И. Радченко изображает народную среду. Свою среду. Это редчайший случай (мне другой неизвестен), когда о народе пишут вот так, изнутри, когда автор ни образованностью, ни профессией, ни бытом, ни взглядами на жизнь — короче, ничем не отделен от народной среды. Его выделяют лишь несомненные литературные способности. И еще совестливость и правдолюбие. О себе он пишет: «Я не стану скрывать, что в моих работах имеются многие недостатки, особенно в грамматическом правописании. Но я никогда ни от кого не имел хотя бы краткой консультации, как это надо выполнять. Да и работаю-то над рукописями урывками, так как я простой подземный рабочий, где уже проработал двадцать пять лет в качестве забойщика, и руки к пишущей машинке повинуются очень грубо, так как вибрация дает о себе знать». Однако у И. Радченко есть и свои литературные принципы и своя литературная позиция, которую он полемически заостряет. «Я не намерен,— пишет он в предисловии к роману «Мигрирующие гнезда»,— уклоняться и скрывать тех действий, с которыми мне пришлось встретиться за долгие годы пребывания в большой шахтерской семье. Я не намерен осуждать ту или другую сторону. Да и зачем осуждать, лучше рассказать так, как это есть в действительности. Если ты, дорогой мой читатель, в некоторых случаях не будешь согласен со мной, то я тебе... совету: отдавай шахтерской жизни...» «Главное,— говорит он в другом месте,— я не штамную вымышленных героев, от которых распространяется запах шаблонности, а описываю тех, на плечи которых ложится вся тяжесть того или другого периода времени... Я не сделал прикрас, живых прикрас, ко-

торые чувствуются у некоторых авторов, которые не знают тонкости действий». «В рассказе «Копеечна душа»... я открываю причины текучести на угольных предприятиях рабочих. Злоупотреблением и подхалимством подрывается производственная дисциплина. Жадность к не труженным деньгам выходит за пределы приличия перед рабочим коллективом...»

В романе «Мигрирующие гнезда», в повести «Копеечна душа» И. Радченко подробно исследует технологию присвоения «не труженных» денег. Мастер, нарядчик, начальник смены, закрывающий наряды, выписывают крупные суммы своим сообщникам, которые числятся на шахте, но не работают. Система поборов, атмосфера посягательств, обязательных калымов затрагивает всех шахтеров. Честные работники своим трудом вынуждены обеспечивать приживал. То, что выплачивается угольной «мафии», на-гора выдается честными шахтерами. Карманы честных и нечестных — увы! — сообщающиеся сосуды. То, что попадает в карманы воров, вытекает из карманов работяг. Получается сверхэксплуатация честности, добросовестности, которая зашла так далеко, что может вызвать справедливый народный гнев. Протестующие, по свидетельству И. Радченко, подавляются экономически, преследуются, изгоняются. Что касается особо непокорных, то они даже рискуют жизнью. Вымогатели охотно покупают услуги местных уголовников.

И здесь тоже вакуум духовности.

И. Радченко целиком принадлежит самотеку. Увы! Он никогда не сможет напечататься. Слишком запущенна и велика его малограмотность. Однако он несомненно — явление. Явление духа, энтузиазма, честности, творческого беспокойства. И очень жалко, что работам его нет никакого применения. Их должны были бы прочесть те, кто по должности своей обязан интересоваться состоянием народной психологии, те, кто может и обязан принимать какие-то важные решения».

Рукописи безвестного шахтера стали предметом глубоких размышлений Семина и о состоянии народной психологии, и о том, как эта психология ищет своего выражения — и социального и художественного. Она ищет свой язык и этим обнаруживает свою жажду перемен. «Структурно авторская речь ближе к устной, — пишет Семин о первом романе Радченко. — Смешно, конечно, говорить об устном народном творчестве, когда видишь перед собой пачку отпечатанных на машинке листов, однако мысль о том, что перед тобой один из новых образцов устного народного творчества, возникает невольно. «Потеряну совесть» (автор так и пишет — «Потеряна») хочется назвать народным романом».

Семин написал Радченко письмо, в котором объяснял наиболее типичные его ошибки. «Я получал знания в народной среде, испытывая постоянно за спиной тень голода и смерти, — отвечал Семину Иван Михайлович *. — ...Слышу то, что якобы человек, не получивший специального образования, то тот не в состоянии работать умственно. Но приходится встречать и таких одаренных природой, которые не получили специального образования, но они на много превыше ученых, но только им дорога перекрыта цынниками и читками, и они вынуждены для выживания отдавать свой труд в поисках куска хлеба. У нас, в России, если б не поручительство круговое да больше подбирали в учебные заведения талантливых людей, то высокоразвитые страны Запада остались б позади во всем. И тогда бы мы не заимствовали иностранных слов для выражения, а они б у нас заимствовали и ходили б вокруг нашей нации с протянутой рукой. Вот на это и должны обратить внимание работники литературы. Чтобы не писали с потолка о горохе и кукурузе, а раскрывали наши недостатки и вовремя останавливали круговых поручителей. Возможно, и не понравится вам мое высказывание, но это наш сегодняшний бич, который, будто горный поток, смывает на пути все, что есть лучшее в нашем обществе. Вот вы мне указали на неправильное мое выражение в романе «Мигрирующие гнезда» — это «скрипя душой». Вы говорите, что душа не издает скрипения. Да, я согласен. Душа не скрипит, это верно, но душа плачет. И если мы с чем-то не согласны и мы остаемся унижены до последней степени, то, скрипя душой, переживаем эти невзгоды, как можно еще выразиться, с зажатой болью в душе, сдерживаясь от смертельного броска, есть настоящее, народное, с душевным плачем.

* Печатаем с соблюдением орфографии оригинала.

...Я вам благодарен за несколько умных и справедливых слов, чего не найти в других...— заканчивает Радченко свое письмо.— Возможно, что тропа нас сведет по-другому, но в настоящее время о другом стиле разговора не может быть и речи. Это письмо не дружеская переписка, а опознавательная».

В переписке Семин отразилась реальность нашей литературной жизни. Вот еще одна история, принадлежащая этой реальности.

Через три месяца после отчета о самотеке Семин пишет в редакцию:

«Прочел я А. Полякова. Жуткое дело! Могучий талант. Умен, зол, добр и т. д. А на что он сам-то рассчитывает? При уме и таланте? Пишут и для редакции и для «самиздата» и этих вещей не путают. С другой стороны, «самиздат» не примет. «Самиздату» романы не нужны. Роман для «самиздата» — роскошь! Кто станет его переписывать и перепечатывать? «Самиздат» связан с фактом. Или с романами, построенными на фактической основе. А тут ведь и читать скучно. В рукописи скучно. А если напечатать — взрыв!»

...Читал с трудом. Испытывал постоянное внутреннее сопротивление. Книга судейская. Цель — искоренение всех пороков в мире. Запас ярости и раздражения такой, что рядом с источником такого раздражения тяжело и скучно. Ты привык, а он возмущается!»

Речь шла о романе А. Полякова «Праздник первого снега».

Семин написал Полякову большое письмо — тщательный анализ структуры романа и встающего за ней мировоззрения. Приводим это письмо в выдержках:

«Глубокоуважаемый Александр Вениаминович!

Сразу же скажу Вам то, что в той или иной форме Вам говорили до меня, что, впрочем, Вы прекрасно знаете сами,— Вы, несомненно, писатель. И это еще самое меньшее, что можно сказать о Ваших литературных способностях...

Со всей силой и искренностью подчеркнув, что Ваш роман — произведение весьма талантливое, непривычное для нашей литературы, которой, может быть, и не хватает как раз вот таких отчаянных, раздраженных и раздражающих, вызывающих на серьезный, масштабный спор сочинений, я скажу, что это произведение «не мое»... Странная вещь, Александр Вениаминович! Роман интересен не столько в чтении, сколько в воспоминаниях об этом чтении.. И ни мускулатура стиля, ни чутье на слово, ни изобразительный талант, ни Ваши способности пейзажиста, ни изощренная нравственная диалектика — вот сколько я Ваших литературных достоинств отметил! — не способны возбуждать еще и еще на протяжении 500—600 страниц читательский интерес, поскольку «простому» читателю не хватает ясно выраженного сюжета, читателя «изощренного» утомляет бесконечное количество оттенков в спектре одной и той же мысли Роман Ваш ведь держится не на сюжете, а на отвращении — на Вашем пафосе, на крике души, на страстном возмущении. Книгу таких размеров нельзя написать на пресловутом «одном дыхании». Тем не менее есть впечатление, что все держится на этом «одном дыхании» — на Вашем дыхании, Александр Вениаминович! Это ее стержень, ее достоверность. в этом ее право на существование, именно поэтому Вы могли бы нанизывать новеллы еще и еще Именно поэтому Вы имеете внутреннее право сказать «Да пойдите все! Это моя жизнь и не только моя, я вам в два счета докажу! Войдите на две минуты в мою исповедальню!»

...Идеалы справедливости, добра, правды, совести, вообще добродетелей — это ведь координаты грехмерного пространства социальности, нравственности, в которых мы живем.. Простите мне мою консервативность, писатели — строители в духе. А можно ли строить без чертежа, без тех же идеалов? Писатели — охотники за лицемерами. Здесь нет ничего нового. Свою охоту Вы ведете не за страх, а на совесть Вас можно понять Известен и жанр бытовой фантастики. Автор А. Поляков говорит: «Вы утверждаете что мир структурирован? Я вам покажу абсурдность этой структурированности В нашем мире есть прочные стены законности, порядка, добродетели? Я вам покажу иллюзорность этих стен С помощью ничтожных интересов ничтожные люди проходят эти стены насквозь Я вам покажу другой мир, другие координаты — они отвратительны, но истина здесь Здесь миазмы, но это тот самый воздух, которым мы дышим все. И вообще есть время, есть эпохи, когда не перо, но бич должен быть в руках писателя. Сказано ведь. «глаголом жечь...» Все это так. Ваша книга судейская. Великие цели порождают великую энергию. У меня такое впечатление, что Вы ополчились разом на все

пороки человечества... не подумав даже о том, что некоторые из них весьма приятны и в умеренных дозах, не причиняя никому вреда, способны скрасить жизнь. Если же оставить шутки, то отталкивает меня не парад пороков, не выставка ничтожеств, ту-пиц, негодяев, хамов, карьеристов, шлюх, проныр, стяжателей, лицемеров, воров «в законе» и духовных, нравственных грабителей, но нечто гораздо более тонкое и существенное в литературе: Ваш тон. Учинив суд над литературными персонажами, Вы сами выступаете не в качестве адвоката или судьи, а в качестве прокурора. Выталкивая своего короля нагишом на всеобщее обозрение, Вы не просто лишаете его всякой драпировки, не только гикаете и свистите, но еще и выворачиваете ему каждый сустав... И не бытие, как сказано у классиков, определяет сознание, а люди определяют свое подлое бытие, поскольку такова свинцовая природа человеческого несовершенства. С презрением Вы отворачиваетесь от спасительной мысли о силе обстоятельств. В лицемерии Вы обвиняете саму мать-природу, породившую человека, противопоставляя человеческим безобразиям спокойствие, очищающую и обновляющую силу природы недоушевленной.

Бог может позволить сказать о себе: «Мне отмщение, и аз воздам». А писатель нет. Все-таки писатель — ходатай, а не следователь, не прокурор. Все вижу, все понимаю — это не значит: я тебя насквозь вижу, какой ты мерзавец и негодяй. Бабель пишет на своей фотографии: «Вот человек, с которым я боролся всю жизнь». И это не просто острова, не просто словечко. С этого начинается писатель: «Вижу, как далек от совершенства, стремлюсь к нему, вижу бог, понимаю, как это трудно. Камня в того, кто не достиг моей отметки, не брошу». А у Шарманкина и у автора романа постоянно в руках как бы треблинковский ростомер: ниже — в печку, выше — в работу!..

У нравственности, как и у безнравственности, есть какой-то свой скелет, какой-то свой ограничитель: вот до этого я дохожу, а дальше — ни-ни-ни...»

Из письма Семина в редакцию спустя два года: «Пишу по поручению Александра Вениаминовича Полякова. Он появился ниоткуда, позвонил в мою дверь, с тех пор третий день живет у меня... Направляется он в Таганрог для того, чтобы найти себе в порту вахтенную работу и продолжать писать. Наш приятель его там пропишет. Может быть, мы его перетянем в Ростов. Однако в Таганрог он уезжает завтра. Прописки у него пока нет. Нет, следовательно, и обратного адреса. Поэтому пока я выполняю роль его обратного адреса». Позже Семин вспоминал (письмо писателю Николаю Воронову, уральскому земляку А. Полякову): «В Ростов он приехал без чемодана и даже без чемоданчика. Приехал легко, потому что ему было почти все равно, куда ехать. Ему сказали, что я, рецензировавший его рукописи, ростовчанин, он взял билет и отправился в путь. И работу он искал такую, которая не обременяла бы его особенно, не отвлекала бы от писания. Писал же он по 10 и 12 часов не отрываясь. А к рукописям своим был небрежен. Я не уверен, что они у него перепечатаны хотя бы в трех экземплярах».

Александр Вениаминович Поляков скончался, не успев узнать, что его новая повесть «Море в ноябре» поставлена в двенадцатый номер «Нового мира» за 1977 год. Ему едва исполнилось сорок лет.

Семин писал Воронову: «Мы с ним о многом спорили. Но лучше, конечно, если бы это были печатные споры. Если это будет нужно, я вам охотно покажу и рецензии и переписку».

Публикуем некоторые страницы из этой переписки, касающиеся повести А. Полякова «Море в ноябре».

В. СЕМИН — А. ПОЛЯКОВУ

Дорогой Саша! <4...> Две трети повести я читал в согласии с тобой. Мирали-ага получился живым, колоритным, вздорным, противоречивым. Правда, полная к нему авторская симпатия казалась мне чрезмерной, исключаящей трезвый, исследовательский подход. Если человек и не читал у Эпиктета: «Человек, который в своих несчастьях винит других, — глупец. Себя — человек, сделавший шаг в умственном развитии. Ни себя, ни других — мудрец», — то к возрасту Мирали он постепенно сам до этого додумывается. Мирали же капризен, придирчив, стихийен, загадочен. Рядом с ним — рядом с вулканом. Обидит любимого и нелюбимого. Бросит корабль — побежит за водой. А на самом деле за своим душевным движением.

...С того момента, как Мирали бросился за водкой для Ленки, я заподозрил, что он алкоголик. Не знаю, право, почему. Характер, что ли, очень капризный. Истеричный. Импульсивный. Реакции не адекватные. Душевные извержения следуют за незначительными предложениями. Склонность темнить и обвинять человечество в своих несчастьях... Склонность прощать себе то, что другим не прощает и в ничтожной степени. И все на сплошном крике. А чего кричать!

...Пьют потому, что пьют, а не потому, что для этого есть причины. Когда пьют, причины ищут. И они всегда находятся. Алкоголики — мифоманы. Все время Мирали говорит о себе, что он хороший капитан. Но изображение сразу же обесценивает все его слова...

Может, не море, а водка его увела за собой?..

Как всегда, я покорен твоим пейзажем...

Виталий.

20.9.76.

А. ПОЛЯКОВ — В. СЕМИНУ

Дорогой Виталий!

...Не могу согласиться с твоим рассуждением: «Пьют не потому, что жизнь плоха. Пьют потому, что пьют». Пьянство людей — не столько их вина, сколько беда. Обругав алкоголика пьяницей, пьянства не изживешь.

Да, Мирали мог и не знать, вернее не читать, Эпиктета с его трехступенчатой сентенцией о движении к высшей мудрости. Допустим, что человек, который не бранит в своих несчастьях ни себя, ни других, — мудрец. Хотя что же тут мудрого. Отец мой, с которого во многом списан Мирали, знал больше Эпиктета. Он много лет посему, как мог, толковывал мне истину, что жить в ладах с этим миром человек может только в трех случаях: 1) когда человек этот отпетый подлец; 2) когда он сумасшедший; 3) когда он так высок и силен, что может относиться к этому жуткому миру как к больному ребенку, то есть с состраданием и с искренним желанием облегчить его мучения, если даже они неважны.

У Мирали не было такого высокого роста, такой силы. Но Мирали, так часто и подолгу занятый собой, думал не о собственной шкуре, не о своих несчастьях, а о том, почему, отчего так неуютно, одиноко, тяжело ему в этом мире. Причем он достаточно мудр, чтобы не ринуться по истоптанному и запыленному пути политических обвинений обществу. Он глубже берет...

А. Поляков.

Чарджоу, ТССР, 17.11.76.

В. СЕМИН — А. ПОЛЯКОВУ

...Когда я читаю твой пейзаж, я вижу за ним, как выразился бы один мой приятель, таинственно целостное мировоззрение. Человек, который так видит природу, близок мне, моему душевному настрою. Я угадываю совокупность каких-то нравственных и художественных качеств. Отношение писателя А. Полякова к природе бескорыстно, спокойно, исполнено понимания и сочувствия. Но часть этой природы — человек — вызывает у того же писателя ярость, мстительность и множество других таких же чувств и ощущений. Может быть, человек и вызывает ярость. Эйхман несомненно заслуживает петли. Мне только кажется, что цивилизованное человечество совместными усилиями выработало идеал или идеалы, которые позволяют нам сохранять то самое таинственно целостное мировоззрение, которое и в минуты душевной смуты оставляет нам надежду и ясность зрения. Мне кажется, что я вижу двух совершенно различных писателей, когда ты пишешь природу и когда ты пишешь людей. Природу изображает здоровый А. Поляков. Людей — лихорадящий, температурящий. Странно — болезнь передается и через строчки и возбуждает во мне какую-то смуту, раздражение, нежелание входить в этот мир, считать его нормальным. Ты ведь догадываешься, что мне приходилось видеть людей всякими. И самого себя тоже. Но есть жизненный опыт и есть опыт духовного развития. Они связаны друг с другом, но иногда вступают в противоречие, которое разрешается только интуитивным постижением истины. Согласимся на том, что наш жизненный опыт преподнес нам с тобой множество огорчений. Но ведь

когда мы являлись в этот мир, никто не давал нам гарантий, что он будет шит по нашей мерке. Природа ведь тоже не по нашим чертежам изготовлена. Мы ведь не только живем, но и погибаем по ее законам...

Ах, боже мой, я разболтался. Все равно эти вещи каждый решает сам для себя. Будь здоров. Желаю тебе удачи.

Виталий.

25.11.76.

А. ПОЛЯКОВ — В. СЕМИНУ

...Очень тебя прошу: не подозревай во мне злодея. <...> Конечно, я согласен с тобой: когда мы являлись в этот мир, никто не давал нам гарантий, что он будет шит по нашей мерке. Скажу даже: если бы мы были им довольны, то о чем писали бы?.. Да, надо относиться с уважением к законам природы, по которым мы живем и умираем, надо! Но я не знаю, по каким законам убиты Моцарт, Пушкин, сведены с ума Гаршин и Успенский, сожжен Бруно, повешены декабристы... Я видел акацию, которую змеей обвила, опутала и душит, душит лоза дикого винограда, высасывает из-под акации соки земли, заслоняет солнце... Так что же? Мы все-таки люди, и есть у нас душа. К тому же мы какие-никакие, но все-таки художники... Мы обязаны... да что обязаны — обречены! — мечтать, фантазировать, безумствовать, снова и снова восставая против з а к о н н ы х подлостей, паразитизма, животных (читай: природных) сил, против убийств, против ядовитых болот и раскаленных пустынь, в которых (по законам природы) вымирают целые племена людей. <...>

Саша.

24.12.76.

В. СЕМИН — А. ПОЛЯКОВУ

Дорогой Саша! Я уже писал, что предпочел бы спорить с тобой печатно. После того как твои романы увидят свет. А так на моих писаниях — и я в этом отдаю себе отчет — лежит некая тень оргвывода. Я по ту сторону, где печатают, а ты еще здесь, за этой чертой. И слова мои ты, конечно, невольно связываешь с административной хулой. Несовпадение точек зрения и в других случаях нам мешало бы понять друг друга. А так ты — хочешь или не хочешь — будешь подозревать во мне благополучно-литератора, отстаивающего здоровье с заранее обдуманной намерениями.

Но все же скажу тебе, что, будучи природой во многом ущемленным, я всю жизнь любил здоровье и ненавидел болезнь. В лагере я увидел много странного и болезненного, понял, что странности часто бывают агрессивны, злобны и что болезнью спекулируют перед самим собой. Всю жизнь я боролся с собственной болезненностью и никак не могу понять, что можно любить в болезни. Любить болезнь и странности может только очень здоровый и благополучный человек...

О тебе я знаю слишком мало. Я тебе желаю, чтобы в новом и последующих годах все возражения тебе высказывались печатно, чтобы оппоненты твои были бы к тебе так расположены, как я. Чтобы еще больше у тебя было друзей и почитателей и чтобы они горой стояли за тебя и твоих героев и давали бы оппонентам по мозгам. А чтобы ты мои возражения совсем ставил бы в ничто, скажу тебе, что терпеть не могу Достоевского.

Будь здоров, дорогой, и пусть на твоём настроении никак не отражается то, что я боюсь болезненности и не люблю странности.

Виталий.

31.12.76.

А. ПОЛЯКОВ — В. СЕМИНУ

Дорогой Виталий!

Благодарю за письмо, за доброе участие в моих литературных заботах.

К сожалению, не все выходит так, как нам хотелось бы. Недавно получил рукопись романа. Вещь не подошла журналу. Мой товарищ на днях бывал в Москве, Тевекелян сказала ему, что «Н. м.» произнесет твердое слово о повести через месяц. Не берусь гадать, что это будет за слово. Остается терпеть и ждать, «душу согревая надежд на дышанным теплом», как пишет один близкий мне поэт.

У нас холода, крыши до сих пор нет, собираюсь переметнуться на другую службу.

Ума не приложу, что делать с романом. Я, конечно, перепишу его, но что потом? Куда его?

А. Поляков.

28.1.77.

В предисловии к повести «Море в ноябре» («Новый мир», 1977, № 12) за восемь месяцев до своей смерти Виталий Семин писал: «Человека и его призвание связывают довольно сложные отношения. Полная поглощенность призванием чрезвычайно редка. Для этого есть много причин. Главная из них — время. Время от завтрака до обеда, время сна, отдыха, развлечений. И время с большой буквы — Время всей жизни. То, что отдадите призванию, не хватит для чего-то другого. Поэтому с представлением о поглощенности невольно связывается представление о жертвенности. Человек жертвует главным — жизнью. Единственной компенсацией за это считается признание. Но с признанием все обстоит слишком не просто. Оно может опоздать, может совсем не прийти. Может оказаться частичным, разочаровывающим, не отвечающим затраченным усилиям. Идя за призванием, вы вступаете на дорогу риска. Так было, так есть и так будет.

Втягиваясь в борьбу со своим талантом (а это именно борьба), вы можете обзавестись. Простое беспокойство принять за талант. В любом случае вам не по силам определить его размеры и, следовательно, степень оправданного риска. Пресловутый «внутренний голос» слишком долго остается вашей единственной опорой. Вы прекрасно понимаете ее ненадежность.

Больших душевных сил требует мгновенный риск. Каких же сил требует риск, растянутый на годы! Почему же не уменьшается число добровольцев, без которых оскудела бы жизнь? Впрочем, здесь и ответ — оскудела бы жизнь...»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СТ. РАССАДИН



РАСПЛЮЕВ

Биография типа

— Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.

— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?

Евгений Шварц, «Дракон».

Механизм сотворения мифа или легенды, как правило, прост — стоит только (если, конечно, удастся) заглянуть внутрь его.

Вот пример этой редкой удачи.

Иван Антонович Расплюев, вероятно, самый именитый из персонажей гениальной трилогии А. В. Сухова-Кобылина, впервые является в «Свадьбе Кречинского» расстроенным и растерзанным, едва выдравшимся из своей шулерской передраги:

«Ну что делать! каюсь... подменил колоду... попался... Ну, га, га, го, го, и пошло!.. Ну, он и ударь, и раз ударь, и два ударь. Ну, удовольствуй себя да и отстань!.. А это, что это такое? Ведь до бесчувствия!.. Ты Семипядова знаешь?.. Богопротивнейшая вот этакая рожа... Ведь и не играл... Как потянется из-за стола, рукава заправил. «Дайте-ка,— говорит,— я его боксом» Кулачище вот какой!.. Как резнет! Фу ты, господи!.. «Я,— говорит,— из него и дров и лучины нащеплю»... Ну и нащепал...»

И уж до последнего действия комедии не выйдет из его головы то, что в нее вколотили — в самом буквально материальном смысле

Когда Расплюев спросит у всезнающего Кречинского, что ж это за штука такая — бокс, и услышит в ответ скупое: «Английское изобретение», гут-то в его потрясенном (опять же без всяких метафор) мозгу и начнется поистине творческая, мифотворческая работа: «Скажите... а?.. Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели.» И, начавшись, отнюдь не остановится.

Здесь, однако, на перо просится аналогия — сознаю, насколько рискованная.

Славный предшественник Сухова-Кобылина Денис Иванович Фонвизин, отправившись в оны годы путешествовать и едва-едва пересекши французскую границу, в письме, отправленном на родную сторону, стороне чужой сразу и с маху вынес такой приговор: «Словом сказать, господа вояжеры глут бессовестно, описывая Францию земным раем».

«Словом сказать» — это венец, конец, утомленный впечатлениями итог, и трудно представить, что категорический автор всего несколько дней во Франции и до Парижа ему ехать и ехать. Но со спокойной уверенностью пророка-профессионала он уже все знает наперед. «Мы не видели Парижа, это правда; посмотрим и его; но ежели и в нем так же ошибемся как в провинциях французских, то в другой раз во Францию не поеду. Коли что здесь прекрасно, то разве климат...»

И опять, и опять, в тех же упрямых словах, а это все еще только начало медлительного по-тогдашнему вояжа:

«Остается нам видеть Париж, и если мы в нем так же ошибемся, как во мнении о Франции, то, повторяю тебе, что из России в другой раз за семь верст киселя есть не поеду»

«Остается нам видеть Париж, чтоб формировать совершенное заключение наше о Франции; но кажется, что найдем то же...»

Известно: ищущий обрящет, а если знает, что именно хочет найти, это самое и найдет. «Рассудка француз не имеет... Итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие.. Здесь во всем генерально хуже нашего...»

Все... Во всем... «Словом сказать», Петр Андреевич Вяземский даже не сlishком и преувеличил, сравнивши фонвизинские письма из Франции с анекдотом о путешественнике, каковой, увидав в пограничном городе, как рыжая баба лупила ребенка, записал: «В этой стране женщины рыжи и злы».

Но с чего это великий Денис Иванович не по чину возник в разговоре о ничтожном Иване Антоновиче? И нет ли в том первом из них урону и поношения?

Напротив. Великий и пребудет великим, его даже такая уничижительная предвзятость к чужому, исторически, к слову сказать, объяснимая, не способна принизить (да и письма фонвизинские прекрасны, в том числе самой своей патриотической ревностью), а вот расплюевские размышления в столь серьезном соседстве уже не покажутся неразборчивой попыткой комедиографа рассмешить нас как придется и чем попало.

Известнейшие слова Достоевского о русском школьнике, которому дайте только карту звездного неба, прежде им и в глаза не виданную, и он на завтра вернет вам ее исправленной,— это не шутка, не гордость этаким смельчаком и не гнев на него. Это постигающее вглядывание в национальный характер, который проявляется на самых различных уровнях. На расплюевском — тоже.

Вот он, Иван Антонович, выдающий себя — поневоле, по приказанию своего хозяина и кумира Кречинского — за помещика-степняка, уморительно поддерживает беседу с помещиком подлинным, Муромским, которого Кречинский прочит себе в тесте. И стоит тому помянуть выгоды усовершенствованного земледелия: «Вот пишут, какие урожаи у англичан, так — что ваши степные», как Расплюев горячо (по ремарке автора) вскакивает на своего позабытого было конька:

«...Англичане! хе, хе, хе! Помилуйте! да от кого вы это слышали? Какая там агрономия? все с голоду мрут — вот вам и агрономия. Ненавижу я, сударь, эту нацию... Муромский. Неужели?»

Расплюев При одной мысли прихожу в содрогание! Судите! у них всякий человек приучен боксу...»

(Всжий... Оторвемся, чтобы вспомнить то, чего, впрочем, и не забывали: «Итальянцы все злы безмерно... Здесь во всем генерально хуже нашего...»)

«...А вы знаете, милостивый государь, что такое бокс?»

Муромский. Нет, не знаю.

Расплюев. А вот я так знаю... Да! у них нет никакой нравственности! любовь к ближнему... гм, гм, нет, уж как с малолетства вот этому научат (*делает жест рукой*), так тут этакое ближнего любить не будешь... Нет, уж тут любви нет. Впрочем, и извинить их надо; ведь они потому такими и стали, что у них теснота, духота, земли нет, по аршину на брата не приходится: так поневоле стали друг друга в зубы потакивать.

Муромский. Однако все изобретения; теперь фабрики, машины, пароходы...

Расплюев. Да помилуйте! это голод, это, батюшка, голод; голодом все сделаешь. Не угодно ли вам какого ни есть дурня запереть в пустой чулан да и пробрать добре голодом — посмотрите, какие будут шутки строить! Петр Константиныч! посмотрите вы сами, да беспристрастно, батюшка, беспристрастно. Что у нас коровы едят, а они в суп... ей-ей!»

Точка. Готов новоиспеченный миф. Свежая — с пылу с жару — легенда. И зерен, из которых она пышно произросла, раз-два и обчелся. Даже Расплюеву ведомо, что Англия остров, что остров сей мал. А тут еще такое впечатляющее новооткрытие, как скуловоротный бокс. Добавьте к этому национальную гордость в той наипрimitивнейшей форме, что доступна последнему шулеру, — земля, дескать, у нас велика и обильна, не чета Европам, — и вот в естественном итоге расплюевская картинка.

«Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное». Но пушкинский Дон Гуан, о коем сказаны эти слова, дорисовывал с искусством зоркого живописца, угадывающего истинный облик красавицы; иначе, увидев ее в лицо, можно горько разочароваться. Расплюев малоет как умеет, разочарование ему не грозит, и его «остальное» — уморительный и злобный лубок.

Фамилярное расплюевское обращение с чужими географией и историей — может быть, из-за своей забавной броскости, а вернее всего в силу нешутности этой, казалось бы, авторской шутки и распристранности подобного типа мышления — рождает, как мы убедились отчасти, прихотливые ассоциации, и еще от одной из них отвязаться трудно. По причине очевидного сходства, помогающего, как бывает, особенно глубоко, до корней обнажиться несходству. Я имею в виду исторические рассказы — или интермедии — Зоценко, в которых, допустим, Екатерина Великая заявляет: «Я еще сама интересу-

юсь царствовать», а древний тиран Сулла и крохотный коммунохозовский властелин, банный гардеробщик, изъясняются в едином тоне и стиле: «— Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напаешься... — Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревки — пользы не напаешься».

Смешон и странен — в контрастном соприкосновении с далекой эпохой, с далекой страной, с их документированными реалиями — язык зоценковских рассказов, демонстративно отказывающийся даже от подобия стилизации, доводящий этот отказ до крайности (возможно, потому, что автор не верит, не допускает, что мы, нынешние, способны естественно заговорить на позавчерашнем языке, и в этом остром ощущении дистанции, думаю, выражается своеобразнейший историзм Зоценко). Да, странно, да, смешно, но пародийной издевки над чужим и давним здесь нет, и исторический мир, представший в рассказах чуть ли не шутовски осовремененным, в то же время не искажен. Не изуродован. Его главные ценности не деформированы.

«Только представьте себе картину. Яркое солнце. Пыль. Базар. Крики. Яма, в которой сидят философы. Некоторые вздыхают. Некоторые просятся наверх. Один говорит:

— Они в прошлый раз скоро выпустили, а нынче что-то долго держат.

Другой говорит:

— Да перестаньте вы, Сократ Палыч, вздыхать. Какой же вы после этого стоик? Я на вас прямо удивляюсь.

Торговец с палкой около края ямы говорит:

— А ну, куда вылезаете, подлюга. Вот я тебе сейчас трахану по переносью. Философ... Ученая морда...»

«Только представьте себе...» Что ж, и представляем как умеем, сознавая неизбежную скудость своего умения, — однако представляем не по-расплюевски. Тут, повторю, все главное в целостности и сохранности: и беда древнегреческих мудрецов, посаженных на рынке рабов в яму; и печальная привычка к этой беде — тем и печальная, что обратилась в привычку; и вековечное презрение быдла к «ученым мордам»... В общем, тех, кто в несчастье, автор жалеет, тех, кто верг их в несчастье, ненавидит. Все естественно, все нормально. И возможны ли большие противоположности, чем две трансформации чужого и неведомого: зоценковская и расплюевская?

Первая из противоположностей: центробежная, деликатная — при всей своей насмешливой дерзости — душа художника, по природе своей постигающего, состоящего, готового следовать и учиться. И вторая — центростремительный, агрессивный напор ухватистого невежества, варганящего доморощенную легенду по образу и подобию своему, по образу того, чье представление, предположим, о справедливости и ее пределах будет таким: «Бывало, и сам сдачи дашь и сам вкатишь в рыло, — потому — рыло есть вещь первая!.. Ну нет, вчера не то... нет, не то!»

Вопрос: в чем разница между «ложью» и ложью? «Выдумкой» и выдумкой? Искусством и клеветой, сплетней?

Разумеется, в очень многом, во всем, а в частности и в том, что искусство открывает и постигает, обогащая собою окружающий мир, сплетня же обкрадывает его, не сверяясь с правдой, предпочитая ее калечить.

Не утратим ли мы, однако, чувства юмора, умствуя этак вокруг неприятельской расплюевской выдумки? Мне кажется, нет. Потому что смешной миф, по-своему даже обаятельный (как очень по-своему обаятелен сам Расплюев, неунывающий, неистощимый и плотоядный), даже, пожалуй, трогательный, ибо Иван Антонович выстрадал этот миф своим битым рылом, — по житейской, по жизненной сути он страшен. Зловещ.

Помещенный в комедию, он имеет полное право быть смешным и только смешным, так как не преследует в ней никакой корысти и даже никакой цели, являясь тем, чем является: импровизацией пострадавшего шулера, не больше и не хуже того. Но художник (в данном случае Сухово-Кобылин) творит и затем, чтобы, как сказано Блоком, «по бледным заревам искусства узнали жизни гибельной пожар», — да не только по трагическим заревам, а хотя бы и по комедийной искрящейся пиротехнике, по улыбке, по хохоту, по насмешливому подмигиванию. И разве механизм возникновения расплюевской легенды о маленькой островной Англии, которой, по тесноте ее, только и остается держаться боксом, это не механизм рождения лобой шовинистической выдумки? Той, которой мало того, что мы хороши, надобно, чтобы они и были ничтожны и плохи? Разве кичливое презрение к «изобретениям», «фабрикам, машинам, пароходам», то бишь к творческой неумности и предприимчивости иноземцев — ко всему тому, чего нам якобы вовсе даже не нужно, мы, дескать,

и так обойдемся,— не есть ли это одна из существеннейших отечественных бед? «Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества... но... нет того духу! Духу того в нем нет!»

Это, впрочем, уже не Сузово-Кобылин, а Чехов. Не шулер Расплюев, а болван помещик Камышев...

Невинная в контексте комедии да и по обстоятельствам явления в свет (каковы — невежество, нелюбопытство и битое рыло) расплюевская легенда об Англии — все-таки неутешительный портрет его искаженной души. И не приходится чересчур удивляться, что он, верченый-крученый в «Свадьбе Кречинского», смешной, жалкий и в обоих этих качествах доступный нашему снисходительному сочувствию, во второй сузово-кобылинской пьесе, в драме «Дело», предстанет — правда, за сценой, на нее не допущенный,— клеветником уже вполне реально злокозненным: сделает, спасая трепаную свою шкуру, лживый и губительный донос. А в пьесе третьей, в фарсе «Смерть Тарелкина», и вовсе преобразится из жертвы полицейской погони в самого ловчего, обретя должность квартального надзирателя. Сам станет гнаться, хватать, записывать, пытаться и если вновь окажется сочинителем некоего мифа, или, лучше сказать, утопии, то — вот какой:

«Я-а-а теперь такого мнения, что все наше отечество это целая стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я всякого подозреваю; а потому следует постановить правилом: всякого подвергать аресту».

Опять «все... всякого... всякого...» (было: «...у них всякий человек приучен боксу») — та же ухарская «широта души», но на сей раз она выплеснется ликующим и угрожающим воплем, сознанием своей особенной силы: «Все наше! Всю Россию потребуем».

Однако есть ли действительная нужда воспринимать всех трех Расплюевых, так или иначе участвующих в трех разных пьесах, персонажем единой и неделимой судьбы? (Не говорю уж о том, что высказывалось — нельзя утверждать, чтобы совсем беспочвенное,— сомнение, можно ли прилогию Сузово-Кобылина считать прилогией в подлинном, не формальном смысле, настолько разнохарактерны искрометная комедия «Свадьба Кречинского», мрачная драма «Дело» и комедия-шутка, как скромно отрекомендовал автор «Смерть

Тарелкина»,— на деле беспощадно жестокий и невероятно смешной гротеск.)

Ведь и вправду... В «Тарелкине» нет ни единого упоминания о шулерском прошлом Расплюева (о бедственном — есть), о подначальном его дружестве с Кречинским, даже о поддом доносе, упомянутом в «Деле». И многое ли переменялось бы, если б Сузово-Кобылин дал ему новое, иное имя? Так ли уж важно, скажем, что в «Бешеных деньгах» Островского эпизодически появляется именно Егор, именно Дмитрич и именно Глузов, круглый тезка-однофамилец героя комедии «На всякого мудреца довольно простоты»?

Но вот свидетельство самого Сузово-Кобылина:

«Вопрос состоял в том, чтобы выставить его (Расплюева, конечно.— Ст. Р.) в этом новом и торжествующем моменте и именно так, чтобы он был хотя и торжествующая, но старая, русской публике известная свинья и чтобы этот метаморфоз был логичен, то есть естествен... Если задача моя по программе этой ныне выполнена, если та расплюевская нота, которую вся Россия в Свадьбе Кречинского облюбовала, изловлена и между Свадьбой и Днями диссонанса нет, а есть аккорда, согласие, то работа моя кончена благополучно».

«Дни» — это «Расплюевские веселые дни»; так была перекрещена «Смерть Тарелкина» для первой, запоздалой, безбожно урезавшей пьесу и, увы, не имевшей успеха постановки в сентябре 1900 года на сцене петербургского Литературно-художественного театра, в обиходе именуемого по владельцу Суворинским...

Но, уверенно утверждая неразрушимую цельность своего Ивана Антоновича, твердо обозначая нравственную его цену («свинья»!), как им видел его сам сочинитель? Каким — по нраву, по облику, по происхождению?

Петр Гнедич, известный историк искусства, критик, ходкий драматург, ведавший у Суворина «художественной стороной постановок», вспоминал, как в пору, когда готовились родиться на сцене вышеупомянутые «Дни», он застал в режиссерской комнате троих: своего патрона, Сузово-Кобылина и артиста Далматова, славившегося в роли Кречинского:

«Актёр и автор говорили о Расплюеве. Суворин их слушал и улыбался.

— Оказывается, что Садовский совсем не то играл, что надо,— повторял Суворин.— А мы-то восхищались!

— Он изобразил не Расплюева, которого за передержку бьют боксом, а Расплюева, которому просто мнут ребра,— сказал Кобылин...»

Опять бокс! Не одному, значит, Расплюеву врезался он в голову.

Да, отметим мимоходом, оставив, однако, памятную зарубку: бокс — это словно бы хоть и изрядно сниженный, но все-таки парафраз благородной дуэли, не чета простонародному непочтительному тумачу. И тут, стало быть, свой ранжир, свои церемонии, свои уставы, скопированные мощенческим мирком с чиновно-сословного общества. Даже язвительнейший Щедрин, целя, правда, в другую мишень, обратит внимание на комическую серьезность шулерских приличий, шулерской иерархии.

«Я знаю,— скажет герой «Помпадуров и помпадурш»,— что в нашем клубе междоусобия не редки... Но я решительно отказываюсь понять, почему столь обыкновенное в нашем обществе явление может тревожить моих сопомпадуров! Не понимаю-с. Возьмите, например, хоть последнее наше междоусобие: князю Балаболкину за неправильно сделанный в карты вольт вымазали горячей котлеткой лицо. Поступок прискорбный — это так, но чтобы в нем крылось распространение вредных мыслей или пополозновение к умалению чьей-нибудь власти — с этим я никогда не могу согласиться. Никогда-с!»

Впрочем, образумливающая речь помпадура и еще одним боком (не боксом) касается нашего предмета: да, шулер — не волюндумец какой, упаси господи, не враг существующего строя, он, по-нашему говоря, социально близкий, а коли так, почему бы Расплюеву не перескочить из-за зеленого стола напрямик в полицейскую часть?

Вернемся, однако, в режиссерскую Суворинского театра.

«— Разве такого Расплюева Кречинский пошлет с букетом к невесте?— продолжал Далматов. — Разве он выдаст такого оборванца за своего соседа по имению? Разве пригласит его на интимный вечер как ближайшего друга?

— Вот вам бы надо было его играть,— внезапно сказал Александр Васильевич...»

Сказал Кречинскому!

«О том,— это продолжает уже сам рассказчик, Гнедич,— что Садовский сыграл не то и пустил в обращение тип, совершенно не тот, что был создан Кобылиным, подтвердил мне и граф Сальяс. Возвращаясь из-за границы в Москву, он остановился

на несколько дней в Петербурге, и я встретил его, не помню, у кого из знакомых. Он приходился Сухово-Кобылину родственником и всегда отзывался о нем с восхищением.

Я спросил его о Расплюеве: почему же Александр Васильевич не был против извращения этого типа Садовским?

— Да просто потому, что Садовский играл гениально,— сказал Сальяс. — Он подтвердил то, что бывает нередко: можно превосходно играть, но играть совсем не то, что замыслил автор. Садовский не мог играть тип не тот, что был им создан,— и вот почему.

— Малый театр того времени был театр Охотного ряда. Островский оттуда черпал свое вдохновение. Актеры брали оттуда целиком фигуры того «темного царства», что доводилось им изображать. Да и публика в то время была — тот же Охотный ряд, наполнявший театр сверху донизу.

— Садовский не встречался с Расплюевым того типа, что рисовал Александр Васильевич. Ему чужды были типы прожившихся помещиков, которые были не прочь передернуть в карты и попадали постоянно в переделку. Зато ему совершенно ясны были обтрепанные, потертые москвичи, в сальных продранных сюртуках, битые ежедневно по трактирам и игорным притонам. Зрители тоже скорее были знакомы с фигурами этого рода и в Садовском узнали своего старого приятеля.

— Мы сидели вместе с Александром Васильевичем в ложе на первом представлении «Свадьбы Кречинского». Надо было видеть, что с ним делалось, когда вышел на сцену Садовский. Он бледнел, краснел, тербил усы, старался оставаться спокойным, но ему не удавалось. Он скрипел зубами и что-то бормотал под нос.

— Вернувшись домой, он заболел. Когда я сообщал ему о громадном успехе Садовского, о похвалах газет, он не верил: «Быть не может! Он играл хама-пропойцу, а не прогоревшего помещика. Он мне всю пьесу портит...»

— Насилу я уговорил его поехать на шестое или седьмое представление «Кречинского». Он лично убедился в огромном успехе Садовского и в том, что главный успех его пьесы исходит именно от его игры.

— Он махнул рукой и сказал: «Ну, что ж, по Сеньке и шапка! Дай им подлинного Расплюева — его бы не поняли. Этот дешевле, базарнее, а потому и более понятен».

Точности вспоминающего Гнедича можно, кажется, доверять вполне; точности графа Салиаса де Турнемира (сухово-кобылинского племянника, сына его сестры Елизаветы, вошедшей во всероссийскую известность под литературным именем Евгения Тур и также известного романиста) — в меньшей степени. Его и ловили не раз на ошибках памяти или, что хуже, на тенденциозности. На упрощенной, к примеру, характеристике Малого. Или на том, что в действительности Сухово-Кобылин был на всех первых представлениях «Свадьбы Кречинского» и никакой болезни от огорчения с ним, выходит, не приключалось. На том, наконец, что в собственном своем дневнике Александр Васильевич игру первого из Расплюевых, наоборот, одобрял да и матери писал, притом на следующий после премьеры день, категорически: «Садовский — Расплюев был превосходен...» И это не объяснялось ослепляющей радостью неопита, готового все и всем простить за успех у публики, потому что следующие же слова являли строгую (и несправедливую) разборчивость: «...Шумский слаб».

А все же весьма вероятно, что первоначально он и впрямь оказался шокирован или просто растерян, не умея определить своего отношения; сообразим, что это бывало и с Чеховым, удрученным спектаклями Художественного театра по его пьесам, и с Горьким, который отказался принять гениального Луку — Москвина. Дело обычное. Сообразим и то, что мысли создателя «Свадьбы Кречинского» были весьма заняты горькой для него темой разорения и унижения собственного сословия, дворян, землевладельцев, «старой оболочкой духа», по его выражению.

Не вполне поняв, что очень возможно, Садовского в первый момент, ошеломивший неожиданностью, Сухово-Кобылин не только принял его впоследствии, притом скоро, за бесспорный талант, но, может быть, именно благодаря Прову Михайловичу разглядел в своем детище и такого Расплюева. И оттого-то на склоне лет, уверяя Суворина и Далматова, будто Иван Антонович — прогоревший помещик, заслуживший почетное право быть поколоченым не иначе как по-джентльменски, боксом (или с употреблением, по-шедрински, горячей котлетки), вдруг тогда же взяла и высказался вне согласия и «аккорда» с самим собою. Заявил, что Расплюев — «разночинец» Да не просто сказал — сделал. Признав, что в «Смерти Тарелкина» он все та же самая «старая, русской пуб-

лике известная свинья», вложил в расплюевские уста речи, плохо свидетельствующие о его барском, помещичьем прошлом: «таперь... эвдаким... ээто...»

Противоречие? Да! И, к моей радости, очевиднейшее.

Когда сам автор на протяжении лет, а порой и в узком временном промежутке колеблется, как бы точнее определить своего собственного героя, это значит...

Но подождем с выводами.

Итак, Расплюев — то ли бывший барин, то ли всегдашний плебей. Ни то ни се. Неясность и с семейными его обстоятельствами.

В «Свадьбе Кречинского» он, решив, что обманут и предан своим властелином, рвался из запертой квартиры на волю и молил камердинера Федора: «Пусти, брат!.. Ведь у меня гнездо есть; я туда ведь пишу таскаю... Детки мои! голы вы, холодны... Увижу ли вас?.. Ваня, дружок!» Правда, ему не только не удалось разжалобить ко всему привычного Федора, но и сам Александр Васильевич Сухово-Кобылин, видя, как душещипательно играно эту сцену иные исполнители роли Расплюева (знаменитый Давыдов — тот весь Александринский театр заставлял лезть за платками), не выдержал: «Да неужели не ясно, что он и тут „врет как сивый мерин?“»

Но сказать-то сказал, однако — опять непоследовательности! — в «Смерти Тарелкина» взяла да и вывел на сцену расплюевского детеныша, именно Ванечку, приспособив его в писаря при отце.

Выходит, поверил-таки — уже не актеру Садовскому, а самому своему шулеру?..

Конечно, то, что Владимир Николаевич Давыдов принуждал свою публику рыдать над сценой, где Расплюев являет граду и миру родительские добродетели, было навеяно и временем, укрепившим в русском читающем обществе сострадание к людям «бедным» и «маленьким», в число коих хоть на одну эту горестную минутку как бы попадал и Расплюев, — да, кстати сказать, само его имя, мгновенно превратившееся в нарицательное, начинало с годами встречаться не в тех контекстах, в какие угодило сразу после премьеры, в 1855 то есть году.

Семью годами позже А. В. Никитенко записывает в своем «Дневнике», как университетский профессор, сгоняемый недоброжелательными студентами с кафедры, говорит им — может сказать, — выбрав со зла слово полестче: «Вы, господа, начинаете свое поприще Репетиловыми, а окончите его Расплюевыми».

Кличка-пощечина, кличка-клеймо, тем более едкая, что даже в этот оскорбительный для профессора миг оскорбители-молокососы сопоставлены им всего только с безобидным болгуном Репетиловым,— в какую же грязную пропасть суждено им, скользявши единожды, сверзиться, дабы наконец докатиться до расплюевского уровня!

Однако проходят годы, десятилетия; «хам-пропойца», сыгранный Провом Садовским, или «грубый (по определению современника) шут» александринца Федора Бурдина, первых Расплюевых русско-го театра, меняют у новейших исполнителей роли жесткие очертания характера, и имя Ивана Антоновича все чаще поминается с благодушием, вызывая в памяти не степень нравственного падения, а простибельные или по крайней мере не преступные человеческие слабости или пристрастия, никому из нас не чуждые. Например, чтоб недалеко ходить и неглубоко искать: «Мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски»,— плотоядно потребует в тестовском трактире все тот же артист Василий Далматов (а Гиляровский вспомнит об этом, расписывая их общую, неправдоподобную по нынешним временам и желудкам пантагрюлеву трапезу). Или — персонаж чеховского рассказа, беспечный землевладелец, пошутит самокритически: «Сам я в имении никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый».

Это аукается расплюевское из «Свадьбы Кречинского»: «Завернул в Троицкой... Вхожу этак, знаете, сёл посреди дивана, подперся так... Гм! говорю: давай ужи; растегаев, говорю, два; поросенка в его неприкосновенности! Себе-то не верю; я, мол, или не я?.. Подали уху единственную: янтари этак так и разгуливают...» И — из трудненькой для него беседы с неотвязно любопытствующим Муромским: «А как у вас земля? — А что земля! земля ничего. — У вас там должен быть чернозем? точно: ведь Симбирская черноземная губерния. — Да, да, да, как же! чернозем,— удивительный чернозем, то есть черный, черный... у! вот какой!»

Когда отрицательного героя начинают поминать в связи с такими вот ассоциациями да еще применять его имя к себе самому — «от меня, как от Расплюева», — то в неперменности его отрицательности можно и усомниться.

Расплюев и в самом деле ни то ни се.

Вернее, и то и се. И не в меняющемся времени дело, во всяком случае не в нем одном — в своей переменчивости, неопределенности, противоречивости виноват он сам. Виноват его автор. И вина прекрасна, ибо она — победа художника.

«Фигура Расплюева,— заметил в 1917 году критик Н. Долгов,— таит свою загадку. Эта загадка в старой дилемме: смешон или жалок этот человек?.. У нас ведь и в Бальзаминове разводят клинику, а Аркашку Счастливецова передают в тонах пьесы с настроением. Серьезность считается синонимом глубины. Но это не всегда верно. Образ Расплюева написан сочными, законченными мазками. Это человек не унывающий, и, если ему и теперь «поест да задать храповицкого», он опять будет чувствовать себя совсем не дурно... Речи же о голодной семье могут быть попросту враньем. К тому же надо брать тип в его целом. Ведь мы знаем и «веселые расплюевские дни», когда Расплюев оживет, наденет форму квартального надзирателя и будет кричать в приливе служебного рвения: «Перехватать всю Россию!»... Самый трагизм расплюевщины как общественно-го явления и заключается, быть может, в даре утешаться. Трижды избит, обруган, а появились деньги — и ожил, счастлив до самоупоения, ибо «пеструшечки никогда не выдадут».

Да, Иван Антонович Расплюев склонен к подвижности, переливчатости, протечности, склонен, как многие типы (не характеры — типы), которые, став, подобно ему, нарицательными именами, даже понятиями, этим не только не исчерпываются, но, наоборот, подчас искажаются.

Что такое донкихотство, гамлетизм, обломовщина — ясно всем и каждому, тут не до споров; а Дон Кихот, Гамлет, Илья Ильич Обломов? Смешон или героичен первый? Расслабленно нерешителен или собранно сложен второй? Плох или хорош третий? Разумеется, всё вместе — героичен и смешон, расслаблен и собран, хорош и плох, но ведь как спорили, так и спорят о них, не сходясь во мнениях, преувеличивая и отъединяя одну или другую черту,— а все потому, что их, этих героев, их, эти типы, и не сложить воедино, как ни старайся.

Недаром, ежели говорить о нашем Илье Ильиче, уже один из первых критиков романа, Дружинин, тонко заметил, что облик Обломова в первой части никак не совпадает с обликом в части четвертой и тот, кто смешно и нудно мучит Захара, доводя его до отчаянных слез, не вполне

похож на того, кто пропадает от любви к Ольге Ильинской. Совсем не похож. Не что подобное — с Дон Кихотом. С Гамлетом. И — хоть и пестровая выходит компания: рыцарь, принц и карточный шулер, — с Расплюевым, единственным типом, который создал Сухово-Кобылин и который не совсем то, что расплюевщина. Презрительное слово-приговор.

Однако Расплюев, думаю, представляет собою тип не только литературы, но — истории.

Сухово-Кобылин родился в год, когда Пушкину исполнилось всего восемнадцать, то есть тот еще не стал, не был Пушкиным, может быть, успев всего лишь наметить контур себя будущего, только намекнуть на огромность и обширность понятия, которое мы потом обозначим его именем. А умер, когда Чехов не только стал Чеховым, но и жить ему оставалось год. И в почетные академики императорской Академии наук Александра Васильевича избрали — и то насилу — одновременно с молодым, но уже шумно знаменитым Горьким.

Жизнь, кажущаяся неправдоподобно длинной — конечно, за счет не только собственной продолжительности и драматической насыщенности, но и того, что дала за эти годы отечественная словесность. И тех, кто жил рядом с Сухово-Кобылиным, кто был — ну, скажем, всего лишь строго на десять лет моложе или старше его; а это, ни много ни мало, Гоголь, Белинский, Герцен, Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Некрасов, Островский, Щедрин... Если б я не поставил себе преграды, оговорившись: «строго», — к ним добавился бы еще и Лев Толстой, идущий следом с опозданием на год.

Тем удивительнее, что в этом шумящем лесу, чья разнородность, смешанность и образует его неповторимую целостность, он казался отдельным, одиноким деревом, к лесу словно бы и не принадлежавшим. О нем трудно говорить, употребляя соединительный союз «и»: «Сухово-Кобылин и...», — даже если подразумевать контрастность и противостояние, что мы и делаем, например, поминая рядом Толстого и Достоевского.

Может быть, Гоголь и Сухово-Кобылин? Но, пожалуй, и это звучит не слишком убедительно, хотя именно Гоголя, едва ли не его одного, он безоговорочно обожал, вообще же являя — и заявляя — в литературном сообществе отменно неуживчивый нрав. «Об литературной, так называемой,

расценке этой Драмы я, разумеется, и не думаю; а если какой-нибудь Добросовестный из цеха Критиков и приступил бы к ней с своим казенным аршином и клейменными весами, то едва ли такой официал Ведомства Литературы и журнальных Дел может составить себе понятие о том равнодушии, с которым я посмотрю на его суд...». Это из презрительного предисловия к драме «Дело». Оттуда же и то же: «Я не говорю о классе литераторов, который так же мне чужд, как и остальные четырнадцать...»

Сбереженные современниками, дневниками и письмами отзывы Александра Васильевича о соседствующих братьях многочисленны и немногословны. Запомнилось, что читал Щедрина — «Губернские очерки» и «Господ ташкентцев». Очень ценил Льва Толстого, который был и светским его — «по гимнастике» — знакомцем, хотя мог крепко ругнуться («...во истину глупая и противу нравственная Пьеса Толстова Власть Тьмы» — единственный разок сохранил его причудливую орфографию; он и здесь умудрялся быть нэособицу). Хвалил Глеба Успенского. Постоянно и, надо думать, ревниво бранил Островского, как «грубого варвара». У Тургенева весьма не одобрил «Нахлебника» («Плохо, пошло, вяло, без ума, без вкуса и без такта»), зато со снисходительной доброжелательностью отметил «Дым» и всецело принял «Рудина».

О Достоевском не удалось найти — во всяком случае мне — ни словечка.

Да и не в словечках дело. Главное, что само по себе пресловутое братское снисхождение к «бедным» и «маленьким» людям, к их отдельным, особым несчастьям, именно малостью и объясняемым, — словом, то, без чего мы традиционно не мыслим облика Достоевского, вот оно-то Сухово-Кобылиным словно бы обойдено с полным равнодушием. Впрочем, кажется, тут и осторожное «словно бы» совершенно излишне.

Вот в самый разгар «веселых расплюевских дней» в пыточное колесо, заверченное Расплюевым и его непосредственным начальником — частным приставом Охом, попадает безвинная «протомоя» Людмила Спиридонова Брандахлыстова.

«Расплюев (Оху). В показаниях сбился, с преступником в сожительстве, не прикажете ли подвергнуть аресту?»

Ох. Ничего, подвергнуть.

Людмила. Ах, отцы мои, благодетели, что вы, побойтесь бога, у меня дети есть, их кормить надо.

О х. И, милая,— их соседка накормит. Людмила. Соседка? Да у меня соседка такая стервотинка, что она их нарочно уморит.

О х. Не уморит; а уморит, так отвечать будет. Мы никому не спустим.

Людмила. Ну, разве что отвечать будет...»

Успокоилась, стало быть. И, успокоенная, проследовала в темную.

Жаль ее? Да ни чуточки!

Бабища чудовищного объема и чудовищных сладострастных притязаний, она чудовищем и предстанет, то ли бессердечным, то ли тупоголовым: эвон, и забота о детях мигом вылетела из башки, вытеснившись мстительным удовлетворением, что и стервотинке не поздоровится. И то, что Людмила — из малых и сирых, прачка, да еще и брошенная с целым выводком, в общем, то, что в произведении «нормальном» должно было бы сильно изменить дело, в буффонаде «Смерть Тарелкина» решительно ничего не меняет. Как и смиренность, забитость, исправность, не говоря уж о полной опять-таки невиновности дворника Пахомова, затянутого в то же полицейское колесо.

«Бестия, каналия, протоканалия!! Что ж я этак долго около тебя ходить буду; мне ведь твоей братии, скотов, двадцать пять человек спросить надо — ракалия, разве меня хватит; ведь меня не хватит!!»

Это новоиспеченный следователь Расплюев ярится от непробиваемой тупости-робости свидетеля, который, несмотря на кулаки и усердие «мушкатеров» Качалы и Шаталы, на все вопросы отзывается «ась?» или «чаво-с?», и вот.. Однако каждому памятна (или должна быть памятна) поистине великая сцена, где само фарсовое озорство без ущерба для озорства и для фарсовости превращается в грандиозный символ устройства государственно-полицейской машины принуждения с ее отлаженным — ан дающим и сбой — механизмом, с ее инстанциями, степенями, ступенями, колесами, шкивами и шестернями.

Потому если и цитирую, то лишь напоминаяще-кратко:

«Расплюев. Эй, Качала,— поди сюда!

Качала подходит.

Качала. Чаво изволите, ваше бродие?

Расплюев. Стань вот сзади эвтого быка. (Становит его сзади Шаталы.) Вот так (поднимает ему руку), так! Как я тебе сигнал дам, так ты мне его в затылок и

двинь... (Шатале.) Вот ты у меня, бычье рыло, и будешь знать, когда тебе следует свидетеля резнуть. (Отходит в сторону и осматривает.) Ну, вот, дружки, я вам механику и устроил... и устроил...

Мушкатеры стоят в позе; Расплюев ими лубуется.

Теперь и отдохнуть можно. (Садится на стул.) Пойдет машина сама собою. (В гуще разваливается на стуле и покачивается.) Н-ну, приятель, объясни же мне, что заметил ты особенного в твоём зильце, Силе Копылове? (Дает сигнал.)

Качала режет Шаталу — Шатала Пахомова — Пахомов вскидывается на воздух и валится на Расплюева. Они падают один на другого и катятся по полу. Шум и смятение

Пахомов. Ой, ой, ой... батюшки... у... би... ли... у... би... ли...»

И так далее

Снова спросим себя самих: жаль нам в эту минуту Пахомова? И снова, удивляясь себе, ответим: нет. Однако повременим обвинять: себя — в жестокосердии, Сухово-Кобылина — в антигуманизме.

В блистательной пантомиме на тему «Качала режет Шаталу — Шатала Пахомова...» физическая мука дворника, изображенная на сцене не то что грубо натуралистически, но хотя бы просто реально, чувственно, больно, немедленно обернулась бы патологией. Нонсенсом — эстетическим, а отчасти и нравственным. Как (затертое сравнение) живой нос, просунутый сквозь нарисованное на холсте лицо. Как мордобой в балете. Как настоящая кровь, пролитая в балагане вместо положенного клюквенного сока.

В балагане и должен быть сок, а не кровь. Подделка, а не натура. Всему свое место — вот истина, от повторения не переставшая быть истинной. Фарс есть фарс, пантомима есть пантомима, и мы смело называем ее блистательной, что выглядело бы кощунственно в применении к реальным или хотя бы реально изображенным боли и крови.

Это первое. Есть и второе. (А будет и третье.)

«Плебейская непочтительность фарса,— хорошо заметил Константин Рудницкий, автор книги «А. В. Сухово-Кобылин. Очерк жизни и творчества» (М. 1957),— которая так привлекала Мольера, оказалась необходима дворянину, «барину» Сухово-Кобылину, когда он решился выступить с са-

тирой против полиции... Сухово-Кобылин в этой пьесе неожиданно, может быть, для самого себя отразил простонародное, грубое и совершенно верное понимание того, что творится в полицейских застенках».

Верное — да! Грубое — о да; нарочито, откровенно, весело грубое, как и положено цирковой клоунаде, которая в те времена и бывала нецеремонно жестокой, с пинками, пощечинами, колотушками, с ее шутовским, тарабарским, но понятным языком. Понятым посетителю простонародного ярмарочного балагана.

В слове, которое я подчеркнул вслед за Рудницким, тоже объяснение, отчего избиваемый дворник воспринимается без сантиментов. Писатель-интеллигент непременно бы пожалел «бедного человека» и был бы прав, но прав и народ, к которому так естественно и охотно пошел на выучку «барин» Сухово-Кобылин. Фарсовая насмешливость балагана или петрушечного театра тотальна, и сумеем ли мы припомнить или вообразить случай, чтобы в нем, в знаменитом былом балагане, опасно и дерзко потешаясь над околочным или попом, трогательно вздыхали бы над униженной участью себе подобных?

Это, как было обещано, второе. Теперь о третьем.

«О х. Дворника под арест.

Пахомов (на коленях). Ваше высокородие, не погубите!..

О х. Ни, ни. Нельзя, любезный.

Пахомов. Помилуйте, сударь, кто же будет улицу мечь?

О х. А у тебя есть жена?

Пахомов. Как жены не быть; жена есть.

О х. Ну жена и выметет.

Пахомов. Где ж ей мечь, она не выметет.

О х. А городской придет да палку возьмет, вот она и выметет.

Пахомов. Ну разве городской палку возьмет».

Прямой — и отнюдь не дальний — повтор!..

Вот что немногим позже выходило из-под пера редактора «Гражданина», гнусно известного князя Мещерского: «Есть нечто на Руси в виде бесспорной истины, сознаваемой народом. Это сознание нужды розог... Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секите, секите, а в ответ на это власть имущие в России говорят: все, кроме розог. И в результате этого противоре-

чия: страшная распушенность, разрушение авторитета отца в семье, пьянство, преступления и т. д.».

И это не дикий голос беглого сумасшедшего, которого по всему городу разыскивают служители желтого дома, а глас одного из идейных столпов эпохи Александра III, такого, чье мракобесие доходило до оппозиционности к «власть имущим в России».

Гимна розгам народ не пел. О необходимости их не вопил — вот под ними, под розгами, поротые покрикивали-таки, случалось, и нередко. Но то спокойное удовлетворение — точь-в-точь как у Людмилы Спиридоновой, — с каким Пахомов, сам только что битый, принимает известие, что за нерадивость или за неумение жене крепко достанется от городского, его врожденная убежденность, что палкой очень возможно исправлять нравы и даже учить ремеслу, его покорность, его готовность сносить этаким порядком — все это, увы, не злая выдумка сочинителя. И подобное состояние, которое прививало и не могло не привить рабство, Сухово-Кобылину было явственно видно и до презрительности ненавистно.

Превосходно высказался автор немногостраничной работы о нем Анатолий Горелов: «Наперекор гоголевской традиции Сухово-Кобылин не жалеет «маленького человека», ибо полагает, что в змеином обществе маленький человек отлучено оскотинится и станет преопаснейшей общественной чумой... Для Сухово-Кобылина нет проблемы «маленького человека» в его социальной подавленности, в его «униженности и оскорбленности»... Судьбу «маленького человека» драматург рассматривает без иллюзий: Гоголя он любил, но из его «Шинели» выпрастывался твердо и с саркастической улыбкой. «Маленький человек» для него если еще не каналья, то всегда к этому готов».

Сказано именно о таких, как Пахомов и Людмила. Но коли так, то при чем здесь главный герой моей статьи — Расплюев?

Что бы там ни утверждал Александр Васильевич (правда, как мы видели, порою отступаясь от собственных утверждений), а он мало похож на разорившегося барина. Непохожсть не в помещицкой его неосведомленности, которая так прелестно обнаружилась в беседе с Муромским; в конце концов он мог проживать деревенские денежки и в городе, в село не навдываясь. Как тот же Обломов. Но у него нет памяти о привольном и сытном

житье — не словесных воспоминаний, а памяти тела, памяти брюха.

Вот он весь — в похвальбах перед недоступным Кречинским:

«— А я, Михайло Васильич, из Троицкого завернул к французу, завился — а ла мужик... Ну извольте видеть, перчатки — полтора целковых дал... белые, белые, что есть белые...

— Совсем не нужно.

— Как же, помилуйте! как же-с! без белых перчаток нельзя; а теперь вот в ваш фрак нарядился.. извольте взглянуть...

— Ха, ха, ха!.. хорошо, очень хорошо. Смотри, пожалуй! а? целая персона стала».

Смех Кречинского донельзя красноречив: все это сидит на Иване Антоновиче, как седло на корове, глядится на нем до забавности непривычно, да и сам он нечаянно сознается в этом

«...Удивительный чернозем, то есть черный, черный... у! вот какой!» — это, как помним, скажется о земле, о пашне, которой он вовек не выдывал.

«...Белые, белые, что есть белые...» — а это о перчатках, которые видит на собственных руках, но не очень-то доверяет глазам, как перед зрелищем поданной ему в Троицком трактире уши и поросенка в неприкосновенности: я, мол, или не я?

«Совсем не нужно», — безапелляционно говорит Михайло Васильич, и он, увы, прав. Не нужно не только на этот раз, но вообще, как заморское кушанье, которого не переварить отечественному желудку, как оболочка, которую, как ни натягивай, не сделаешь с во ей, — в контрастном сравнении с теми, кто родился и воспитан таким, для кого фрак естествен, как собственная кожа.

Сам Александр Васильевич Сухово-Кобылин, живя в своем имении Кобылинке, выходил к столу во фраке и белом галстуке даже тогда, когда не было ни единого гостя, ни домашних, когда он был один-одинешенек, не считая, понятно, прислуги. Он так привык. Ему затруднительнее, чем всякий раз одеваться к обеду, было бы отвыкать от своих укоренившихся привычек. Именно укоренившихся; этакое приходит куда надежнее и уходит куда неохотнее, когда за ним уклад, сложившийся не при тебе одном: вон когда еще Фонвизин, посетивши Францию, неприязненно поражался, что некая тамошняя маркиза, если нету у нее гостей, не смущается спуститься, дабы пообедать, в собственную поварню!..

Расплюевское франтовство — франтовство

нищего. Гурманство — гурманство голодного, точнее познавшего-таки, что голод не тетка, не просто насыщающегося в трактире, а берущего честолюбивый реванш. Ему ведь важны и отрадны не одни поросенок да уха с расстегаями, но и то, что можно сесть посреди дивана, подпереться так... Словом: я или не я?

«В клубе пообедал отлично» — вот и все, что сообщит Кречинский Расплюеву пообедать мало, надо и описать пообстоятельнее, заново пережив нечастую сладость, и это по-человечески очень понятно — всем и во все времена.

Аристократ граф Лев Николаевич Толстой не опишет обеда у Тестова так, как казак Гиляровский, понавидавшийся лиха, — не испытает такой потребности, но и просто не сможет, ибо не прочувствует столь глубоко. Хемингуэй, Ремарк — их чрезмерные описания яств и напитков — это восприятие не только «потерянного», но и самым простым образом наголодавшегося поколения.

Расплюев — не человек верхов, катящийся вниз. Он человек низа, карабкающийся вверх. А лучше сказать: человек общественной обочины, проталкивающийся в середку.

«Расплюев вполне соответствует... персонажу слуги из старинной европейской комедии», — напишет Леонид Гроссман в книге 1940 года «Театр Сухово-Кобылина».

Нет!

Слуга — тень барина, пусть даже ворчащая и передразнивающая его, такая, каков хлестаковский Осип или обломовский Захар. Он не отдает своей воли; ее у него изначально нету — ни в жизни, ни в пьесе (конечно, кроме случаев совсем особых, вроде Фигаро, — но ведь не его же имел в виду Гроссман, а ситуации мирные, неконфликтные, к примеру, Дон Жуана и Станареля) В «Свадьбе Кречинского» эта вакансия занята камердинером Федором, и Иван Антонович на нее не претендует и претендовать не может.

Восхищаясь Михайлой Васильичем, служа ему, он все-таки продолжает существовать сам по себе. И в сюжете комедии, где он не аккомпанирует Кречинскому, а ведет свою — ответственнейшую — партию, и в той модели действительности, которой комедия является.

Он предается Кречинскому по собственной воле, если даже и принужден к этому бедностью и надеждой разбогатеть, да и ремеслом, в котором состоит у того в подмастерьях. Он счастлив служить, счастлив стать (стать, напомню, без волевых

усилий извне) рабом, и, если угодно, активное ощущение этого счастья есть расплюевское самовыявление, своеобразная его самостоятельность.

Тут вспоминаются слова Ленина о том, что раб, смиряющийся со своим положением и не восстающий против него, всего только раб и есть, в то время как раб, упивающийся своим рабством, тот хам и холуй.

Расплюев — добровольный холуй, который (когда наступит черед, то есть в «Смерти Тарелкина») станет торжествующим хамом. И будет тем агрессивнее торжествовать и являть свое хамство, чем счастливее был в холуях.

Он не бывший барин — ни по натуре, ни по манерам, ни по психологии. Не чета он — хотя бы в качестве участника сюжета — и слугам. Его жизненная родословная (кто? откуда? каких родителей сын?..) даже не важна, важно совсем другое — то, что в социальном, историческом смысле он «человек со стороны». Повторю: с обочины.

Он из новых, еще не вполне опознанных, оттого-то сам Сухово-Кобылин так колеблется — что в оценке игры Прова Садовского, что в определении расплюевской родословной.

В комедии «Свадьба Кречинского» Расплюев затесался в привычную схему: барин — слуга. Вклинился в промежуток между ними, графически обозначенный тире. В жизни, той, что отразилась в комедии и продолжает шуметь за ее пределами, он в той же — или похожей — роли. Ведь и там, вовне, схема общественного устройства: государь — дворянство — народ, — эта традиционная, стародавняя схема кривилась и ломалась на глазах Александра Васильевича Сухово-Кобылина в тот долгий для одного человека и быстролетный для всей истории срок, который был опущен ему лично. Возникали промежуточные прослойки, прежде не принимавшиеся во внимание из-за своей, казалось, немногочисленности, несущественности и бесперспективности.

Между государем и дворянством возник мощный слой бюрократии, понемногу вытеснявший и заменявший дворянство в его исторической роли и сословном могуществе. Между дворянством и народом возникали люди непонятной породы и пестрого происхождения: разоряющиеся дворяне, утверждающиеся мещане, — и Расплюев, откуда бы он ни пришел, особь этого типа. Новоявившийся люмпен без определенного места в жизни и в истории. Он без места

и потому способен на все. «Всегда готов», по цитированным словам нынешнего литературоведа. Наделен «даром утешаться», по выражению давнишнего критика, — утешаться после таких падений и унижений, которых человеку с чувством достоинства не пережить. В этом его сила. Жизнеспособность. И — задолго угаданная Сухово-Кобылиным опасность. Опасность «всегда готового» умения перемениться или, вернее, примениться. Черты, имеющей свое будущее.

...В знаменитом и знаменательном рассказе Зощенко «Землетрясение» речь идет о некоем Иване Яковлевиче Снопкове, спяну проспавшем час этого природного катаклизма. И сообщение о том, что он надрался как раз перед этим нерядовым событием, сопровождается невинной фразой: «Тем более он еще не знал, что будет землетрясение». Это сказано от лица человека, простодушно верящего, что к любой самой неожиданной перемене можно, если постараться, подготовиться.

Вольно или невольно (впрочем, конечно, невольно) эта уверенность получила отклик в другом произведении, в романе «Золотой теленок», в том эпизоде, где перепуганный призраком чистки канцелярист жалуется Александру Ивановичу Корейко:

«— Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику... Кто мог знать?»

— Надо было знать, — холодно сказал Корейко».

Но тут — другое дело. Другой человек. Корейко в данном случае демагог, и его демагогия, задним числом осуждающая непредусмотрительных, смешит Ильфа и Петрова. Как и Зощенко смешила демагогия его персонажа, стихотворца-самоучки из крестьян, похваляющегося чистотой крови и, стало быть, анкеты: «Бывало, даже смех вокруг стоит. „Да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других!“. — „Нет, говорим, знаем, что делаем!“».

В «Землетрясении» хитроумно-демагогических ухищрений в помине нет. Здесь естественно воплотилось самосознание — или самоощущение — «средних людей» (так определял статус своих героев Зощенко), всегда готовых к любому катаклизму и в этом автоматическом приспособлении обретающих жизнеспособность. Так что великая фраза — «тем более он еще не знал, что будет землетрясение» — наивно и мудро определяет превосходство социального опыта персонажа-рассказчика

перед опытом беспечного пьяницы Снопкова — «надо было знать»!

Сам Зощенко за своими персонажами попеть не мог. И, страдая профессиональным заболеванием сатирика — отвращением к миру, порою готов был завидовать спасительному автоматизму «среднего человека». Даже гораздо более того — автоматизму животного.

В книге «Возвращенная молодость» он рассказывает, как обезьяна в зоологическом саду, только что находившаяся в дикой ярости оттого, что некий перс ударил ее палкой по носу, мгновенно успокаивается, получив от сострадательной дамы кисть винограда:

«Довольство и счастье светились на ее мордочке. Обезьяна, позабыв обиду и боль, позволила даже коварному персу погладить себя по лапке.

„Ну-те,— подумал автор,— ударьте меня палкой по морде. Наверяд ли я так скоро отойду. Пожалуй, виноград я сразу кушать не стану. Да и спать, пожалуй, не лягу. А буду на кровати ворочаться до утра, вспоминая оскорбление действием. А утром небось встану серый, ужасный, больной и постаревший — такой, которого как раз надо поскорей омолаживать при помощи тех же обезьян!».

Эту главку своей книги Зощенко назвал «Не надо иметь воспоминаний». И снабдил ее таким комментарием: «Здоровый мозг (в данном случае, скажем, мозг обезьяны) имеет ту чрезвычайно резкую особенность, что он реагирует только лишь на то, что есть в данную минуту. Этот мозг как бы не помнит ничего другого, кроме того, что есть. Он имеет короткую реакцию». Вот определение самой сущности автоматизма. «Дара утешаться», говоря иными словами,— того дара, который как идеал психического здоровья измученный своими «воспоминаниями», то есть эмоциональной, болевой памятью, писатель видел в примате. И, к горечи своей, не видел в Гоголе, Фонвизине, Эдгаре По, Ницше, в себе самом...

Имя Зощенко, единожды уже всплывшее в связи с английскими фантазиями Ивана Антоновича Расплюева, вообще не могло не явиться в этой статье.

Сухово-Кобылин, как говорилось, вовсе не был склонен к трогательно-сентиментальному восприятию «маленького человека», каким порою и Расплюева изображали на сцене. Но ежели брать это прилипчивое звание не как словно бы уже заключенный в нем самом призыв жалеть, помогать и спасать, а как безэмоциональное обозначение определенного (хотя опреде-

ленного ли?) общественного слоя, различного по имущественному положению или происхождению, но сплоченного ощущением собственной шаткости, зыбкости, нравственной и социальной качательности, то куда же как не к Башмачкиным, Поприщинным, Девушкиным и Мармеладовым и приткнуть нашего Расплюева? И кем продолжить его литературную и историческую судьбу, если не персонажами Зощенко, Эрдмана, булгаковским Шариковым? Людьями, которые, как и он, ни то ни се или — и то и се. Людьями без твердой опоры, без определенного места — тем более рьяно ищущими его, не находящимися, однако уж если найдут, если им повежет, как Расплюеву, то...

У новейших, так сказать, послесухово-кобылинских исследователей «маленького» или «среднего» человека он воскрешен тревожно и трезво в своей пугающей или по меньшей мере предостерегающей двоякости. Порою клонящейся к тому, чтоб героя — все-таки несмотря ни на что, вопреки многому и многому — пожалеть, и вот, скажем, эрдмановский «самоубийца» Семен Семеныч Подсекальников (кстати, герой пьесы, откровенно и безбоязненно зачисляющей от «Смерти Тарелкина») то является в жалчайшем виде, способном вызвать только гадышность, то возвышает свой страдающий шепот до трагического — да, да! — пафоса. Порою же само по себе отсутствие почвы, этот источник несчастий всех бывлых Мармеладовых, агрессивно представлено как патент на первородство — не меньше того!

«Филипп Филиппович умолк...

— Отлично-с,— поспокойнее заговорил он. — Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента, Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман.

Вот! Это — самосознание самоутверждающегося ломпена, которому вполне достаточно того, что он ни то ни се, поистине ничто, дабы заявить свое право стать всем. Шариков не нэпман — кто посмеет это оппорить? И лишь потому — по его логике, заставившей озадаченно примолкнуть даже профессора Филиппа Филипповича Преображенского, — он «трудоу элемент». Он — новорожденный вакуум, социально держа-

щийся не наличием качеств, а их отсутствием.

Используя возможности фантастического сюжета, Булгаков буквально материализовал пресловутое «ни то ни се», этот общечеловеческий пробел, размахнув амплитуду качательности от милейшего пса до невообразимого пакостника с собачьим... Э, нет, не так! То-то и оно, что не так! «Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!» А своеобразный хеппи-энд повести в том, что «заведующий подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ» Полиграф Полиграфович Шариков вновь возвращен в лоно природы, в состоянии «ничего», где он, освобожденный от необходимости отвоёвывать место в человеческом мире, опять обращается в псамягу, ничуть не раздражающего нас воинственными претензиями.

Хеппи-энд есть хеппи-энд, и в согласии с ним рука экспериментатора — уже не профессора Преображенского, а писателя Булгакова — навела порядок во вздыбившейся было жизни. Не дав возможности (по крайней мере в повести) свершиться ужаснейшему Вернее, огсрочив это ужаснейшее. Именно то, что сам профессор предвидел с отчетливостью заставляющей предполагать, что его политическая наивность мнима:

«— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обрабатает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только геперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-ни будь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера то от него останутся только рожки да ножки»

Да, у Полиграфа Полиграфовича прямой и ближайший путь в швондеры в «идеологию», а потом дальше Швондера, ибо и этот крутолобый болван вскоре окажется перед чистопородным приемником кем-то вроде растерянного интеллигента. И именно по той причине что любую, говоря зощенковским языком, «центральную идею» Шариков «всегда готов» низвести до своего уровня и обратиться на практическую пользу себе; гарантией этого будет без-

думный автоматизм, с каким он эту идею воспримет, становясь в реальной нашей реальности материалом и опорой худшего, что произойдет в стране за долгие годы. Возникая в роли то оголтелого «коллективизатора», стригущего под ноль, режущего по живому, то глашатая предвоенного шапкозакладательства, то идеального исполнителя бюрократических инструкций, то носителя якобы национального духа, выраженного в презрении и ненависти к чужому, то... Мало ли у него, такого легкого на подъем, воплощений?

За границами фантастического сюжета, своеобразно трансформирующего действительность, в условиях хотя бы относительного жизнеспособия усвоение-искажение «центральных идей» будет происходить незаметнее и по видимости безобиднее.

В рассказе Зоценко «Гримаса нэпа» железнодорожная публика благородно возмущена тем, что некий тип с усками грубо обращается со старухой домработницей:

«Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усками, и берет его прямо за грудки.

— Это,— говорит,— невозможно допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа».

Но не только остывает, а и страшно смущается, узнав, что старуха приходится усатому матерью

«— А пес,— говорит,— ее разберет! На ней афиша не наклеена — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит: — Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся».

Самое любопытное и печальное, что в пародию обращено подлинное, глубоко человеческое чувство. Примерно такое же, которое испытал однажды сам Зоценко (вот несчастный случай, когда рассказ написан от лица автора или того, кто целиком симпатичен автору). В бильярдной он без удовольствия, но спокойно наблюдал, как один игрок потешался над другим, а возмутился лишь тогда, когда узнал, что второй подначален первому: «Я подошел к выигравшему и сказал ему:

— Я не знал, что это ваш шофер. Я думал, что это ваш приятель. Я не позволил бы вам устраивать такие номера».

Здесь все по-человечески нормально. Равный волен подчиняться равному, и совсем

иное дело — унижение человека зависящего. А в «Гримасе нэпа»? Ведь то, что старуха — предполагаемая прислуга, пустяковейшая частность по сравнению с главным: молодой, здоровый мерзавец помыкает старой женщиной. Прекрасная идея классовой защиты — только потому, что воспринята, вновь повторю, автоматически, — не только не поддержала изначально добрых чувств, но приглушила или, верней, оглушила их, перенаправила и дезориентировала. Лучшее в человеке приняло обличье худшего — метаморфоза, весьма заслуживающая изучения...

«Средние люди» Зошенко или Эрдмана не злодеи, даже если творят зло; куда им! Они пусть и не взывают к жалости, но достойны ее. В этом смысле их создатели — сами порождения гуманнейшей из литератур... Да и плацдарм, на котором действуют эти герои: коммунальные кухни и коммунальские подотделы, — те ли это места, где способны родиться и развернуться Макбеты и Ричарды?

Что до Булгакова, то он, со страхом и яростью разглядевший вплотную Шарикова, не предоставил ему, как говорится, режима наибольшего благоприятствования.

Как известно, Горький, обрадованно встретив повесть «Роковые яйца», посетовал тем не менее, что «поход пресмыкающихся на Москву не использован». Однако и в «Собачем сердце» новый поход нового пресмыкающегося по тем или иным соображениям также был насильственно пресечен. В истории, в реальности, не обладающей счастливой возможностью ограды рамками художественного сюжета, этого, разумеется, не произошло.

Автор этой статьи испытывает сильнейший соблазн не откладывая, дотошно проследить весь дальнейший путь расплюевщины, которая, если вдуматься, не уже обломовщины или хлестаковщины, — статьи, однажды и было сказано: «Расплюев везде, как везде Хлестаков». У этой, если угодно, общественной болезни долгая, вовсе еще не кончившаяся история, у нее очень различные симптомы, и заражает она собою весьма разные слои общества. Даже такие, куда вход ей, казалось бы, запрещен изначально, навечно и намертво, ибо уж они-то по самой своей природе были неотрывны от породившей и крепко держащей их родной почвы (почвы не в метафорическом, но самом буквальном смысле) или от твердого нравственного стержня, чья твердость определена традиционно преследуемой целью, даже —

миссией. Да что говорить в общих словах, если они перед нами в живой своей конкретности, в том числе художественно воплощенной: абрамовские мужики, разлюбившие мужицкий груд, переставшие его уважать (а вернее и горше сказать, обездоленные теми, кто это уважение у них отнял), «архаровцы» Распутина, полугорожане-полукрестьяне, ни то ни се, ранящие душу Евгения Носова, трифоновские интеллигенты, то есть давно уже полуинтеллигенты, псевдоинтеллигенты, не интеллигенты...

«Расплюев везде» — это звучит как предостережение или как диагноз, разумеется, если учесть, что речь о целом комплексе качеств, в котором и пытается разобраться эта статья. Он комплекс, может являться, что называется, и «слева» и «справа», среди исторически беспамятных и среди тех, кто тяжело дискредитирует святое и, что не менее важно, общечеловеческое, общекультурное понятие памяти; индивидуума, клейменного расплюевщиной, можно отличить не по лозунгам, которые он фрондерски выкрикивает или с чинным достоинством несет в общей колонне, — лозунги бывают самыми что ни на есть противоположными, — но по тому, что он «всегда готов» приспособиться и превратиться, этой универсальной готовностью немедленно опошляя то, к чему приспособливается.

Словом, о таком хочется, стоит, надо писать — да и пишется; мне кажется, именно этой проблемой, этой болезнью как раз и заняты многие публицисты, социологи, экономисты, политики, озабоченные судьбой спасительной для общества перестройки. Но, оставаясь верным своему замыслу и остерегаясь опасности безгранично и неощутимо растечься мыслью, я надеюсь, что чем проблема болезненнее, чем больше она наболела, тем любопытнее... Да что там! Тем полезнее всмотреться все в того же неисчерпаемого Ивана Антоновича Расплюева, оказавшегося, на нашу беду, зорким предвидением.

Тем более что как объект рассмотрения он так хорош, нагляден, крупен. Уж для него-то Сухово-Кобылин не пожалел, не урезал простора, дабы размахнуться душой: «Всю Россию потребуем...»

Итак, он без места, без стержня, без почвы — и потому способен на все. На роль осведомителя и лжесвидетеля в деле Муромских. И на службу в полицию.

«Сухово-Кобылин, — было сказано в год смерти Александра Васильевича, — уловил в

Расплюеве ту крайнюю степень беззаботности, которая не то что примиряет, но делает возможным существование расплюевщины. Расплюевщина — это то же, что французское *je me n fiche* (можно перевести так: наплевать. — Ст. Р.), полная беззаботность насчет морали, каких-либо правил, какого-либо самоуважения.

Беззаботность, беспечность — кажется, простительнейший из недостатков, да и точно ли недостаток? Во всяком случае всегда ли? Впрочем, ежели и всегда, ежели он чреват весьма нежелательными последствиями, то его в самом деле так и тянет извинить по человечеству, как мы извиняем ребенка, лишенного опыта, его естественную нравственную неразвитость, способность быть и хладнокровно жестоким и трогательно доверчивым.

А Расплюев именно что доверчив, и как раз эта доверчивость — к собственному ли образу неустанно боксирующей Британии или тем более к обещающей Кречинского, разбогатеет, тотчас отвалить Ивану Антоновичу двести тысяч, — обеспечивает ему наш веселый смех, никак не располагающий человека к ненависти, а то даже и сочувствие. Участвует в создании его странного, но несомненного обаяния, приущего комическим простакам.

Обеспечивает и участвует до поры до времени. До «Смерти Тарелкина»

Что такое доверчивость? В любом случае — односторонность, объясняется ли она замечательной добротой сердца, предпочитающего видеть в людях одно хорошее, или предвзятостью ограниченного ума, не согласного пополнять запасы своих наблюдений, дабы не потревожить и не порушить твердо сложившегося мнения... Правда, слово «ограниченный» вовсе не означает малый — ни в коем случае! Мы ведь помним не только дикий английский миф Ивана Антоновича Расплюева, но и недружелюбную настороженность по отношению к неизвестной Франции со стороны великого и умнейшего Дениса Ивановича Фонвизина, что, бдительно повторю еще раз, не унижает ума и величия сатирика, зато указывает на неанекдотичность, несчастность заблуждений Расплюева, не объясняющихся индивидуальной глупостью или темнотой сатирического персонажа

Да. Расплюев доверчив, но, как многие даже и не чета ему, главным образом к первому, поразившему его или понравившемуся факту. И, естественно, к тем, которые рядом с этим фактом согласно ложатся. Доверчив до очевидной чрезмерно-

сти, на что и пеняет ему, занявшему в «Смерти Тарелкина» пост квартального надзирателя, наставник, частный пристав Антиох Елпидифорович Ох:

«— Ты смотри — правило: при допросах ничему не верь.

— А я вот на это слаб; всему верю.

— Не верь, говорю. Я вот как: приди ты и скажи, вон, мол, Шатала пришел; так что ж? — ведь я не поверю: я пойду и посмотрю.

— А я не так. Вы мне вот скажите, что вон его превосходительство обер-полицеймейстер на панели милостыню просит — ведь я поверю. Взять, мол, его! Я так за ворот и сребу.

— Обера-то! Что ты, что ты!..

— Не могу. Нрав такой».

«Ничему не верь» — это, разумеется, служебный девиз не одного Оха; известный в свои времена публицист, человек круто реакционных взглядов (реакционных — так что здесь не какой-то там либерал позволяет себе критику слева!), К. Ф. Головин писал о графе Дмитрие Андреевиче Толстом, который в 1882 году, с началом эпохи Александра III, был назначен министром внутренних дел и шефом жандармов: «Он принципиально не доверял почти никому и лишен был того внутреннего подъема, который один способен внушить и поддерживать плодотворную мысль. Броня предвзятого недоверия его охраняла от чужого влияния».

От чужого — но ведь не от чуждого, а от влияния круга единомышленников и единоверцев. Не доверял — но ведь не посторонним, не дальним, не неизвестным, а окружающим, приближенным, своим. Чем же, скажите, не иллюстрация к этой броне недоверия наш Антиох Елпидифорович? «...приди ты и скажи, вон, мол, Шатала пришел... не поверю...» Расплюев же, как мы убедились, чужому — нет, опять-таки не чужому в полном смысле слова, а близкому, родственному, непосредственно начальническому влиянию подвержен весьма и весьма, до кажущегося идиотизма — куда уж дальше, если по первому слову готов схватить за ворот самого обера? И вот замечательный, зоркий, злой парадокс Сухово-Кобылина: Иван Антонович доверчив к идее тотального недоверия.

Ох — рассудителен, Расплюев — пылок, и оттого он еще последовательнее выражает полицейскую логику, согласно которой... Но лучше вспомним и повторим снова и снова! «Всякого подозреваю... Всякого подвергать аресту... Всякую Россию потре-

буем...» — да, именно всех и всю, без исключения и разбора, потому что, допусти разбор, сделай исключение, и пошатнется завидная стройность системы внутренней безопасности.

«Что ты, что ты!..» — урезонирует расходившегося Расплюева Ох и хотя делает это весело, ибо утопия, сладко грезящаяся неوفиту дознания, тешит и его профессиональное самолюбие, но он уже уступил, уже спасовал перед подчиненным и, вероятно, преемником, притом небезопасным для него (как Шариков был опасен для разбудившего его к «общественной деятельности» Швондера). Потому что Расплюев по простоте, как бы наподобие юродивого, оказывается вдохновенным проводником полицейского идеала, не только обнаруживает родство с высокими столпами порядка, но предвосхищает их. Это когда еще памятный нам князь Мещерский скажет: «Вся Россия горьким 20-летним опытом дознала, что суд присяжных — это безобразия и мерзость... Куда ни пойдешь, везде в народе один вопль: секи те, секи те...» И сколько еще предстоит прожить Каткову, пока на смертном одре перед расставанием с бранным телом его бессмертный дух выразит свое кредо и заповедает завещание: «Прошу единомыслия».

Правда, Каткова обгонит еще и Козьма Прутков, чей проект «Введения в России единомыслия» появится в некрасовском «Современнике» в 1863 году, за шесть лет до окончания «Смерти Тарелкина». И Иван Антонович крепко сойдется с Козьмой Петровичем в смелости, с какой оба станут именно предвидеть и прорицать, поторапливать верховную власть и даже укачивать ей, что она обязана делать в своих собственных интересах.

Это смелость людей, стоящих справа.

В фельетоне Власа Дорошевича купечерносотенец требует от губернатора запрещения богохульной оперы «Демон» и в патристическом своем запале не шадит — по-расплюевски — самих вышестоящих властей:

«— Да ведь на казенной сцене играют! — защищается губернатор. — Дубото! Идол! Ведь там директора для этого!»

— Это нам все единственно. Нам еще не известно, какой эти самые директора веры. Тоже бывают и министры даже со всячинкой!

— Ты о министрах полегче!

— Ничего не полегче. Министры от нас стерпеть могут. Потому, ежели какие кадюки или левые листки, — тем нельзя. А нам можно. Наши чувства правильные.

Мы от министров чего? Твердости! Ну, и должен слушать».

У увлекающегося — но куда? направо! — Расплюева тоже «правильные» чувства. И он тоже хочет от власти «твердости»: «Правительству вкатить предложение: так, мол, и так, учинить в отечестве нашем поверку всех лиц: кто они таковы? Откуда? Не оборачивались ли? Нет ли при них жал или ядов. Нет ли таких, которые живут, а собственно уже умерли, или таких, которые умерли, а между тем в противность закону живут»

Это расплюевский «проект о введении...». Он договаривает за власть не договоренное ею. Он выражает то, что она, находясь в трезвой памяти, не признаёт за свое мнение, то, чего она покуда даже не хочет, но к чему ее неуклонно влекут победоносцевы, катковы, мещерские, враги «преступных» реформ 60-х годов, и чему она, хотя бы в царствование Александра III, будет противиться все меньше и меньше.

Но Расплюев не только справа, то есть сбоку, рядом. Он — на д.

О «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылин мог бы сказать то же, что сказал о драме «Дело»: «Предлагаемая здесь публике пьеса... есть в полной действительности сущеe из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное дело» И еще: это «моя месть... Я ненавижу чиновников».

Александра Васильевича, слава богу, не пытали, как Пахомова в комедии-шутке или его собственных крепостных в московской серпуховской части, но этот ужас жил вокруг него, долгие годы находившегося под следствием по делу об убийстве его любовницы Луизы Симон-Деманш, нависал над ним, грозил каторгой — был то есть и его судьбой тоже. Расплюев и Ох — личное отмщение измучившим его следователям карикатурно-буффонное изображение их, ничуть тем не менее не преувеличившее сути «инквизиционного процесса», где все уловляемые пугающе равноправны или равно бесправны перед ловчими: крепостные крестьяне и их знатный владелец, дворянин Сухово-Кобылин, «маленький человек» дворник Пахомов и его превосходительство действительный статский советник Максим Кузьмич Варравин...

Да! И он, который в «Деле» был виртуозом крючкотворства гением взятки и грозой подчиненных да и в «Смерти Тарелкина» остался на прежних ролях, при своих, — недаром в самом начале комедии-шутки в убийственном диалоге автор дал

ему возможность любовно и грозно взвесить значение своего чина. Затем, чтобы тут же внушительно долбануть им по маковке ближнего, в данном случае — старуху кухарку:

— Поди сюда, глупая баба

— Слушаю, батюшка.

— Знаешь ли, кто я?

— Не знаю, батюшка.

— Я генерал.

— Слушаю, батюшка, вашу милость.

— Знаешь ли, что такое генерал?

— Не знаю, батюшка, ваша милость.

— Генерал — значит, что я могу тебя звать и в ступе истолочь».

И глупая баба поступая вовсе не глупо, бужалась в ноги: «Пощадите, батюшка, ваше сиятельство».

Случилось, однако, что по ходу интриги Варравин, прибегший к оговору своего врага Тарелкина, сам ответно оговорен им, и тут Расплюев вновь, уже на деле, выказывает свою доверчивость. Он вполне готов внять тарелкинскому оговору и последовать совету подследственного мстителя: «Вы, говорит, его освидетельствуйте, генерала-то...»

«Ну что же?» — полюбопытствует пристав Ох, опять отставая от Ивана Антоновича в раже и рвении, а тот заключит: «Будем свидетельствовать, ха, ха, ха!»

«Оба хохочут», — отметит в ремарке автор, вовсе не принудивший Оха испуганно или гневно укоротить Расплюева. Мысль, что и генерала можно освидетельствовать, то есть придавить, припереть, а коли удастся, то и взять с него, — эта мысль еще, пожалуй, кажется ему странной, но не невозможной. Не утопической.

В самом деле. Я сказал прежде о разнужданной мечте Расплюева: полицейская, дескать, утопия. Но почему же непременно утопия? Может быть, просто крепкая память? То, чего не может и не желает забыть полиция? То, что и обыватель российский помнит — спиной, боками, загривком? А именно — что «настоящего суда не было, а была одна только всевластная, всемогущая полиция, — как скажет знаменитый судебный оратор Спасович, имея в виду времена до судебной реформы 1864 года. — ...Расправа с подсудимым и начиналась и кончалась в полиции».

Да. Крепкая память — и оптимистическая надежда расплюевых: так было, так будет. Надежда, как выяснится, не обманувшая. Царское самодержавие есть самодержавие полиции, подведет спустя время итоги Ленин.

О пленении Варравина Ох и Расплюев

всего лишь весело взмечтали, не более. В эту сторону сюжет комедии не свернул. Однако зарубка на память осталась.

«Ничто так не веселит, как вид человека, приведенного к одному знаменателю» (Щедрин, «Письма к тетеньке»).

Когда-то, в драме «Дело», прожженная канцелярщина Тарелкин убедительно разобъяснил свояченице Муромского Атуевой, что, заявившись она с просьбой в переднюю к сановнику, ни за что не посмеет присесть иначе как на кончик стула. «Отчего же, сударь, на кончик? — встопорится та. — И я во весь стул сяду... Я не экономка какая. Мой отец с Суворовым Альпийские горы переходил». На что Тарелкин скептически отпаривает: «Положим даже, что он их с Аннибалом переходил, а все-таки во весь стул не сядете, ибо — дело, сударыня, имеет!» То есть, оказавшись в роли просителя, человек предстает как бы нагишом — без родовых и личных заслуг, без прав, без твердой надежды, что справедливое дело будет выиграно (так как оно справедливо), без себя самого.

Потом там же сам сановник, Князь, наглядно докажет челобитчику Муромскому, что бумага, «дело» важнее и содержательнее человеческих болей и страданий; что идея справедливости по-бюрократически не существует без обезлички, собственно, в ней-то и заключааясь; что равенство перед законом — это равенство ничтожеств, тех, кто обращен в ничто.

В «Смерти Тарелкина» предстает иная, новая ступень этого страшного равенства — еще страшнее, потому что оно состоит не в обидной ничтожности, а в опасной беспомощности. И не в том только дело, что вкупе с ничтожествами к одному знаменателю могут быть при нужде приведены и те, кто попирает их пятой; вернее, и это обстоятельство лишь подтверждает особенное могущество силы, представленной здесь Охом и Расплюевым: она вне общепонятной иерархии, вне видимых закономерностей, хотя бы и таких уродливых, как бюрократическая...

Племянник Сухово-Кобылина, упоминавшийся нами граф Салиас, объяснял, отчего Расплюев получил в «Смерти Тарелкина» именно должность квартального надзирателя, не более того: «Александр Васильевич сделал его квартальным потому, что высший чин был бы уже совершенно нецензурен. Под видом квартальных и частных приставов он намекал на лиц гораздо более высших. Помните, когда Расплюеву поручается произвести след-

ствие...— как он расправляет крылья? Как он всех начинает держать в подозрении, всю Россию? Он мечтает, как арестует всех — правых и виноватых,— разве это не похоже на наших многих администраторов? Ведь критики отнеслись к «Смерти Тарелкина» с кондачка, смотрели на нее как на пустячок — а проглядели, что это сатира почище щедринской».

Критики критиками, сатира сатирой, тут не о чем спорить. Да и что касается тайны замысла, не уступающей тайне исповеди... Кто теперь скажет, по каким в точности соображениям получил Расплюев свой чин? Кто и тогда мог утверждать это — кроме хранителя тайны, автора? Одно, впрочем, ясно: вознесись Иван Антонович несколькими ступенями выше, ему было бы лестно, а комедия проиграла бы. Крупно.

Не просто о том речь, что Расплюев, таков, каков он есть, не слишком годится в полицмейстеры или вроде того, не говоря о лицах «гораздо более высших»; между прочим, в «Деле» Сухово-Кобылина не постеснялся вывести генерала, министра и сверх того лицо, при упоминании о котором якобы «всё и сам автор безмолвствует». Показавши низовую полицейскую власть, получающую такие полномочия, внушающую такой страх и смело лелеющую и открыто высказывающую такие мечты, он замахнулся не на чин, как бы тот ни был высок, но гораздо выше. И шире — на устойчивое положение вещей.

«...У нас возведена чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции (разрядка моя.— Ст.Р.), тогда как с другой стороны, одно слово «полиция» в мнении народа и на самом деле стало синонимом отъявленного грабежа, взяточничества, насилия и всякого беззакония.. Генер.-губернатор видит в обер-полицмейстере отражение своей личности, а этот последний стоит уже, как за самого себя, за частного пристава и квартального, которых не совестится наедине осыпать площадною бранью, за городского и будочника, которых бьет собственноручно».

Выглядит совсем как постраничный комментарий к «Смерти Тарелкина», но нет, это свидетельство современника, явившееся на свет десятию годами раньше пьесы в Лондоне в неподцензурном сборнике Герцена и Огарева «Голоса из России» И современник из тех, что знает дело, ибо он не кто иной, как молодой правовед Константин Петрович Победоносцев; да, и ему в дореформенную эпоху довелось по-

бывать в тайных герценовских корреспонденциях.

Между прочим, нечаянным комментатором он оказался и по отношению к самому Герцену, к некоторому обстоятельству его судьбы.

«Власть щедрою рукою рассыпана у нас повсюду,— жестко пишет будущий «Бедоносцев для народа»,— от министра до будочника — на каждом шагу встречается лицо, облеченное всею неприкосновенностью власти».

Вот с будочником-то — с лицом куда более прикосновенным, чем даже Расплюев, вообще ничтожным, если считать по обычной иерархии, и вышла драматическая оказия

Когда в 1841 году Александра Ивановича Герцена арестовали уже во второй раз, причина была непонятна ему самому. Она не горопилась проясниться и тогда, когда чиновник особых поручений при Третьем отделении читал ему нотации укоряя в неблагодарности к правительству, возвратившему его из ссылки.

— Ежели вы можете мне объяснить,— прервал его Герцен,— что все это значит, вы меня очень обяжете, я ломаю себе голову и никак не понимаю, куда ведут ваши слова или на что намекают.

— Куда ведут?.. Хм... ну, а скажите, слышали вы, что у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека?

— Слышал.

— И, может, повторяли?

— Кажется, что повторял.

— С рассуждениями, я, чай?

— Вероятно.

— С какими же рассуждениями? Вот оно — склонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание...

— Помилуйте... какое тут сознание, об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?

— Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами...

Можно ли представить себе, чтобы такое говорилось в случае, убей прохожего не полицейский солдат, а гражданский чиновник, хотя бы и много выше чином,— ну, конечно, в неких иерархических пределах, не действительный же статский советник?! И Леонтий Васильевич Дубельт, сказавший тогда же Герцену: «Вы из этого слуха сделали повод обвинения всей

полицейский», — усмотрел бы он обвинение всей ученой части или даже армии, соверши преступление какой-нибудь школьный учитель или даже пехотный офицер?

Вот она — возведенная «чуть ли не в степень догмата безответственность не только высших, но и низших чинов полиции...». Вернейший признак того, что с общественной свободой положение хуже некуда, как и нарушение этого «догмата» свидетельствует надежным образом, что общество к свободе двинулось.

Будочник, которого его начальство рассматривает как лицо, воплотившее для народа престиж власти, власти вообще, и квартальный, смело мечтающий о поголовном аресте всех россиян, — они представители силы, ощущающей себя не то что над народом, это само собой, но — над государством. Квартальный, будочник, подножия полицейского могущества, — даже они!

И они, увы, не ошибаются: такова страшная магия одной лишь причастности к карательному департаменту, цепенящая к нему непричастных.

«Ну, разве что отвечать-то будет... Ну разве городской палку возьмет...» Так зачарованно отзываются Людмила Спиридонова и дворник Пахомов на успокоительные слова Оха, пообещавшего, что коли пахомовская супруга не сумеет выместить улицу, а соседка-стервотинка уморит Людмильных детей (то вездеход их не минует). И, смирившиеся в своей покорности, они смешны и отвратительны, — однако взглянем же и на логику, столь властно их покорившую. Полицейскому Оху совершенно не важно, что будущие подданные государства российского перемрут, его ничуть не беспокоит, что палка городского навряд ли сумеет обучить Пахомиху дворничьему ремеслу и улица останется не метена, важно, что злодейку соседку за то засудят, а дворничиху поколотят. Только это!

Логика, хорошо знакомая нам по области бюрократической, где «дело» важнее самого человека, — но еще и страшнее по результату. Вот он, результат: высвободившаяся от уз здравого смысла и от государственной пользы, утратившая даже память о нуждах правосудия, зажившая самопроизвольно, сама для себя безответственная карательная функция.

Еще и еще раз: «Всякого подозреваю... Всякого подвергать аресту... Всю Россию потребуем...» — в устах представителя иной службы это, возможно, выглядело бы не страшным, а всего лишь смешным

бредом. У Расплюева, ощутившего подобные притязания вопреки всем видимым обстоятельствам, включая малость его собственного чина, именно кажущаяся наглая нелогичность, именно «вопреки» зловеще напоминает о самой что ни на есть сущей действительности.

Чем мельче такой мечтатель, тем реальнее сила, которую он чувствует — в себе и за собою, и вот для воплощения именно этой силы, ее, казалось бы, абсурдной, но неумолимой логики Сухово-Кобылину понадобился не кто иной, как Иван Антонович Расплюев. «Маленький человек», прежде гонимый за нелады с законом, но с неубывающим «даром утешаться», наделенный «полной беззаботностью насчет морали, каких-либо правил, какого-либо самоуважения», «всегда готовый» ко всему на свете и справедливо видящий в этой готовности свое возможное торжество...

«Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылин закончил в 1854 году, «Дело» — в 1861-м, «Смерть Тарелкина» — в 1869-м. Связавшая их нить не оборвалась вместе с финалом третьей пьесы, она тянулась в размышлениях автора — потому что тянулась в жизни. И в последнем десятилетии века вдруг завязалась узелком в памфлете «Квартет», писавшемся, переписывавшемся да так и оставшемся в бумагах Александра Васильевича.

Последнее, впрочем, ничуть не удивительно, учитывая содержание и интонацию «Квартета»: «Ну, естественно — Распределение Ролей такое: Осел — стало, Председатель и Князь. Козел — Поп; Мартышка (в Очках) — Либрал, и косопалый Мишка. Ну этот Косопалый ежесекундно меня утешает и Надежды подает... Сели они Вечерком под Липки — стало, сельская Обстановка — это в Моде. Ударили в Смычки: дерут, а толку нет... Ребята, стой! Стой! Вы не так сидите... Ты, Мишенька, того... А ты, Осел, того!!! А ты, Мартышка, цыц! Не зуди.. Стало, Реформа! Иначе сказать: в Будущем объявлено Благоденствие, а в Настоящем покуда: Ура-ааа!!! Клоповники вскипают и образуют Общества «Поощрения Труда», которые тут же и объедают... Пауки переносят свои Паутины на свежие Места Грабительства... Переворот... Водоворот: Воды Толчение... Мартышек Умиление... Чиновников Умножение... Всеобщее Разорение... Заключение —

Картина — Апофеоз!

Ночь. При зловещем рембрандтовском Освещении. Рак Чиновничества, разьевший в одну сплошную Рану великое Тело Рос-

сии, едет на ней верхом и высоко держит Знамя Прогресса!..»

О бедственном состоянии «великого Тела России» и о причинах бедственности Сухово-Кобылин говорил впрямую и прежде — устами персонажа «Дело», мудрого мужика Ивана Сидорова: «Было на землю нашу три нашествия: набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли; а земля наша что? и смотреть жалостно: проболела до костей, прогнила насквозь! продана в судах, пропита в кабаках, и лежит она на большой степи, неумытая, рогожей укрытая, с перепоя слабая».

Да Александр Васильевич как раз и подумывал поместить «Квартет» после пятого акта «Дела», знаменуя этим, что «отжитое время» (как осторожно было переименовано «Дело» при постановке на сцене), к несчастью, не отжило, а заодно обозначая и прямую связь драмы с комедией-шуткой, с фарсом «Смерть Тарелкина». Потому что сам говорил: в «Квартете», этом российском апокалипсисе, оседлавший страну и народ чиновник есть Расплюев. Апофеоз «Квартета» — апофеоз Расплюева. Тот, о котором он и возмечтал

однажды — с такой, казалось, полудетской наивностью, что даже его многоопытный начальник всего лишь благодушно рассмеялся...

Авторские самооценки совсем не обязательно бывают исчерпывающе верными, имея простительную склонность смешивать неотложность рождающейся мысли с ее воплощенностью и значительностью, но они всегда выдают эту мысль, эту боль, которая преследует писателя и толкает к творчеству Сухово-Кобылин, которого всю его жизнь преследовала двусмысленная слава создателя блестящей, но одной-единственной комедии, рядом с которой две последующие вещи блекнут и никнут, утверждал, объясняясь и защищаясь: «Дальнобойность этой пьесы (то есть, конечно, «Смерти Тарелкина», она же на суворинской сцене — «Расплюевские веселые дни». — Ст. Р.) превосходит «Свадьбу Кречинского». В «Кречинском» нет такой страницы, какая явилась в «Веселых днях» в крике чиновника «все наше!». Я могу смело сказать, что такой страницы в России не писано. Тем более что современные политические дела говорят то же самое. Чиновники уходили и разорили страну».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Грекова. Расточительность таланта.— **Д. Самойлов.** О «Творениях» Велимира Хлебникова.— **Андрей Василевский.** В защиту чуда.

ПОЛИТИКА И НАУКА

П. Гайденко. Сввоз призму техники.

Литература и искусство

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ ТАЛАНТА

Татьяна Толстая. «На золотом крыльце сидели...» М. «Молодая гвардия». 1987. 191 стр.

Перед нами — первая книга Татьяны Толстой, молодой писательницы, сравнительно недавно появившейся на нашем литературном горизонте, но уже заставившей о себе говорить и спорить.

Я не профессиональный критик, в мою задачу не входит детально и доказательно анализировать творчество привлекшего мое внимание писателя. Эти заметки — только непосредственный, эмоциональный и, разумеется, субъективный отклик на прочитанное, попытка суждения прозаика о прозаике.

Что прежде всего бросается в глаза при чтении рассказов Т. Толстой? Это своеобразный, яркий талант автора. То, что писательница очень талантлива, кажется не отрицает никто, даже те, кто в целом ее творчество не принимает. А такие есть, их не может не быть — слишком уж эта проза причудлива, не похожа ни на что знакомое. Проза своеобразная, неупорядоченная, странноватая и вместе с тем отточенная до щегольства. Стилиевые особенности рассказов Т. Толстой настолько ярки и необычны, что в первую очередь привлекают внимание. Читаешь и удивляешься: в чем тут секрет? Какими приемами, какими словесными средствами достигает автор незаурядного эффекта?

В современной критике слово прием не в моде. Когда-то опозовцы целые труды посвящали вопросу о том, как сделана та или другая вещь (скажем, «Шинель» Гоголя). Нынче критика ничтожно мало внимания уделяет технологии писательского мастерства. Главным, по молчаливому уговору, считается вопрос о том, что именно хотел писатель сказать своим произведением и насколько это ему удалось.

Вопрос о том, как это сделано, какими словесными средствами достигнуто, считается словно бы не совсем приличным. Нарушая традицию, начну с попытки раскрыть секрет писательской технологии Татьяны Толстой. Задача трудная и вряд ли в полном объеме мне под силу. Кое-какие соображения приходят в голову, но что-то все-таки остается непознанным, загадочным; но не эта ли не до конца ясность — один из признаков настоящего искусства? Обаяние литературного произведения чем-то сходно обаянию человеческой личности, которое тоже трудно обозначить словами.

Мне кажется, что обаяние прозы Т. Толстой (а оно несомненно!) в большой мере связано с неожиданностью словесных сближений. Читая, то и дело наталкиваешься на экзотические, выразительнейшие словосочетания вроде: «Благородный старик смот-

рит тоскливым дворянским взором» («Охота на мамонта»); или: «В шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце днем и ночью с тобой» («Крут»); или: «Федя сидел у телевизора и не хотел писать диссертацию, а за окном то валила ватная метель, то проглядывало сквозь летние облака пресное городское солнце» («Огонь и пыль»); или: «Перцу дожидаться, — строго отвечала она ледяной верхней губой» («Соня»). Каждая из таких фраз поражает меткостью, изобретательностью, новизной; их можно было бы выписать из книги великое множество — она почти вся из них состоит.

В послесловии к сборнику критик А. Михайлов высказал ряд верных мыслей о творчестве Т. Толстой, но с одним из его утверждений я никак не могу согласиться: «Т. Толстая пишет жестко, скупо, опровергая все наши невольные стереотипы так называемой женской прозы». Оставим «стереотипы» на совести критика, обратим внимание на характеристику «скупо». Мне кажется, что Т. Толстая пишет отнюдь не скупо, а, напротив, роскошно-расточительно. В ее рассказах обильно теснятся вещи, их признаки, ассоциации, людские портреты, пейзажи, попевки, звукоподражания.

Очень своеобразен язык писательницы. Бросается в глаза обилие прилагательных; они скапливаются в больших количествах, теснятся, налезает друг на друга, иной раз друг другу противоречат, сталкиваются с существительными в парадоксальных сочетаниях. Целое буйство прилагательных; в соседстве с ними и существительные теорят свой привычный облик, дичают, а то и совсем пропускаются. Например, о внушающем отвращение человеке: «Маленькое, мощное, грузное, быстрое, волосатое, бесчувственное животное» («Охота на мамонта»). Или — в том же рассказе: «...художник расставлял на низком столике шаткие керамические стаканчики, расчищал локтем несвежее пространство. Пили невкусное, заедали твердокаменными кусочками чего-то позавчерашнего». Или — о купленном в магазине цыпленке: «...нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли, ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги» («Петерс»). А вот великолепное, прямо-таки пиршественное описание дома эпохи «архитектурных излишеств»: «...розовая гора, украшенная семо и овамo разнообразнейше — со всякими зодческими эдакостями, штукенциями и финтибрасами: на цоколях — башни, на башнях — зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гир-

лянд лезет книга — источник знаний или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое» («Факир»).

В этом описании уместно каждое слово, каждый эпитет, начиная с торжественного славянизма «семо и овамo» до повторения «плотно стоит... плотная гипсовая жена». Какая здесь язвительная наблюдательность, какое богатство юмора (одна «педагогическая ножка циркуля» чего стоит!). Здесь изобилие подробностей свою задачу правит, и каждая подробность бьет не в бровь, а прямо в глаз. В некоторых других случаях изобилие переходит в преизобилие. Автору мало одной детали, одного сравнения, одного эпитета, даже двух, даже трех, он громоздит их во множестве; фраза растет, пухнет, надувается подробностями. Вот, к примеру, как говорится о граммофонном голосе знаменитой когда-то певицы Веры Васильевны, в которую заочно влюблен стареющий Симеонов («Река Оккервиль»):

«— Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! — подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна; шипение, треск и кружение завивались черной воронкой, расширялись граммофонной трубой, и, торжествуя победу над Симеоновым, неся из фестончатой орхидеи божественный, темный, низкий, сначала кружевной и пыльный, потом набухающий подводным напором, восстающий из глубин, преображающийся, огнями на воде колыхающийся, — пщ-пщ-пщ, пщ-пщ-пщ, — парусом надувающийся голос — все громче, — обрывающий канаты, неудержимо несущийся, пщ-пщ-пщ, каравеллой по брызжущей огнями ночной воде — все сильнее, — расправляющий крылья, набирающий скорость, плавно отрывающийся от отставшей толщи породившего его потока, от маленького, оставшегося на берегу Симеонова, задравшего лысеющую босую голову к гигантски выросшему, сияющему, затмевающему полнеба, исходящему в победоносном кличе голосу — нет, не его так пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности, только его одного, и это у них было взаимно. Х-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ».

Читаешь такую фразу и думаешь: талантливо, метко, искусство, богато, но не слишком ли богато, не слишком ли изукрашено? Из-

под такого прибора подробностей выбираешь-ся с трудом, как, бывает, из-под морского прибора: завертело тебя, закружило. Хочется стать наконец на твердую землю, отряхнуться, сказать: «Уф!» А в иных местах (к счастью, их немного) избыточность стила Т. Толстой переходит даже в вычурную красоту (как принято сейчас говорить), например: «Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжелая, смутная, с опущенной головой, садилась на краешек постели, брала за руку — печальная сиделка у безнадежного больного. Так и молчали часами — рука в руке» («Чистый лист»). Что-то знакомое здесь слышится, чья-то интонация, кажется, Леонида Андреева, ныне почти забытого, но в начале века весьма популярного писателя с его загадочной, подчас сомнительного вкуса многозначительностью. Но такие «срывы» у Татьяны Толстой чрезвычайно редки.

Обаяние ее прозы в значительной мере связано с раскованной непринужденностью авторской речи. У нас многие писатели плохо владеют прямой речью: их персонажи говорят слишком гладко, «причесанно». У Т. Толстой, наоборот, авторская речь все время сбивается на устную, обиходно-разговорную, с ее характерными чертами — нелогичностью, перескоками с предмета на предмет, жаргонизмами, смысловыми зияниями, а то и косноязычием. «И Василий Михайлович — нет, нет, нет, — не хотел чужой старухи. боялся ее чулок и ступней, и дрожжей каких-нибудь, в скрипа пружин под ее белым пожилым туловищем, и еще у нее будет чайный гриб в трехлитровой банке — скользкий, безглазый молчун, что годами тихо-тихо живет на подоконнике и ни разу даже не всплещет» («Крут»). Или же: «Грудь впалая, ноги такие толстые — будто от другого человеческого комплекта, и косопалые ступни... Ну, грудь, ноги — это не одежда... Тоже одежда, милая моя. это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!» («Соня») Это — не сказ в обычном смысле слова; устами автора говорит как бы вся наша современная жизнь, с ее языковой стихией, стремительной, торопливой, пенящейся. Такая манера придает особый оттенок незаурядному юмору Т. Толстой. Например, в рассказе «Факир» речь идет об обычной в нашем быту сложной цепи квартирных обменов: «Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска. где-то в цепи пал некто Симаков, прободение яз-

вы, — неважно, прочь! — ряды сомкнулись, еще усилие, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера — трах! Она передумала. Вот так — взяла и передумала. И отстаньте все от нее».

Что же, могут меня спросить, вы все только о стиле, о подробностях, об авторской манере? Где же содержание? О чем же в конце концов идет речь в рассказах? Каковы в них люди, их взаимоотношения, конфликты?

Отвечу: подробности (как зримые, так и речевые, слышимые) играют в прозе Т. Толстой совсем особую роль, можно сказать — творческую, сюжетообразующую. Сюжеты вырастают из разветвленной сети подробностей, как грибы в лесу — из невидимой, подземной грибницы. Герои рассказов и события в их жизни — самые что ни на есть обыкновенные; необычными, запоминающимися делают их подробности. Причем не на главных, а на побочных ветвях повествования. Главные сюжетные линии Т. Толстая прокладывает схематично, пунктирно, гораздо охотнее задерживаясь на мелочах, например: «Но Петерс спал, и спал, и жил сквозь сон; аккуратно вытирая рот, ел овощное и пил молочное; брил тусклое лицо — вокруг сомкнутого рта и под спящими глазами — и как-то, нечаянно, мимоходом, женился на холодной твердой женщине с большими ногами, с глухим именем. Женщина строго глядела на людей, зная, что люди — мошенники, что верить никому нельзя; из кошелки ее пахло черствым хлебом» («Петерс»). Этот запах черствого хлеба разве не больше говорит нам, чем сказало бы подробное повествование: как познакомился, сделал предложение, женился?

А вот автор-повествователь узнает о смерти своей подопечной старушки:

«Александр Эрнестовне — пять звонков, третья кнопка сверху. На площадке — ветерок; приоткрыты створки пыльного лестничного витража, украшенного легкомысленными лотосами — цветами забвения. — Кого?.. Померла.

— То есть как это... минуточку... почему?.. Но я же только что... Да я только туда и назад. Вы что?..» («Милая Шура»).

А дальше — развал «старушечьего барахла», выкинутого во двор: чулки, портрет милой Шуры с выколотыми глазами, кувшин с отбитым носом, пачка писем, втоптанная в грязь. «А одню письмо, подсохшее, желтой разливованной бабочкой вертится

под пыльным тополем, не зная, где прятаться». В этой подробности — вертящемся бабочкой письме — такая сила жалости к умершей старухе, какая, пожалуй, не возникла бы, опиши автор саму смерть.

Вообще, жалость к своим героям — одна из отличительных черт творчества Т. Толстой. Жалеет она и пожилого, носатого, лысеющего Симеонова («Река Оккервиль»), и милую Шуру с ее «дореволюционными ногами» и нелепой шляпой, украшенной «всеми четырьмя временами года», пережившую трех мужей и не родившую ни одного ребенка... Жалеет даже неодушевленные предметы, случайно попавшие на глаза: «Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается на черном ветру. Голое мокрое дерево поникло от горя. Пьяница расстегивает пальто, опершись лицом о забор. Грустные обстоятельства места, времени и образа действия» («Милая Шура»).

«Грустные обстоятельства» присутствуют почти в каждом рассказе Т. Толстой и неизбежно возбуждают волну жалости. Удивительна тяга молодого автора ко всем разновидностям людского неблагополучия — к старости, болезням, несчастьям, даже уродствам. Уродливо-отталкивающи и «эндокринологический дундук» Петерс с его толстым белым телом, широким в поясе, и безумная Светлана, по прозвищу Пипка, у которой «ужасный черный рот, где пеньки зубов наводили на мысль о застарелом пожарище» («Огонь и пыль»). В изображении всяких уродств и неустройств Т. Толстая бывает правдива до жестокости. Но, не жалея читателя, она горячо жалеет своих героев — таких неблагополучных, ждущих и не дождавшихся, обделенных жизнью, — живо интересуется ими. Обращаясь в рассказе «Милая Шура» к Александре Эрнестовне, а в ее лице — ко всякой старости, автор пишет: «Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши истлевшие поклонники, мужа, проследовавшие торжественной вереницей, все, кто окликнул вас и кого позвали вы, каждый, кто прошел и скрылся за высокой горой». Жалость, по-моему, — один из главных двигателей творчества Т. Толстой. Непростое чувство! Грэм Грин еще в романе «Суть дела» отметил и возвеличил жалость как одну из сильнейших страстей человеческих. Перекликается с мыслью Грина и высказывание нашего замечательного прозаика, литературоведа Л. Я. Гинзбург: «Жалость — разрушительнейшая из страстей, и в отличие от любви и от злобы она не проходит» («Записки блокадного челове-

ка»). Разные бывают оттенки жалости. У Татьяны Толстой ей нередко сопутствует ирония, переходящая даже в сарказм. «И вот ему шестьдесят, и ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут, и позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет зарево на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли и архангелы с тромбонами и саксофонами, или что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну что же они медлят? Он ждет всю жизнь» («Круг»). Ирония здесь не противоречит жалости, а усиливает ее.

Ироничным мне кажется и название книги — «На золотом крыльце сидели...». Ух, какое оно не золотое, это крыльцо! Сколько в судьбах героев разных бед, суетности, тщеты, разочарований! В одном из лучших рассказов сборника — «Факире» — выведены супруги, одиначившие на своей окраине, куда страшно возвращаться ночью, где поблизости в лесу, «может быть, вынужден жить несчастный волк — он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отвращением смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бусиной висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...». Волк и тот несчастен и тоже наряду с людьми объект жалости. Отметим, что не случайно у него не когти, как полагалось бы волку, а ногти — по-человечески. Сколько кругом горя! И невзирая ни на что — парадоксально радостная благодарность жизни за одно то, что она — жизнь. «А счастье-то? Какое такое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься и падаешь, и тебе этого мало? Как?.. Мало?! Ах, так, да? А больше ничего и нет» («Петерс»). На мой взгляд, этот рассказ не из самых удачных в сборнике; его портит противоречие между лихим, даже заливчатским тоном повествования и подлинностью неизбывных страданий болезненно толстого, неполноценного героя, с которым «никто не хочет играть». Но всё искупает замечательная концовка — ею венчается не только рассказ «Петерс», но и вся книга: «Старый Петерс толкнул оконную раму — зазеленело синее стекло, вспыхнули тысячи желтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: догоняй, догоняй! Новые дети с ведерками

возились в лужах И, ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной»

В этой концовке нагромождение прилагательных, даже трижды повторенное «прекрасной» — ничуть не избыточно. Без словесных изобилий не прозвучала бы так отчаянно-радостно, так ошеломляюще благодарность жизни во всех ее проявлениях ото всех живущих, даже неудачников, даже обделенных, уродливых непонятых.

И очень характерны для автора эти «новые дети с ведерками». Тема детства наряду с темой старости очень важна в творчестве Т. Толстой. Детство в ее рассказах — особенное, диковатое, не идеальное, не умиленное, подчас даже трагическое, пронизанное ярчайшими эмоциями: страх, любовь, ненависть, бурная строптивость. Детство, пересыпанное восклицаниями, странностями, загадочными стихами, жуткими песенками. Вот девочка гуляет с нелюбимой Марьиванной, рвется домой, а та все тянет ее дальше: «Незнакомые места. Вечерет. Светлый воздух весь ушел вверх и повис над домами; темный — вышел и встал в подворотнях, в подъездах, в провалах улиц. Час тоски для взрослых, тоски и страха для детей. Я одна на всем свете, меня потеряла мама, сейчас, сейчас мы заблудимсяааааа!» («Любишь — не любишь»). А стихи Марьиваннинного дяди, который «повесился от болезни мочевого пузыря», — жуткие, взбаламученные, чего только в них нет: и плаха, и топор, и палач, и летящие к кладбищу вороны... «Ну-ка, кто после таких стихов найдет в себе силы спустить ноги с кровати, чтобы, скажем, сесть на горшок!» И все же рядом со страхами, вопреки им — светлая, восторженная радость, бешеная любознательность, любовь. Кажется, ни у кого мы еще не читали о детстве таком противоречивом, таком просветленно-плотском, таком страшном и, несмотря ни на что, блаженном «Ура, сегодня купаться будем! Через ванну перекинута деревянная решетка; тяжелые облупленные тазы, кувшины с горячей водой, острый запах дегтярного мыла, распаренная сморщенная кожа на ладонях, запотевшее зеркало, духота, чистое наглаженное мелкое белье — и вжжжжжж — бегом по холодному коридору,

и плюх! в новенькую постель: блаженство!» («Любишь — не любишь»).

Один из самых сильных, трагических рассказов сборника — «Спи спокойно, сынок» — о мальчике Сереже, детдомовце военной поры, боящемся шапки. «Детства у него не было, детство сторело, разбомбленное на неведомой станции, чьи-то руки вытащили его из огня, бросили на землю, катали, шапкой били по голове, сбивая пламя. Не понимал, что шапкой-то и спасли, черной, вонючей, — шапка отбила память, она снилась в кошмарах, кричала, взрывалась, оглушала, — он долго потом заикался, рыдал, закрывал руками голову, когда воспитательницы пытались его одевать» Вот он давно уже взрослый, у него самого сын — младенец Антошка, а он все еще боится меховых шаров в витрине магазина. «Остатанавливался, смотрел, преодолевая себя, напрягал память: кто я? откуда? чей я сын?» Смотрел на каждую знакомую пожилую женщину: а вдруг она моя мать? Это к Антошке обращены слова, давшие заглавие рассказу: «Спи спокойно, сынок, уж ты-то ни в чем не повинен». В этих словах — пламенная надежда, наша общая надежда, что сегодняшние младенцы не будут гореть, не будут бояться шапки...

Можно по-разному относиться к прозе Татьяны Толстой. Мне лично ее чтение доставляет наслаждение почти физическое. Читаешь и внутренне ахаешь от неожиданности словесных сцеплений, от изобретательной яркости образов. Эта проза завораживает. И все-таки от нее чуточку (самую чуточку!) устаешь. Иногда вздыхаешь с облегчением, прочитав среди длинных, наспигиванных подробностями периодов совсем простую, но предельно выразительную фразу вроде: «В день, когда ее похоронили, по Неве прошел лед» («Петерс») или: «Бомбили в тот день сильно» («София»)

Татьяна Толстая находится еще в начале своего творческого пути, перед нею большое будущее. Некоторые излишества, присутствующие в ее писательской манере, со временем отпадут сами собой. Их нельзя устранять рукой редактора, вычеркивающего какое-нибудь, по его мнению, лишнее прилагательное или причастие. До «немислимой простоты» (Б. Пастернак) автор должен дозреть сам. Но такая «ересь» — не измена таланта самому себе, а его естественное развитие.

И. ГРЕКОВА.

О «ТВОРЕНИЯХ» ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

Велимир Хлебников. Творения. М. «Советский писатель». 1986. 735 стр.

Еще недавно, перед столетием со дня рождения, мы сетовали, что Хлебников скорей легенда, чем реальность. Его книги были библиографической редкостью. С сорокового года, почти за полстолетия, вышла лишь одна небольшая книжка в малой серии «Библиотеки поэта» (1960). Было ли это результатом падения интереса к творчеству поэта или Хлебников искусственно был задвинут в историю, покажет время.

Пока же можно порадоваться, что вышел том «Творений» в семьсот с лишком страниц, содержащий 279 произведений (стихотворения, поэмы, драматургия, проза), с предисловием и примечаниями, тиражом в 200 тысяч экземпляров. Книга сразу попала в число престижных, и, вероятно, большая часть тиража осела за стеклами книжных полок книгодержателей.

Все же теперь те, кому надлежит прочитать Хлебникова, и те, кому это покажется нужным, могут достать книгу и погрузиться в живительную стихию хлебниковских творений.

Не думаю, что это чтение будет массовым. Маяковский назвал Хлебникова поэтом для поэтов. Пастернак признавал, что часть заслуг Хлебникова остается для него недоступной. Но в данное время, думаю, важно даже не непосредственное влияние Хлебникова на читателей, а само его присутствие в литературе, явление такой личности, такой поэтики, такого взгляда на жизнь и на искусство, такого способа жить. Опосредованное влияние Хлебникова все равно скажется на вкусах и понятиях общества, столь внимательного к поэтическому слову. Может быть, Хлебников в чистом виде еще слишком крепок и обжигающ и будет целителен только в растворе

Велимир Хлебников оказал непосредственное влияние на несколько поколений советской поэзии. Маяковский, присвоив к себе еще и Асеева с Пастернаком, назвал Хлебникова в числе учителей. Высоко отзывалась о нем Ахматова, как-то сказавшая мне, что только Хлебников и она не добивались славы, а сразу заняли свое место в поэзии.

Признано его влияние на Заболоцкого и обэриотов

Его интонация и язык явно отозвались в стихах Глазкова и Кульчицкого, поэтов предвоенного формирования.

Следы его освоения ощутимы в творче-

стве некоторых поэтов, вошедших в литературу на пороге 60-х годов.

Мне доводилось писать о нашей юношеской влюбленности в Хлебникова. Хотя давно уже не встречал я молодых поэтов, в него влюбленных. Впрочем, не берусь утверждать, что дух Хлебникова вовсе ветрился в поэзии последнего тридцатилетия. Но во всяком случае он настолько рассеялся, настолько растворился в стихотворных массах и смутных отражениях, что стал почти неощутим.

Литературоведы неоднократно отмечали неизгладимое влияние хлебниковского новаторства на русскую поэзию XX века, особенности его поэтического слова, компоненты интонации, смысловые «смещения» и «сдвиги», необычность и новизну его поэтики.

Думаю, что они слишком акцентировали слово «эксперимент». В этом термине применительно к поэзии есть какой-то оттенок неполноты, проблематичности, преувеличения одной из сторон, даже некоего насилия. Применимо ли такое понятие хотя бы к Тютчеву?

Говоря о Хлебникове, этим неточным словом определяют его свежесть, новизну, первозданность, непредубежденность. Поэт никогда не совершает насилия над формой. Он естествен. Он иногда пробует голос, как птица.

Личность Хлебникова, его странность, манера его поведения, образ жизни выделяются на многоликой картине русской поэзии 10-х — начала 20-х годов. Без него нельзя представить себе русского футуризма, будетлянства. Приняв европейское название и перенимая порой методы эпатирования усредненного вкуса, русский футуризм, особенно у Хлебникова и его творческого окружения, имеет свои особые истоки и понятия. Не говоря уж о разном понимании природы человека и смысла исторического процесса, Маринетти и его единомышленники пытались создать сегодня поэзию будущего

Хлебников формулирует нечто совсем противоположное: «Сегодняшнее заключено в будущем». К этим словам я еще вернусь ниже

Футуризм смотрит на будущее из сегодняшнего, как бы навязывая будущему свой вкус и воззрения. Хлебников смотрит на сегодняшнее из будущего. Для него буду-

щее осуществляется в сегодняшнем. Да и прошлое тоже. В этом особенность восприятия Хлебниковым категории времени. Его поэзия органически располагается в трех временах. Иногда думаешь, что у поэта уникальное, неповторимое ощущение времени и себя во времени. Не в этом ли секрет полной отрешенности Хлебникова от быта. Он воспринимает время как реальную материю, из которой формируется образ.

И еще удивительнее, что в основе такого необычайного воплощения времени лежит не интуиция, не только нечто подсознательное, но и обширные знания, ученость. Не в подтексте поэзии, как у Ахматовой, не в тексте, как у Антокольского, а в самом устройстве образа, в его материале. Во времена Хлебникова или в близкие к нему были сделаны разные попытки создать поэзию «ученую» (Гюйо). Но это ничего общего не имеет с поэзией Хлебникова, где знания не являются «выдвинутым фактором», а преобразованы чудесным образом в органику поэтической речи. Хлебников блестяще опровергает ходячее мнение, что эрудиция мешает непосредственности поэзии. В необремененности знаниями некоторые видят залог непосредственности. Поэзия Хлебникова растет на глубоком слое культуры, но о культурном значении и объеме хлебниковской личности и творчества говорилось сравнительно мало. Этому вопросу в значительной степени посвящено предисловие к тому «Творений» М. Полякова с подзаголовком «Мировоззрение и поэтика». Там очерчен культурный ареал поэта, философские, литературные, лингвистические источники его поэзии.

Они многочисленны. Особенность мировоззрения Хлебникова в том, что концепции мира, истории и искусства выражаются слитно в его творениях, где различимы идеи Платона и русского философа Н. Ф. Федорова, религиозные учения Востока, влияния европейского и русского символизма, изучение трудов русской мифологической школы, в особенности книги А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», и многое другое. Хлебникова интересуют мифы, поверья, сказки разных народов, в особенности представления славянской и русской древности, славянская и русская филология.

Рождавшиеся на этой основе хлебниковские теории слова и образа никогда не были отвлеченными от его практики. Они были неотъемлемой частью художественных созданий поэта. Словотворчество — результат знания законов древних словоизменений, попытка отмыть корневые значе-

ния слов и при помощи суффиксов дать им новое ветвление.

Хлебников хочет заменить иностранные слова исконно славянскими или новообразованными из старинных корней и способными выразить то же значение, что и слова заимствованные. Но это не просто работа очищения языка от иностранщины. Это восстановление преемственности национальной мысли, восстановление ее образного начала, то есть исконной принадлежности слова искусству. Хлебникова в слове и даже в отдельном звуке речи интересует заложенный в нем смысл. Поэтому даже его заумь не имеет никакого отношения к абракадабре новейшего времени.

Как я уже писал, ученость Хлебникова не делает его поэзию умозрительной и рациональной. Это возможно благодаря особому устройству поэтического мышления. Иногда говорят о мифологизме хлебниковской поэзии. Точнее было бы сказать, что поэт непостижимым образом возвращается к тем поздним временам мифологического мышления, когда из мифа выделяется понятие, когда миф преобразуется в метафору, когда высшим духовным творчеством человечества было искусство. У Хлебникова образ не обслуживает понятие, не является орнаментальным украшением искусства, как у некоторых поэтов, склонных заменять смыслы метафорами, — у Хлебникова в образе таится понятие, а в понятии — образ.

Хлебников — уникальное возрождение архаического художественного сознания, но он отнюдь не архаизм. В его временах, не разграниченных на прошлое, настоящее и будущее, заключены современная картина мира, современные ему события, научные представления, социальные воззрения. Все это объята единой словесно-образной стихией.

Сквозную образность Хлебникова следует учитывать при оценке того, что именуется его социальной утопией. Как план будущего и его предвидение она кажется наивной. Но в ней скорей можно видеть образ, художественное построение, которое нужно литературе не менее, чем изображение реальных фактов действительности.

Литература неизменно мельчает и вырождается, даже когда стремится правдиво изобразить жизненные факты или восстановить картины прошлого, если она лишена «социальной утопии», образа будущего. И чем возвышенней этот образ, тем выше литература.

В этом плане и надо понимать слова

Хлебникова: «Сегодняшнее заключено в будущем».

В этом смысле, как и во многих других, Хлебников — пример для нашей литературы, порой слишком трезвой и прагматической.

Он — наследие революционной эпохи, когда идеальная картина будущего была важнее пищи телесной, была истинным хлебом души. Хлебников — сын социальных мечтаний своего времени. Насколько глубоко он их понимал, видно из его знаменательных слов: «Мировая революция требует мировой совести».

Хлебников не только великий новатор, реформатор поэтической речи, он подлинный великий поэт эпохи войн и революций, умевший взглянуть в свое время из будущего и принять его таковым, каково оно было.

Я не стану приводить в короткой рецензии строфы и строчки Хлебникова. Вырванные из целостной образной системы, они могут показаться странными. Хлебникова надо прочитать, хотя это и нелегкое чтение.

Книга «Творения» дает о поэте достаточное представление.

Перед составителями и комментаторами одномомника В. П. Григорьевым и А. Е. Парнисом стояло несколько трудных проблем.

Хлебников не принадлежал к тем, кто заводит архивы и трясется над рукописями. Как известно, написанное он носил с собой в наволочке. А наволочки иногда пропадали. Л. Ю. Брик пишет, что за Хлебниковым ходил Бурлюк и подбирал рукописи. Подбирали и другие. В результате сохранилось все же немало. Нужна была предвзятельная «инвентаризация» того, что осталось. Хлебников обычно не правил свои стихи, а переписывал. Некоторые из них существуют в равноценных вариантах. Многие произведения не закончены. В поэмы иногда включены ранее написанные стихи. Нелегко установить канонический текст. Хлебников, радуясь публикациям, не любил держать корректуру. Поэтому в первоизданиях немало опечаток, описок и неверных расшифровок. Этими недостатками грешит

и наиболее полное издание произведений поэта — его «Собрание сочинений» в пяти томах (1928—1933) под редакцией Ю. Н. Тынянова и Н. А. Степанова, значение которого все же трудно переоценить. Основополагающим является и выпуск «Неизданных произведений» (1940), подготовленный Н. Харджиевым и Т. Грицем, где проделана была большая текстологическая работа. Названные издания — наиболее серьезные предшественники «Творений». Их создателям, ограниченному плановым объемом книги, предстояло отобрать примерно половину из сохранившегося наследия Хлебникова. Принцип выбора вариантов, личные вкусы несомненно были поводом для острых дискуссий. Наверное, дискуссионной является и текстологическая работа.

В результате получилась книга высокоценная. Впервые в ней собран и важный иллюстративный материал: портреты Хлебникова и его окружения, его рисунки, снимки с первоизданий.

Есть ли недостатки у этой книги? Наверное, специалисты их отыщут и в составлении и в разгадке текстов. Но думаю, это детали. Самое главное, что том «Творений» существует и что он пришел к читателю. Пусть читатели его на первых порах будут поэты, если Хлебников действительно поэт для поэтов. Но всей поэзии нашей полезно подышать воздухом Хлебникова, воздухом бескорыстия, глубины, душевной чистоты, знания, веры в будущее.

«Творения» — издание промежуточное, оно между массовым и научным. Но, вероятно, впереди и те и другие, где назначение будет более четко определено. Есть сведения, что готовится избранное в большой серии «Библиотеки поэта». Как будто планируется двухтомное издание в «Художественной литературе».

Фирма «Мелодия» выпустила две пластинки, интересно составленные артистом В. Персиком, где, кажется, впервые можно услышать четкое исполнение стихов Хлебникова.

Видно, настала пора его прочитать и услышать.

Д. САМОЙЛОВ.



В ЗАЩИТУ ЧУДА

Б. Сарнов. Время таланта. Портреты и памфлеты. М. «Советский писатель». 1987. 384 стр.

Уэстонского прозаика Яака Иьэрьюта есть любопытный рассказ «Литература», имеющий, как мне кажется, некоторое от-

ношение к предмету разговора (случилось так, что Сарнова и Иьэрьюта я читал одновременно). Рассказ написан от лица писателя

(наверно, необязательно отождествлять его с автором), который, маясь несколько дней в пустой квартире, вдруг набрасывает небольшой рассказ, скорее миниатюру — «Поросль» — о молодой ольховой поросли, подступающей к сельскому дому... Миниатюра в рассказе приведена полностью (произведение в произведении — прием достаточно отработанный), так что мы можем самостоятельно судить о ней. На следующий день писатель пытается оценить написанное как бы со стороны, чужими глазами, и сочиняет две возможные полусерьезные «интерпретации» — от имени своего молодого коллеги и от имени литератора старшего поколения. Обе они равно убедительны или равно неубедительны, так как в самой миниатюре «Поросль» просто ничего нет, кроме потенциальной возможности любой ее «интерпретации». Из нее можно извлечь все что угодно, но это «все что угодно» заранее скомпрометировано необязательностью существования миниатюры, необязательностью самого высказывания.

«Литература» — рассказ иронический (не столько по языку, сколько по ситуации) и представляется мне хорошим примером писательской (не личной, а цеховой) самокритики. Искусство имитации произведений искусства все совершенствуется: написать крепкий, «интересный» текст, пожалуй, не является неразрешимой проблемой (хотя, к сожалению, для многих печатающихся это именно проблема); также не является проблемой и литературно-критическая «интерпретация». Истоковано может быть все что угодно и как угодно. Но нередко имитацией художественного творчества занимаются не только искусные ремесленники, но и подлинно талантливые люди.

Искусство и его имитация. Проблема эта занимает Сарнова уже давно. Тематическое многообразие его работы только оттеняет ее внутреннюю смысловую сконцентрированность. Можно сказать, что его нынешняя книга написана о многом и об одном. О многом — это значит (как предупреждает читателя сам автор) об автобиографической прозе Марины Цветаевой, Юрия Олеши, Фазиля Искандера, о поэзии Николая Заболоцкого, о «новой» прозе Валентина Катаева, о первом романе Ильи Эренбурга, о специфике киномышления, о трансформации жанра литературной пародии, об изъятиях современного литературоведения, о стихах Беллы Ахмадулиной и Николая Глазкова. Автор считает, что «Бремя таланта» — не сборник статей, а книга. С ним можно со-

гласиться. Работы разных лет, собранные под одну обложку, образовали, по-моему, одну из самых ярких книг последнего времени. Чем привлекает книга? В первую очередь тем, что конкретный анализ опирается на целостную систему эстетических представлений критика (не говоря уж о том, что книга просто отлично написана; хвалить за это неловко, ибо в идеале это должно быть нормой литературно-критической деятельности, но увы...). У Б. Сарнова нет отдельных «теоретических» и «аналитических» работ — все взаимосвязано. Критик дает замечательные примеры пристального, «замедленного» прочтения, скажем, искандеровской прозы, именно прочтения — с обширными цитатами, комментариями, прочтения, убедительно подтверждающего тезис критика о том, что у Искандера «интерес самих событий» настолько оттеснен интересом к «подробностям чувств» (выражения Льва Толстого, на эстетические работы которого критик постоянно ссылается), что само событие, сам предмет словно бы исчезают в том смысле, в каком физика говорила об исчезновении материи. В этом видит критик самобытность его прозы (движение не в ширь, а в глубину).

Работа Сарнова — это именно критика (во всех значениях слова), критика, основанная на понимании, не на внешнем отбрасывании неприемлемого явления, а, напротив, на вдумчивом углублении в предмет исследования. Такая установка не мешает ни резкости полемики, ни жесткости тона там, где это необходимо. Достаточно обратиться к его памфлетам: скажем, «Плоды изнурения» — о поточном методе изготовления «пародий», освоенном А. Ивановым; критик не ставит под сомнение талантливость своего оппонента, тем сокрушительней его удары, разоблачающие механику «пародийного» производства. Я бы сказал, что это критика без злорачества. В «Плодах изнурения» преобладает интонация удивления (местами даже «оторопи») «изобретательностью» пародиста. Критик не столько желчен, сколько гневен, когда вдрызг разносит самые дикие «трактовки» блоковской поэзии («Семена, летящие на асфальт»). А взгляд критика на поэзию Беллы Ахмадулиной скорее печален. Отводя ходячие упреки в «камерности» ее поэзии (то есть в «ограниченности поэтического мира кругом мелких, несущественных тем»), критик утверждает, что «Ахмадулина обладает своеобразным даром, в чем-то родственным дару мифического царя Мидаса. К чему бы ни прикасался Мидас, все под его рукой

мгновенно превращалось в золото. Этот божественный дар оказался проклятием, потому что в золото превращался даже хлеб и Мидас умер голодной смертью...». Талантливость же ее — вне сомнений, но «слова, долженствующие живописать открытую кровоточащую рану, сплетены в такое тонкое и изысканное кружево, что даже реальная трагедия кажется игрушечной»; это именно один из вариантов бремени таланта.

О каждой главе книги можно было бы сказать многое, но внимание мое привлекли две основополагающие работы в книге — «Чем глубже зачерпнуть» и «Десятая муза». Последняя содержит принципиальные наблюдения над тем, что принципиально нового принес с собой кинематограф. Но, на мой взгляд, конечные выводы здесь не вполне точны. Неточность эта, впрочем, проистекает из достойной уважения страстности, с какой критик бросается на защиту... чего? Чуда. Потому что истинное искусство есть чудо. Это — кредо критика. Упустив этот тезис, мы рискуем вовсе ничего не понять в системе его рассуждений. Чудо в данном случае не метафора, а обозначение конкретного явления — «речь идет действительно о чуде аккумуляции человеческих чувств и передаче их не только в пространстве, но и во времени». Истинное искусство основывается (по Сарнову) на сопереживании, на отождествлении (последнее есть «наиболее интенсивная форма сопереживания... не отклонение от нормы, а именно норма...»).

Критик верит в высокие слова, считает, что раньше, до эры кино, «слово тайна вовсе не было псевдонимом слова задача, а слово чудо ни в коем случае не являлось синонимом слова трюк, или фокус, или аттракцион». Тайна действительно была тайной, а чудо чудом. «Они существовали на самом деле... пока не появилось кино. Задача, трюк, фокус, аттракцион — все это относится к кинематографу. В статье «Десятая муза» кино становится как бы отрицательным полюсом в системе теоретических построений критика. Он, конечно, ничего вроде «кино есть зло» не произносит и, будучи незаурядным кино-критиком, вряд ли так думает, но объективная логика его вдохновенной статьи именно такова: литература, несмотря на возможность литературных эрзацев, есть благо, а кино, несмотря на возможность киношедевров, есть все-таки, ну, не зло, но во всяком случае нечто пахнущее чертовщиной...

Почему? Потому что «с изобретением кинематографа психологический акт, име-

мый отождествлением, перестал быть чудом... Желающему сотворить чудо уже не обязательно быть волшебником. Достаточно быть только фокусником». Вот этого наступления на чудесное в искусстве и не прощает критик кинематографу, в котором он видит «действительно нечто принципиально новое в истории художественного творчества», потому что «создатель кинопроизведения может заставить зрителя испытать чувства, которые он сам не испытывал», а, по убеждению критика, «способ, именуемый искусством, включает в себя как непременное условие факт передачи чувств, испытываемых самим художником».

«Кинорежиссер — я подчеркиваю, речь идет не о халтурщике... а о высоком профессионале, настоящем мастере, — своим опытом принципиально не ограничен. В совершенстве владея теорией и практикой монтажа, обладая известным вкусом, известным художественным чутьем, он может вызвать у зрителя чувство страха (или любое другое чувство), хотя сам и не испытывал ничего подобного даже в воображении своем». Сказано сильно и негочию (ну кому же не знакомо чувство страха — спектр человеческих чувств многообразен, но не безграничен и открыт любому психически здоровому человеку...). О каком «опыте» идет речь? Если о житейском, то им и писатель не ограничен; если о душевном, то им кинематографист тоже ограничен, как любой художник. Душевный опыт кинематографиста, включая выработанную им систему ценностей (какой бы она ни была), неизбежно проявляется в его творчестве, ведь кинематографист не есть какое-то особое этически полное существо. Неискренность кинематографиста совсем скрыта быть не может (техника тут не все-сильна), а если не всякий зритель способен ее почувствовать, то ведь и не всякий читатель может почувствовать писательскую неискренность.

Если французский режиссер Андре Кайятт (его ленту «Супружеская жизнь» упоминает Б. Сарнов) снял фильм, в котором одна и та же история супружеской пары показана сначала глазами мужа, а затем глазами жены, то режиссер нисколько не утверждал этим, что «нет в мире виноватых» (как представляется критику); лента была об одиночестве, непонимании людьми друг друга. Значит ли это, что Кайятт способен снять фильм с точки зрения любого мыслимого персонажа? Нет. Как не значит, что любой кинематографист-профессионал способен снять фильм с любой точки

зрения. Во всяком случае возможность этого критиком декларирована, но не доказана. Как кинозрители мы действительно не свободны в выборе «ракурса». Критик верно отмечает подобную особенность киновосприятия, имея в виду не только ракурс в его буквальном значении, но и в более общем — «психологический ракурс». И это вызывает его неприятие. «Технические возможности кинематографа могут заставить меня сопереживать таким жизненным ситуациям, которым я сопереживать не хочу и по всем свойствам своей личности сопереживать не должен. Возьмут за шиворот и насильно заставят пристально и с сочувствием рассматривать человека, не имеющего никаких прав на мое сочувствие. Заставят смотреть на мир его глазами, сопереживать ему, отождествлять себя с ним». Ситуация и вправду неуютная — знаю по своему опыту кинозрителя. Но в книге — это не только личное признание Б. Сарнова, но и своего рода теоретический постулат исследователя.

Спору нет, влияние кино велико, но не беспредельно. «Надо ли доказывать, что кинофильм тоже может быть произведением искусства? — уточняет критик свою мысль. — Важно то, что он может им и не быть и при этом иметь над душами людей столь же всепоглощающую гипнотическую власть, какую имеет над ними самое что ни на есть подлинное искусство». Снова — сильно и неточно. Действительно ли подлинное искусство обладает всепоглощающей гипнотической силой? Увы, нет. Думаю, что критик просто заострил свою мысль. И главное: между ракурсом в обычном понимании слова и «психологическим ракурсом» (а тем более «гипнозом») все-таки лежит некий промежуток, заполняемый или не заполняемый готовностью зрителя принять навязываемый «ракурс».

«Все происходящее внушает нам себя, — пишет психолог В. Леви. — Если только

мы это принимаем». Замечательные слова. Не в приемах дело, а в нас самих (я с Сарновым не спорю, я уточняю).

Человек может искренне не понимать всей меры своей внутренней готовности подчиниться «внушению», может считать, что ему силой навязали нечто неприемлемое, но это свидетельство не могущества кинотехники, а доказательство того, что человек не знает самого себя. Навязали — значит, на самом-то деле «это» было приемлемым, а стоит начать навязывать действительно неприемлемое — человек выходит из «гипноза».

Сквозная тема Б. Сарнова — свобода и несвобода (или лучше: свобода-несвобода) творца, вытекающие из самой природы художественного творчества. «Эта внутренняя, задушевная потребность высказаться тяготеет над художником как навязание, даже как проклятие. Собственно, именно ее, а не «способность видеть, замечать и передавать» следовало бы называть талантом (вот чего не хватало писателю из рассказа Я. Игърююта — А. В.). Свободен ли художник? Смешной вопрос... Свободна ли рыба, идущая на нерест?.. Эта несвобода художника есть, в сущности, та самая неосознанная необходимость, безоговорочно подчиняясь которой он только и может обрести высшую, единственно доступную ему свободу» И в этом справедливо видит критик нравственное назначение искусства. Не в «прописях», а в «непреодолимой потребности художника извлекать из себя правду своей души, в его непобедимом стремлении вопреки любым препятствиям делать свое „странное“, казалось бы, „никому не нужное“ дело, и делать его — „хорошо“».

Об этом — книга Б. Сарнова. Сделанная хорошо.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



Политика и наука

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЕХНИКИ

Новая технократическая волна на Западе. М. «Прогресс». 1986. 452 стр.

«Представьте себе город будущего. Парки, озера, клумбы, кристально чистый воздух... Большинство машин находится на громадных стоянках за чертой города. Высотные дома расположены не слишком близко друг к другу, так что их жителям открываются далекие виды. Под

улицами проведены кабельные сети, обеспечивающие всевозможные виды коммуникации... Всячески поощряется работа дома, выполняемая через терминалы и видеофоны, передающие изображения, документы и речь... Преступность канула в прошлое, уличных ограблений не происходит, потому

что люди носят при себе мало наличности».

Так представляет себе новую цивилизацию, рожденную компьютерной революцией, один из авторов этого сборника — американский футуролог Дж. Мартин. Компьютерная революция воспринимается им прежде всего как избавление от бед, которые принесла с собой предыдущая техническая революция, родившая так называемое индустриальное общество. По мнению Мартина, человечество стоит на пороге общества постиндустриального.

В чем видят западные ученые сущность происходящих сегодня перемен? Прежде всего — в неслыханном доселе возрастании роли научно-теоретического знания. Если в индустриальном обществе темпы роста экономики зависят от скорости оборота капитала, то в обществе, именуемом постиндустриальным, прогресс производства, по мнению зарубежных экономистов, будет определяться скоростью обмена информацией, этим главным капиталом будущего. В первой половине XIX века основными средствами коммуникации были книги, газеты и журналы, а местом хранения источников знания — библиотеки. Век электричества вызвал к жизни телефон, телеграф, радио и, наконец, телевидение, что расширило и, главное, ускорило обмен информацией. В наше время открывается возможность слияния телефонных систем с компьютерными и телевизионными в единое целое. По мнению американского социолога Д. Белла, такое слияние будет способствовать сокращению (если не полной ликвидации) печатной продукции в качестве материального носителя информации, поведет к реорганизации образования на основе компьютерного обучения, откроет новые возможности проведения досуга. У. Дайзард связывает с указанными переменами наступление новой эры, которая в отличие от двух предшествующих — аграрной и индустриальной — предполагает в качестве основного вида экономической деятельности производство, хранение и распространение информации. «Постиндустриальная экономика, — вторит Дайзарду Т. Стоуньер, — это экономика, в которой промышленность по показателям занятости и своей доли в национальном продукте уступает первое место сфере услуг, а сфера услуг есть преимущественно обработка информации». Важнейшим фактором роста национального продукта, подчеркивает он, является сегодня прогресс знания и технологии, а потому «хорошая теория имеет громадную коммерческую ценность».

По мере чтения книги невольно возникает

вопрос: как, почему понятие информации пришло на смену традиционному понятию знания? Хотя слова «знание» и «информация» чаще всего употребляются как синонимы, «информация» имеет ряд сопутствующих смысловых оттенков. Стоуньер, например, определяет ее следующим образом: «Информация — это данные, трансформированные в значимую форму для целесообразного использования». Специфическим признаком информации является, видимо, то, что она предназначена для практического применения, тогда как знание в традиционном смысле слова может иметь цель в самом себе. Иными словами, информация — такой тип знания, который способен производить материальные блага. Стоуньер пишет: «Богатство всегда в той или иной степени зависело от знания. В постиндустриальной экономике знание заменило собой традиционную триаду земли, труда и капитала и стало наиболее важной основой современных производительных систем». Именно так понимаемое знание и есть информация. Что же касается утверждения, что она заменила собой и землю и труд, в нем, надо думать, есть некоторое преувеличение.

Как мы знаем, результат автоматизации в промышленности был неоднозначным: облегчив труд рабочего, новая техника в то же время стимулировала дополнительную безработицу. Не возникнет ли аналогичная ситуация и теперь, при компьютеризации обслуживающей сферы? Чем и как можно будет занять людей в условиях новой — информационной — цивилизации? Западные ученые размышляют и об этом. По мнению О. Тоффлера (ему принадлежит выражение «третья волна», которым он обозначает происходящую на наших глазах компьютерную революцию), новая техника позволит устранить безработицу, это неприятное порождение «второй волны» (индустриального общества). Правда, он считает, что это произойдет не так быстро: сегодняшний кризис в капиталистическом обществе еще не преодолен. «Я ни в коем случае не оптимист, если речь идет о ближайшем будущем, — говорит Тоффлер. — Я полагаю, что мы, возможно, находимся на грани еще большей экономической катастрофы». Отличие нынешнего кризиса от предыдущих Тоффлер видит в том, что он связан с изменением структуры экономики и общества капиталистических стран, с переходом от труда по найму к деятельности, именуемой им протреблением. (Не берусь судить, как звучит для английского уха предложенный Тоффлером неологизм «prosuming», но его рус-

ский аналог — протребление — представляется не очень удачным.) «Протребление — это то, что женщины или мужчины делают, когда растят детей... когда они строят пристройку к дому. Это то, что люди делают, когда они выращивают свои собственные овощи, шьют себе одежду или по своей инициативе работают в больнице. Они производят блага и услуги. Они работают, но не за плату. Протребление является ключевым фактором в новой экономике». Словом, протребление — это то, что приносит человеку удовлетворение не только в результате, но и в процессе, это деятельность, которая, как бы она ни была трудна, является для человека осмысленной в каждом своем звене и несет в самой себе свою цель. По Тоффлеру, протребление должно будет вытеснить работу, этот продукт промышленной революции, отравляющей жизнь миллионам людей индустриальной эры. Новые отрасли, составляющие основу «третьей волны» — телекоммуникация, биотехнология, океаническая инженерия, программирование, информатика, электроника, — откроют возможность широкого развития децентрализованной деятельности людей, основывающейся «на небольших объединениях, обслуживающих микрорынки и состоящих из небольших предприятий, благотворительных организаций, кооперативных сообществ...» Если промышленная революция и порожденная ею индустриальная экономика требовали стандартизованного, однообразного, преимущественно «частичного» труда, то постиндустриальное общество предполагает труд разнообразный и нуждается в «инициативных, изобретательных, образованных и даже индивидуалистичных рабочих».

Сегодня, как видим, утратила свою привлекательность идея производственного коллективизма, апологеты которой в прошлом веке радовались концу «индивидуалистической» эры ремесленного труда и деревенского крестьянского быта, с энтузиазмом провозглашая грядущий век фабрично-заводского производства, которое положит конец устаревшим, разобщающим людей формам деятельности. То, к чему стремились сторонники индустриальной цивилизации, больших городов и громадных «машин для жилья» с обобщественным бытом (вспомним сравнительно недавние утопии Корбюзье), ныне рассматривается западными социологами как нивелирующие людей омассовление и стандартизация. Избавиться от этого зла, вернуть человеку его человеческое лицо позволит, согласно Тоффлеру, новая техническая революция.

Дж. Мартин показывает перспективы, открываемые электронной цивилизацией для сферы досуга: «Вообразите себе «электронный дом» будущего. Семья отдыхает в субботный день. Пока дети занимаются компьютерной игрой «Звездные войны», глава дома смотрит спортивные передачи. За ходом одного соревнования он наблюдает по большому экрану, в то время как домашнее печатающее устройство, связанное с банком спортивных данных, бойко выстукивает результаты других соревнований... Наблюдая за ходом одной игры, можно тем временем записывать на видеомагнитофон другую, а затем по многу раз прокручивать наиболее волнующие моменты. В семье взрослеющий молодой человек. У него другие заботы. Он связывается с видеоэлектронной службой знакомств. Оттуда ему сообщают, что в такое-то и такое-то время для него будет передаваться специальная программа, в которой будет интервью с двумя девушками — его потенциальными знакомыми. Он внимательнейшим образом просматривает эту передачу и только после этого сообщает, на ком остановился его выбор».

Такие «радужные» картины будущего порождают смешанное чувство. Как скудно реализуются богатейшие технические возможности! Кстати говоря, та форма проведения свободного времени, которую увлеченно рисует перед нами американский социолог, на самом деле не столь уж безобидна: ведь общение с телевизором, если оно становится преобладающим видом досуга, превращает человека в пассивного потребителя зрелищ. Особенно отрицательно сказывается это на детях и подростках. Пристрастие к телевизору ослабляет у них интерес к чтению, подавляет у них побуждение сделать что-то своими руками, принять участие в общем семейном деле, в игре со сверстниками — ведь все это требует известной активности, энергии, изобретательности. Любой вид деятельности означает умение сосредоточиться, направить внимание на определенный предмет или процесс, нуждается в усилении воли. Мы обычно не замечаем, как с раннего детства учимся делать над собой усилия, начиная с натягивания чулок и завязывания шнурков на ботинках и кончая собиранием радиоприемника, решением математической задачи, вообще любой попыткой сделать или понять что-то трудное. Именно эту способность и разрушает «телевизионная цивилизация». Вероятно, в определенной дозе зрелища человеку нужны — для отдыха, расслабления, передышки, развлечения. Но ес-

ли доза эта становится чрезмерной, то развивается опасный синдром ТВ-поколения, о котором немало писали социологи и социальные психологи: неспособность к сосредоточению и волевому усилию, к владению самим собой, как отмечал Аристотель,— главному отличию свободного человека от раба.

В сборнике «Новая технократическая волна на Западе» помещены работы не только тех авторов, которые, подобно Дж. Мартину, склонны идеализировать будущее постиндустриальное общество. В статьях М. Хайдеггера, К. Ясперса, Л. Мэмфорда и других философов выражена тревога за возможные нежелательные последствия новых технических достижений, предлагается более взвешенное осмысление проблем «техника и человек», «техника и природа». По определению канадского ученого Дж. Гранта, новой технологии в отличие от технических изобретений прошлого свойственно «развертывание наук, переходящее в покорение человеческой и внечеловеческой природы». Что такое современная техника, мы, по Гранту, никогда не поймем, если будем иметь в виду сами машины, орудия — все то, что обычно и называется техникой. Сущность ее в особом отношении человека к природе, миру, самому себе и себе подобным. Грант убежден, что в основе науки и техники нового времени лежит стремление подчинить и поставить на службу человеку все существующее.

В своем понимании сущности техники Грант близок к известному немецкому философу М. Хайдеггеру, который еще в 40—50-х годах выступил с рядом докладов и статей, посвященных проблемам новейшей европейской науки и техники. Наиболее важные из работ Хайдеггера на эту тему помещены в сборнике (в прекрасном переводе В. В. Библихина, снабдившего тексты подробным комментарием) и тем самым впервые стали доступны русскому читателю. И хотя Хайдеггер размышлял над сущностью техники задолго до появления первого компьютера и даже телевизора, хотя его никак не отнесешь к представителю «новой технократической волны», ибо он исконный противник всякого технократизма, тем не менее публикация его сочинений, так же как и отрывка из большой работы его соотечественника К. Ясперса, в этой книге более чем уместна.

Хайдеггер и Ясперс размышляют о технике и ее природе, о ее роли в современном обществе, о предпосылках ее возникновения и перспективах дальнейшего развития, о тех преимуществах, которые она

обеспечивает в производстве и быту, и тех опасностях, которые она несет с собой для человека и природы. Оба мыслителя считают современную технику принципиально отличной от технических изобретений прежних, доиндустриальных цивилизаций и оба видят ее глубокую внутреннюю связь с новейшей европейской наукой. Однако в их взглядах есть и существенные различия.

В философии техники последних ста лет можно выделить три основных направления. В технике либо видят панацею от всех зол — точка зрения, представленная в сборнике целым рядом статей и получившая название технократической, либо, напротив, склонны списывать на счет техники едва ли не все несчастья, постигающие человека в наш суровый век, что, к сожалению, имеет под собой некоторые основания, либо, наконец, считают технику началом нейтральным по отношению к добру и злу, полагая, что она определяется самим человеком, а потому может стать источником как блага и созидания, так и разрушения и зла. Именно к последней точке зрения склоняется К. Ясперс — мыслитель, далекий от идеализации техники и трезво оценивающий как положительные, так и отрицательные ее последствия. «Техника, — пишет Ясперс, — только средство, сама по себе она не хороша и не дурна. Все зависит от того, что из нее сделает человек, чему она служит, в какие условия он ее ставит... Может ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, превратится в средство неистового безумия нелюдей или что весь земной шар вместе со всеми людьми станет единой гигантской фабрикой, муравейником, который уже все поглотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных всякого содержания событий? Рассудок может конструировать такую возможность, однако сознание нашей человеческой сущности будет вечно твердить: в целом это невозможно».

Как видим, для Ясперса техника — это система средств, орудий, по замыслу своему предназначенная для реализации человеческих целей, подчиненная сфере смысла. Ясперс не может не видеть, что на практике сплошь и рядом средство способно поработить цель, как это, кстати, имело место в человеческой истории и до возникновения современной техники. И хотя Ясперс подавляет и ужасает перспектива превращения общества «в одну большую машину», он все же сохраняет веру в торжество смысла, разума над механиз-

мом, или, как говорили в старину, в ко-
нечное торжество добра.

Иначе размышляет над проблемой тех-
ники М. Хайдеггер. Он не принимает
представления о технике как о простом
средстве, инструменте. «В самом злом
плелу у техники... мы оказываемся тогда,
когда видим в ней что-то нейтральное,—
пишет Хайдеггер,— такое представление,
сейчас особенно популярное, делает нас
совершенно слепыми к ее сущности».

По Хайдеггеру, сущность техники — это
вовсе не машины, не системы машин, да-
же не деятельность по изготовлению и
изобретению машин. «Примелькавшееся
представление о технике, согласно кото-
рому она есть средство и человеческая
деятельность, можно... назвать инструмен-
тальным и антропологическим определени-
ем техники». Антропологизм же на языке
Хайдеггера означает субъективизм, кото-
рый, по его убеждению, является основ-
ным недостатком современного мышления
и современной культуры, оторвавшейся от
своих онтологических корней. Сущность
техники в том, что она есть определенный
способ раскрытия сокрытого, потаенного
(так переводит В. В. Библихин слово *Ver-
borgenheit*).

Последнее определение нуждается в
комментариях. Дело в том, что Хайдег-
гер, исходя из предпосылок Гуссерлевой
феноменологии, развивает новую онтологию,
новое учение о бытии. Различая сущее и
бытие, под сущим он понимает предметы
и явления эмпирического мира. Бытие
же — это то, что не дано нам эмпириче-
ски, то есть не предметы окружающего
мира, не земля и небо, не люди и бог, но
это и не абстракция, не отвлеченное по-
нятие. Бытие, по Хайдеггеру, есть не ви-
димое и не сущее, составляющее условие
всего видимого и сущего; оно есть то, что
позволяет сущему стать открытым для че-
ловека. Открытость — это истина бытия.
Судьба бытия осуществляется в истории,
причем в разные исторические эпохи по-
разному. Вся западноевропейская история
развертывается как углубляющийся про-
цесс забвения бытия — на его место все
больше встает сущее. Причину этого Хай-
деггер усматривает в характерном для за-
падного мышления рационализме. Корни
рационализма можно отыскать уже в ан-
тичном платонизме, но по-настоящему он
развертывается в немецком идеализме и
в новейшей западной философии вплоть
до Ницше. В рационализме на место бы-
тия выдвигается понятие субъекта, кото-
рый первоначально мыслится как божест-

венный разум (ему причастен и разум че-
ловеческий), затем — как трансценденталь-
ный субъект, нередко истолковываемый
как человеческий род, человечество в це-
лом, а в некоторых, крайних, случаях и
как индивидуальный субъект. Все это, по
Хайдеггеру, виды субъективизма, состав-
ляющего главную особенность западноев-
ропейского мышления и западноевропей-
ской культуры в целом. Именно благода-
ря этому западная метафизика рассматри-
вает все сущее как объект (систему объек-
тов), противостоящий субъекту и поэтому
могущий находиться в распоряжении по-
следнего. В категорию объекта попадает
не только внешняя природа, но и природа
самого человека. Это субъект-объектное от-
ношение и является, по мнению Хайдег-
гера, сущностью современных науки и
техники.

«Царящее в современной технике рас-
крытие потаенного есть производство,
ставящее перед природой неслыханное
требование быть поставщиком энергии, ко-
торую можно было бы добыть и запастись
как таковую... Земные недра выходят те-
перь из потаенности в качестве карьера
открытой добычи, почва — в качестве пло-
щадки рудного месторождения. Иным вы-
глядит поле, которое некогда обрабатывал
крестьянин, когда обрабатывать еще зна-
чило заботиться и ухаживать. Крестьян-
ский труд — не эксплуатация поля. Посеяв
зерно, он препоручает семена их собствен-
ным силам роста и охраняет их произра-
стание. Между тем обработка поля тоже
оказалась втянута в колею совсем иначе
устроенного земледелия, на службу кото-
рого ставится природа. Оно ставит ее на
службу производству как добычию. По-
леводство сейчас — механизированная пище-
вая промышленность. Воздух поставлен на
добывание азота, земные недра — руды,
руда — на добычу, например, урана,
уран — атомной энергии, которая может
быть использована для разрушения или
для мирных целей».

Сущность техники, таким образом, не в
машинах как таковых, а в особом подхо-
де к миру, при котором природа рассмат-
ривается как кладовая энергии. То, что
получено человеком в процессе переработ-
ки, что освоено им, Хайдеггер называет
состоящим-в-наличии. Техника как раз
и есть способ превращать все сущее в
состоящее-в-наличии, поставлять су-
щее в распоряжение человека. Поэтому
Хайдеггер определяет сущность техники
как по-став (*Ge-stell*). «По-ставом мы зо-
вем собирающее начало той установки, ко-

торая ставит, т. е. заставляет человека выводить действительное из его потаенности способом поставления его как состоящего-в-наличии. По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности, который правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим).

Не останавливаясь на вопросе, насколько удачен введенный Хайдеггером термин Ge-stell (русское «по-став» во всяком случае мало что говорит читателю), рассмотрим философию истории, лежащую в основании приведенного рассуждения. Хайдеггер мыслит историю под знаком судьбы, подчеркивая, что ход исторического процесса зависит не от человека, а от бытия: «То собирающее послание, которое впервые ставит человека на тот или иной путь раскрытия потаенности, мы называем миссией и судьбой. Отсюда определяется существо всех исторических событий... По-став, как всякий путь такого раскрытия, есть миссия, посылающая человека в историческое бытие». Свобода человека, по Хайдеггеру, в том, чтобы прислушаться, внять зову бытия, пойти навстречу судьбе, посылаемой бытием. Философия определяет ход, движение истории в той мере, в какой она есть отклик на зов бытия.

Хайдеггеру глубоко антипатичны те способы обращения с природой, которые диктует по-став. Философ отдает предпочтение традиционным, доиндустриальным цивилизациям с их бережным отношением к природным дарам, с их убеждением в том, что человек — сын природы. Но, критически оценивая экспериментально-математическое естествознание и возникшую на его основе индустриально-техническую цивилизацию, Хайдеггер хотел бы пойти дальше романтического их неприятия. Он стремится «встать над» — как над теми, кто верит в возможности, открываемые новой техникой, так и над теми, кто указывает на связанные с ней опасности. В результате позиция Хайдеггера остается крайне неопределенной и поддается самым разным толкованиям. Вслед за своим соотечественником О Шпенглером он рассуждает как фаталист: противостоять судьбе бытия конечное человеческое существо не в силах.

Признавая, с одной стороны, неотвратимое развертывание технической цивилизации, Хайдеггер, с другой, таинственно намекает на то, что в самой опасности должны таиться «ростки спасительного». Бла-

годаря технике человек сознает утрату своей человеческой сущности, того, что составляет смысл его бытия. Понимание сущности техники, коренящейся в поставе, указывает направление, выводящее за пределы нынешней цивилизации, суть которой в забвении истины бытия. Понять существо эпохи значит, по Хайдеггеру, сделать шаг навстречу иной судьбе. Но не противоречит ли первый тезис (о технике как неотвратимой судьбе бытия) второму, гласящему, что понимание сущности техники — это путь к спасению от заключенной в ней опасности? Так ли уж сильно отличается концепция техники Хайдеггера от Ясперсовой? Тем более что Хайдеггер еще в меньшей степени, чем Ясперс, в состоянии хоть как-то определить то направление, в котором нам надо идти, чтобы обрести «спасительное».

Работы Хайдеггера составляют большую часть раздела книги, посвященного философскому осмыслению феномена техники. Влияние его идей на современную западную мысль не ослабевает. Правда, нередко последователи этого философа идут, в сущности, своим путем. Тот же Грант, например, называет себя закоренелым платоником, а значит, не может быть хайдеггерианцем: ведь для Хайдеггера Платон — родоначальник «метафизического мышления», с его учения об идеях начинается «забвение бытия».

Издательство «Прогресс» выпустило очень интересную и нужную книгу. Сегодня более чем когда-либо нам полезно ознакомиться с размышлениями западных философов, социологов, публицистов о современной технике, о ее природе и открываемых ею перспективах. Ведь и мы возлагаем большие надежды на компьютерную технику, которую нам еще предстоит по-настоящему освоить. Внедрение новых средств телекоммуникации сулит большие выгоды как в производстве, так и в сфере обслуживания. Однако при этом важно избежать тех утопических построений, тех «завышенных ожиданий», которыми, как правило, сопровождаются почти все технические революции. Технический прогресс нередко порождает иллюзию всемогущества, беспредельных возможностей человека. И вот эта установка сознания, пожалуй, всего опаснее. Современному человеку крайне важно осознать забытую им истину: за все, что он получает, надо платить.

П. ГАЙДЕНКО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Читатели, и в частности И. А. Луначарская, обратились к нам с просьбой процитировать более полно высказывание А. В. Луначарского, приведенное А. Кузнецовым в статье «Скажи-ка, дядя...» («Новый мир», 1987, № 9). Текст заимствован из лекции «О преподавании истории в коммунистической школе», прочитанной наркомом просвещения на педагогических курсах в сентябре 1918 года¹.

«Самая здоровая любовь к родине заключается в том, что ее никакая школа привить не может. Если я родился в известной обстановке, то у меня есть привычка к этой хотя бы скудной природе с чахлыми березками, я буду невольно предпочитать ее всей роскоши юга, я буду ее любить, и для этого не нужно, чтобы мне прививали эту любовь. Мне не нужно вдабливать, что я должен любить свои родные пейзажи. Это глупость, это все равно, что учить блондина быть блондином. То же самое можно сказать и относительно любви к своему языку. Поскольку это язык моей матери, я к нему предрасположен, я на нем получаю образование. И мы настаиваем, чтобы каждый инородец мог учиться на своем родном языке.

Но тут заметьте, когда мы скажем, что татарин или киргиз, или башкир должны учиться на их языке, то русский патриот ответит: как же, вы таким образом раздробляете Россию, губите ее, потому что вы отрываете инородцев от русской литературы, вы отдаете их узенькой национальной культуре.

А когда вы настаиваете на преподавании прежде всего русского языка, разве вы этим не отрываете их от мировой литературы, разве вы этим не ставите перегорода?

Нет, будем в этом отношении совершенно объективными и скажем: нужно воспитание и н т е р н а ц и о н а л ь н о е, человеческое. Воспитывать нужно человека, которому ничто человеческое не было бы чуждо, для которого каждый человек, к какой бы он нации ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит каждую сажень нашего общего земного шара и который, когда у него есть пристрастие к русскому лицу, к русской речи, к русской природе, понимает, что это— иррациональное пристрастие, с которым, быть может, не надо бороться, если в нем нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно воспитывать. Это воспитание было необходимо только там, где русского солдата надо было бросить на германского или иного какого-нибудь солдата. Там нужно учить, что все остальные солдаты басурмане, что все остальные не в е р н ы е, все остальные «немцы». На этой культурной стадии надо воспитывать враждебное чувство по отношению к другим и преувеличенную преданность к своему; национальное воспитание гесным образом связано с милитаризмом.

И, конечно, есть люди робкие, люди без горизонта, которые говорят: позвольте, если мы не будем вооружены, если не будет патриотизма, то наши соседи разорвут, растерзают нас и т. д.

Если мы так будем говорить, так будут говорить немцы, будут говорить шведы и т. д., то мы не вырвемся из кровавого болота. Так бы и было, если бы судьбами человечества руководила буржуазная интеллигенция.

Иначе думает рабочий класс, которому в смысле² недр его души запала мечта об объединении всех пролетариев. И только благодаря национальной школе, проклятой национальной школе в Германии, где немцы искуснее всех поставили свое преподавание патриотизма, только потому, что этой национальной школе удалось с детских лет настолько пригупить немецкое сердце, что призывы Интернационала оказались еще поверхностными,— только потому возможна стала мировая бойня.

Вот почему мы, социалисты, прежде всего должны положить в основу преподавания интернациональный принцип, принцип международнойности, принцип всеобщности человечества. И только с этой точки зрения всемирная история может нами преподаваться».

¹ Цитируется по книге: А. В. Луначарский. Просвещение и революция. Сборник статей М «Работник просвещения». 1926, стр. 93 —95.

² Так в тексте книги. (Ред.)

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕОНИД ЕРМОЛИНСКИЙ. Костер на вершине. Повести. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1987. 366 стр.

В повести «Голубая звезда», открывшей эту книгу, два главных героя — Михаил Сергеевич Лунин и Петр Николаевич Успенский. Первого читателю представлять не надо — его имя навеки вписано в русскую историю. Поэтому разговор начнем со второго.

...Чиновник мечтает об ордене, который резко изменит его социальный статус. А как заслужить подобную награду в Сибири, вдали от двора и правительства? Выход найден: Успенский искусно организует провокацию, результатом ее стало заточение до конца своих дней «государственного преступника» Лунина. Возделанная цель достигнута, орден получен.

Нет, Петр Успенский — не заурядный интриган, ограниченный служака, подобный своим помощникам по «антилунинской операции». Это человек умный, образованный, красноречивый, не лишенный своеобразного обаяния, в некотором роде философ даже, но... направивший ум на оправдание низости. Уж коль низость неизбежно будет кем-то совершена (таковы мир и род человеческого, убежден Успенский), почему бы не совершить ее с пользой для себя? Механизм подобных рассуждений и следующий из такой логики и ее результатов нравственный урок, не устаревший и ныне, воспроизведены в повести с исторической и художественной убедительностью.

Лунин предстает перед читателем в последние свои дни на относительной свободе. Главные дела этого человека, в том числе сибирские, уже совершены. Характер декабриста раскрывается перед нами не в поступках, а в их осмыслении — наедине с собой, в беседах с друзьями, в нравственном поединке с Успенским (сцены ареста и обыска). Поединок этот — один из важнейших эпизодов повести.

Успенскому важно не просто уничтожить противника — но и одержать моральную победу над человеком долга и чести. Что же заставляет Лунина оставаться таким — казалось бы, все возможные жертвы принесены еще до Сибири? Поза, фразерство? Неутоленное честолюбие политического авантюриста, как жаждет доказать Успенский? Нет, это нравственный максимализм человека, уверенного в пра-

воте своих идеалов. Лунин служил им и за пределами возможного. Тем и увековечил себя. Впрочем, Успенский тоже остался в истории. И это — также урок. Для героистратов.

Герой второй повести, давшей книге название, Николай Полевой — личность яркая, оставившая след в литературной жизни России. Но, увы, лунинской несокрушимостью духа этот человек не обладал. Мы встречаемся с ним после крушения его журналистской биографии — закрытия «Московского телеграфа». И тут прослеживается главная тема книги, органично объединяющая две повести в одном томе. Если не сдаваться на милость судьбы, как бы ни сложилась жизнь, и предельно мобилизовать весь запас душевных сил — твое заключительное слово еще не сказано, творческий взлет еще возможен. Полевому довелось его испытать, создав перевод, который впервые по-настоящему познакомил русскую публику с шекспировским Гамлетом. И побудить к свершениям двух других персонажей повести — Павла Мочалова, чье исполнение роли принца Датского стало этапным для русской сцены, и Виссария Белинского, статья которого о Гамлете — Мочалове поныне образец театральной критики.

Сюжет развивается на широком историко-культурном фоне — литературный Петербург, театральная Москва. На ее страницах оживают фигуры литератора-коммерсанта Сенковского, умудренного жизнью беллетриста Калашникова, колоритнейшего персонажа старой Москвы Федора Толстого и многих других. А рядом — с любовью и знанием воспроизведенные картины жизни сцены, закулисы, зрительного зала; эмоционально написанные пейзажи Иркутска и Приангарья — края, чей вклад в историю русской культуры по-настоящему еще не оценен...

В том, что книга Ермолинского вышла именно в Иркутске, есть своя закономерность. Здесь издаются «Литературные памятники Сибири», многотомная «Полярная звезда» — небывалый по объему охват публицистического, мемуарного, эпистолярного наследия декабристов, исторические произведения... Периферийное издательство обращается к нашему прошлому с широтой и глубиной отнюдь не провинциальной...

А. Ходоров.



Л. ШУБИН. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове. Работы разных лет. М. «Советский писатель». 1987. 367 стр.

В этой книге собраны если не все, то, пожалуй, основные работы автора, опубликованные и ни разу не публиковавшиеся. Собраны, к сожалению, уже после его смерти. Могут сказать: не так уж много за жизнь написано — неоконченный труд и статьи об Андрее Платонове, статьи о Достоевском, Шкловском, Адамовиче, внутренние рецензии. Во все времена духовный вклад человека оценивался не количеством страниц, а степенью полноты и благородства деяния, умом и страстью, с какими произносилось Слово. Думаю, именно это имел в виду автор предисловия С. Г. Бочаров, знавший Льва Шубина и потому весьма определенно сказавший о нем: «Он не растрачивал свое слово на поверхности литературной жизни и уберег его достоинство в своем уединенном труде... Книга Л. А. Шубина впервые откроет нам итоги его жизненных трудов в их настоящем размере. И вместе с этими итогами она дает человеческий, нравственный и духовный портрет ее автора».

Когда читаешь книгу, ощущаешь, что каждая строка в ней автобиографична — не житейская, а духовно. И понимаешь, что исследователь мог писать только о том, о чем думал, что переживал. А это, на мой взгляд, высший тип литературно-критической и исследовательской деятельности. Как своеобразное автобиографическое признание читаешь рассуждение автора о не случайности «обилия обрывков» в творчестве Хлебникова, порожденного его «отрешенностью от быта, постоянной сосредоточенностью творческого сознания», о том, что у Хлебникова «нет чувства конца, завершенности. Даже оконченное произведение таит в себе возможность движения дальше, оно остается открытым». В полной мере эти слова можно отнести и к специфике творческого мышления Льва Шубина.

Когда-то Достоевский заметил, что каждый крупный критик вступал на литературное поприще со «своим» писателем. В самом деле: для критика выбор «своего» писателя есть в значительной мере выбор себя. Для автора этой книги таким писателем стал Платонов. С его статьи о Платонове (1967) началось наше платоноведение. Трудом о писателе, тогда еще (да и до сих пор) не полностью изданным, непривычным, ни на кого не похожим, «страннозлычным», и посвятил автор жизнь. Труд свой он не завершила. Как сказано в предисловии, за пределами книги остались и другие работы автора о Платонове, издание которых безусловно представляло бы интерес

Феномен Платонова Шубин рассматривал «с учетом той «исторической завязи» культуры, которая возникла в Воронеже и которая во многом сформировала личность писателя». По мнению исследователя, перед нами художник, «произведения которого ставят важнейшие проблемы человеческого бытия, и необходимо, хотя бы и в общей форме, понять, как и под воздей-

ствием каких социально-культурных факторов формировалось его мировоззрение и мирозерцание». Иными словами, Шубин писал не просто биографию писателя, а биографию отечественной культуры, одной из страниц которой было творчество Платонова. Через Платонова, опираясь на его творчество, он размышлял о нерешенных проблемах и трагических парадоксах русской истории.

Характерный пример — неожиданное, казалось бы, в книге о современной литературе обращение к Петру I и его реформам, рассуждение о том, как «самый не казенный человек», воплотившись в систему, породил невиданную казенщину. Но ведь и Платонова мучила тема Петра, и не случайно: в конце 20-х годов, разумеется, в ином виде, вернулась древняя проблема, обозначенная исследователем — превращение «бури» в «систему», в «казенщину». И одновременное писание «Епифанских шлозов» и «Города Градова» о многом нам говорит Революция перед Платоновым, как и перед другими писателями, с особой остротой вновь поставила «вековые проклятые русские проблемы», замечает автор. Твердость платоновской позиции в идейной борьбе тех лет объясняется его подходом к миру, точкой отсчета: «личность самоценна». Это давало возможность оценить и прошлое и приходившее новое, бывшее зачастую пережитым старым. Пафос писателя — в отстаивании человеческого достоинства, утверждал критик Исследование творчества Платонова, начатое двадцать лет назад, было позицией, противодействием процессу замалчивания, «деформации истории». Платонов не умел писать так, как требовали и о чем требовалось. Не умел этого и Лев Шубин. Рецензируемая книга — результат этого высокого неумения.

В. Кантор.



ЛАРИСА. Воспоминания, выступления, интервью, киносценарий, статьи. Книга о Ларисе Шепитько. М. «Искусство». 1987. 303 стр.

Режиссеры, как артисты, имеют ампула. Кто расхожее, кто редкое. Случается, и уникальное — трагика. «Когда рассмотришь все качества, необходимые для образования истинного трагического актера, все дары, которыми природа должна его наделять, то уже не станешь удивляться, что они так редки». Это слова Тальма — французского короля трагиков. А для образования трагического режиссера? Истинного, из тех, что можно пересчитать по пальцам, — хватит руки? Впрочем, как и трагических актрис: Ермолова, Коноен... Как пересчитать дары, вычислить вероятность появления и проявления, перечислить качества? Ведь трагедия дисгармонична, и ее тем более «алгеброй не поверить»...

А в этой книге и не пытаются поверять. Не считают щедроты, не суммируют данные — ни от природы, ни от судьбы. В ней в коротких, как вскрик, расказах — вспоминают... Нет, неверно, вспомнить

можно забытое... Воспевают? Нет. Высокопарность чужда и образу и пути героини книги. Да и непростой нрав ее не вуальруется во имя памяти... Скорее тоскуют: то по-мужски горько и сдержанно, то по-женски неудержимо. Тоскуют по ней и общаются с нею. Словно нужна была эта книга не только для того, чтобы рассказать о Ларисе — кинорежиссере Ларисе Шепитько, но и чтобы поговорить с ней... С поразительно красивой женщиной. «Совпадения сути и стати», — скажет Белла Ахмадулина. С человеком редких, щедро сплетенных качеств «Они, похоже, и в мир-то приходят, чтобы показать, каким должен быть человек и какому пути он должен следовать, и уходят, не выдерживая нашей неверности неверности долгу, идеалам, слову — вообще нашей неверности. Но память о них и помогает, должно быть, оставаться нашей совести», — напишет Валентин Распутин.

И определяет этими словами не только главное в героине, но и в книге о ней, и впрямь заставляющей «оставаться нашей совести». Сопоставление судеб, своей и ее, вынуждает к этому...

Трагический дар от бога, но еще и от судьбы, а она была щедра на тяжелейшие испытания. Благополучие в искусстве бесплодно — ему не вызвать катарсиса. Лариса была наделена даром переплавлять страдания в творчество. Даром беспощадной и бескомпромиссной самоотдачи «Никогда не бралась за идеи, если не чувствовала, не скажу этого — умру» Ее слова. И в них нет преувеличения, тем более поэты. Человеку с позицией поза чужда. И все сказанное в книге Ларисой или о Ларисе как-то строго лишено фальши. Как лишены были этого и сама она и ее фильмы.

А их, полнометражных, за шестнадцать лет работы снято всего четыре. Или целых четыре? Потому что и одно «Восхождение» уже сделало бы режиссера классиком. Алесь Адамович горько констатировал: «Кровавое цветает до розового». С фильмом Шепитько такого не произошло и произойти не может. Потому что снят он трагиком, истерзанная душа которого протачивала всю нечеловеческую боль написанного Василием Быковым сквозь себя. В книге рассказано, как беспощадно это было.

Четыре года Шепитько боролась за сце-

нарий фильма по «Сотникову». А потом снимала. «А ежели не было у нас сил подняться на ноги (случалось и такое!), то взваливала кого-нибудь из нас к себе на спину и тащила в автобус, где грела, оттирала и благодарила, благодарила...» — из воспоминаний Владимира Гостюхина, сыгравшего Рыбака... Два факта из множества, рассказанных в книге, а за ними — мучительный труд режиссера и неафишируемое благородство женщины. Лишь два факта. Несколько строк. Такова плотность, емкость книги, рассказавшей не только о режиссере, но о режиссуре — как профессии, как гологофе, как жестком и жестоком образе бытия. На трехстах страницах — жизнь в творениях: сценарии, выступлениях, интервью, рецензиях; жизнь в фотографиях; жизнь в воспоминаниях — А. Адамовича и Ч. Айтматова, Б. Ахмадулиной и В. Быкова, Ю. Визбора и С. Герасимова, Т. Океева и Г. Панфилова, В. Распутина и Ю. Клепикова...

В этой книге все и все не случайно: она имеет свою продуманную драматургию и режиссуру

«„Хотеть — значит мочь“. Ее слова. „Главное — иметь цель“. То же — Лариса. Эти внутренние установки были необыкновенно сильны в ней. Никто не мог устоять против их порабощающей убедительности. Лариса была режиссером феноменальной одержимости, редкой сосредоточенности, обладателем загадочной властности, магнетизма, неутомимым тружеником». После этих слов Юрия Клепикова, завершающих эссе о Ларисе, эссе о мужском характере режиссера, на обороте страницы — фото обворожительной хрупкой женщины... Так «смонтирована» книга Элемом Климовым. Так была «смонтирована» природой, судьбой и самосозиданием Лариса И разговор о ней — это разговор о той мощи заряда, который «может пробить двухмерность экрана». И о цене, которой расплачиваются за талант, взлет, восхождение. Горькой цене...

И, закрывая книгу, трудно снова перечитать короткое ее название: «Лариса». Все кричит: «Ла-ри-са-а...» А в ответ — скорбно сжатые тонкие губы Надежды Петрухиной, пронзительно-горький, мудрый взгляд Дарьи, светлая щемящая иконописность лица Сотникова...

Светлана Овчинникова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Великий Октябрь. Краткий историко-революционный справочник 360 стр Цена 3 р. 20 к.

З. Косидовский. Библиейские сказания. Перевод с польского. 463 стр. Цена 2 р.

О Григории Петровском. Воспоминания, очерки, статьи современников. 222 стр. Цена 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ю. Балтушис. Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с литовского. Т. 1. Проданные годы. Роман 591 стр Цена 2 р 50 к.
И. Бунин. Собрание сочинений В 6-ти тт Т. 1. 686 стр Цена 3 р.

А. Герцен. Вылое и думы Ч 1—5. 671 стр с илл. Цена 5 р. 40 к

М. Львов. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. 559 стр Цена 2 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Великовский. В скрепчене лучей. Групповой портрет с Полем Элюаром 400 стр Цена 1 р 80 к

И. Золотусский. Поэзия прозы. Статьи о Гоголе 240 стр Цена 55 к

Личное мнение. Сборник писательской публицистики 493 стр Цена 1 р. 50 к.

Л. Промет. Шиповник Стихи 158 стр. Цена 50 к

«РАДУГА»

Из современной норвежской поэзии. Сборник. Перевод с норвежского. («Из национальной поэзии») 240 стр. Цена 1 р. 40 к.

Д. Оутс. Ангел света. Роман Рассказы Перевод с английского 735 стр Цена 4 р 80 к.

А. Перрюшо. Жизнь Ван Гога Перевод с французского 383 стр. с илл. Цена 3 р. 90 к

В. Рейслинк. Мертвый сезон. Повести Рассказы. Перевод с нидерландского. 318 стр. Цена 2 р 10 к

ВОЕНИЗДАТ

Е. Воробьев. Незабудна Повести, рассказы. 478 стр. Цена 2 р. 10 к

П. Крамар. Расплата Повесть. 158 стр Цена 75 к

Под общим знаменем. Сборник воспоминаний. Перевод с польского 313 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Устьянцев. Флагман. Роман. 351 стр. Цена 1 р 70 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Восхождение. Сборник повестей и рассказов молодых писателей. 589 стр. Цена 2 р. 40 к

Ф. Достоевский. О русской литературе («Любителям российской словесности Из литературного наследия») 399 стр. Цена 1 р. 90 к

Ю. Мориц. «На этом берегу высоко» Стихи. 318 стр. Цена 1 р. 60 к

Ю. Нагибин. Время жить 511 стр Цена 1 р. 30 к.

«ИСКУССТВО»

Л. Кулешов. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. 447 стр Цена 2 р 80 к

Ю. Мочалов. Не мечтай о театре вслепую! Предисловие С Михалкова 190 стр Цена 45 к

Плавт. Комедии Т. 2 Перевод с латинского. («Античная драматургия Рим») 800 стр Цена 2 р 50 к

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Байрон. Я брошен был в борьбу со дня рождения. Избранная лирика Перевод с английского 191 стр Цена 1 р. 30 к.

А. Барто. Твои стихи («Золотая библиотека») 366 стр Цена 1 р 10 к

Е. Парнов. Мальтийский жезл Приключенческий роман («Библиотека приключений и научной фантастики») 415 стр. Цена 1 р. 10 к.

Сказки народов мира. В 10-ти тт. Т. 1 Русские народные сказки 719 стр Цена 1 р. 70 к

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Легендарные... Документальные повести о жизни и деятельности талантливых советских полководцев В К Блюхера и М Н Тухачевского. Челябинск Южно-Уральское книжное издательство 430 стр. Цена 75 к

Октябрьская революция в советской прозе. Повести и рассказы 20—30-х годов. Л. Издательство ЛГУ 646 стр Цена 3 р

А. Платонов. Потомки Солнца Фантастические произведения («Мир приключений»). М. «Правда». 430 стр Цена 1 р 70 к.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора) **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, М. Д. Львов, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер д 1/2 Тел 200-08-29.

Сдано в набор 22 10 87 г. Подписано к печати 03 12 87 г. А 03860
Формат бумаги 70×108^{1/16} Высокая печать Объем 17 п л (23,8 усл-печ л)
26 98 уч-изд л

Тираж 1.150 000 экз (1-й завод 1 — 650.000 экз) Зак. 3785

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6 Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл. 5

Цена 1 р. 20 к.

70636